

Троппер
Мериме



Тростер Мериме

избранные произведения
в 2 томах

ТОМ 2



ХРОНИКА
ЦАРСТВОВАНИЯ
КАРЛА IX

НОВОСИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1993

ББК 84 (4Фр.)
М 52

Мериме Проспер

М 52 Избранное в двух томах. Том 2.— Пер. с франц.—
Новосибирск: Новосибирское книжное издательст-
во, 1993.— 400 с.
ISBN 5—7620—0694—8

В книгу входят наиболее известные новеллы Проспера Ме-
риме и «Хроника царствования Карла IX». Действие романа
протекает в годы религиозных и гражданских войн во второй
половине XVI века.

М 4703010100—17
М(143)—93 без объявл.— 93

ББК 84 (4Фр.)

ISBN 5—7620—0694—8

© Новосибирское книжное
издательство, 1993. Состав.
© Зайцев Е. Ф., 1993.
Оформление.

Ж ОВЕЛЛЫ





АРСЕНА ГИЙО

Σέ Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
'Εσθλὸν εἶναι', δλέσωσιν ἐνὶ Σχαιῶσι πολλοὺς..

(Hom. II., XXII, 350)¹

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поздняя обедня только что отошла у св. Роха, и сторож ходил как обычно по храму и закрывал опустевшие капеллы. Он уже собрался задвинуть решетку одного из этих прибежищ для избранных, где иным набожным дамам разрешается за особую плату молиться отдельно от прочих прихожан, как вдруг заметил, что там еще находится какая-то женщина: склонив голову на спинку стула, она, казалось, была погружена в глубокое раздумье. «Да ведь это госпожа де Пьен», — подумал сторож, останавливаясь у входа в капеллу. Г-жа де Пьен была хорошо известна сторожу. В те годы набожность почиталась немалой добродетелью светской женщины, молодой, богатой, хорошенькой, которая дарила церкви хлеб для торжественных месс, жертвовала алтарные покровы, раздавала щедрую милостыню руками своего духовника и, не будучи замужем за прави-

¹ Парис и Феб-стреловержец. Как ни могучего в Скейских воротах тебя ниспровергнут. (греч.).

«Илиада», п. XXII, перевод Н. И. Гнедича.

тельственным чиновником и не состоя при супруге дофина, ничего не выигрывала от посещения церковных служб, кроме спасения своей души. Такова была и г-жа де Пьен.

Сторож очень торопился к обеду, ибо такие люди, как он, обедают в час дня, но все же не посмел нарушить благочестивые размышления особы, столь уважаемой в приходе св. Роха. Итак, он удалился, громко стуча по плитам своими стоптанными башмаками, не без надежды на то, что, обойдя еще раз церковь, найдет капеллу пустой.

Он уже миновал клирос, когда в церковь вошла молодая женщина и стала прохаживаться по одному из боковых приделов, с любопытством смотря по сторонам. Скульптурные украшения алтаря, чаша со святой водой, фрески с изображением крестного пути — все это казалось ей столь же странным, сколь странным показались бы вам, сударыня, михраб или надписи в какой-нибудь каирской мечети. Женщине было лет двадцать пять, однако надо было внимательно посмотреть на нее, чтобы сказать это, иначе она могла показаться старше. Хотя ее черные глаза ярко блестели, но они ввалились, и под ними залегли синеватые тени, матово-белое лицо и бескровные губы выдавали перенесенные страдания, и в то же время что-то дерзко-веселое во взгляде не вязалось с этой болезненной внешностью. В туалете ее вы заметили бы странную смесь небрежности и изысканности. Розовая шляпка с искусственными цветами скорее подошла бы к незатейливому вечернему туалету. Длинная кашемировая шаль — наметанный взгляд светской женщины не преминул бы отметить, что она приобретена из вторых рук — прикрывала помятое платье из ситца по двадцать су за локоть. Наконец только мужчина сумел бы оценить ее ножки в бумажных чулках и прюнелевых ботинках, исходившие, по-видимому, немало улиц на своем веку. Вы, конечно, помните, сударыня, что в те годы асфальт еще не был изобретен.

Эта женщина, общественное положение которой вы, вероятно, отгадали, подошла к капелле, где все еще находилась г-жа де Пьен, в смущении, в растерянности посмотрела на молящуюся и заговорила с ней лишь тогда, когда та встала, собираясь уйти.

— Скажите, пожалуйста, сударыня, — спросила она тихим мелодичным голосом и с застенчивой улыбкой, — скажите, пожалуйста, к кому надобно обратиться, чтобы поставить свечу?

Эта речь прозвучала столь необычно для слуха г-жи де Пьен, что поначалу она ничего не поняла и попросила повторить вопрос.

— Да, мне хотелось бы поставить свечку святому Роху, но я не знаю, кому отдать за нее деньги.

Госпожа де Пьен не разделяла эти простонародные суеверия — ее благочестие было достаточно просвещенным. Но она все же уважала их, ибо есть нечто трогательное в любой форме поклонения, какой бы примитивной она ни была. Подумав, что речь идет о каком-нибудь обете, и не решаясь по своему милосердию сделать из внешности молодой женщины в розовой шляпке те выводы, к которым вы, вероятно, не побоялись прийти, она указала ей на приближавшегося сторожа. Незнакомка поблагодарила ее и поспешила навстречу этому человеку — тот, видимо, понял ее с полуслова.

Пока г-жа де Пьен закрывала молитвенник иправляла вуалетку, она успела заметить, что молодая женщина достала из кармана маленький кошелек, вынула из кучи мелочи единственную пятифранковую монету и вручила ее сторожу, давая ему шепотом подробные наставления, которые он выслушал с улыбкой.

Обе они одновременно вышли из церкви, но женщина, поставившая свечку, очень торопилась, и г-жа де Пьен вскоре потеряла ее из виду, хотя и шла вслед за ней. На углу улицы, где она жила, г-жа де Пьен снова встретила ее. Под своей поношенной шалью незнакомка прятала четырехфунтовый хлеб, только что купленный в соседней лавочке. Увидев г-жу де Пьен, она опустила голову, невольно улыбнулась и ускорила шаг. Ее улыбка говорила: «Что правда, то правда, я бедна. Смейтесь надо мной. Я и сама понимаю, что не ходят за хлебом в розовой шляпке и кашемировой шали». Эта смесь ложного стыда, смирения и веселости не ускользнула от г-жи де Пьен. Она с грустью подумала о вероятном общественном положении этой девушки. «Ее благочестие, — сказала она себе, — похвальнее моего. Несомненно, отданная ею монета — жертва во сто крат

большая, чем все то, что я уделяю от своих щедрот беднякам, ни в чем себе не отказывая».

Затем она вспомнила о двух лептах бедной вдовицы, более угодных богу, нежели великолепные приношения богачей. «Я делаю слишком мало добра, — подумала г-жа де Пьен, — я не делаю всего, что могла бы делать». Мысленно осыпая себя упреками, которых она отнюдь не заслуживала, г-жа де Пьен вернулась домой. Свеча, четырехфунтовый хлеб, а главное, единственная пятифранковая монета, принесенная в дар святому, запечатлелись в ее памяти вместе с обликом молодой женщины, которую она сочла образцом благочестия.

С тех пор она довольно часто встречала незнакомку на улице возле церкви, но ни разу не видела ее на богослужении. Проходя мимо г-жи де Пьен, та всякий раз опускала голову и несмело улыбалась. Эта смиренная улыбка нравилась г-же де Пьен. Ей хотелось найти какой-нибудь предлог, чтобы помочь бедной девушке, которая сперва вызвала в ней участие, а теперь возбуждала ее жалость: г-жа де Пьен заметила, что розовая шляпка поблекла, а кашемировая шаль бесследно исчезла — видимо, снова попала к старьевщице. Нетрудно было понять, что св. Рох не возместил сторицей сделанного ему приношения.

Однажды в присутствии г-жи де Пьен в церковь св. Роха внесли гроб, за которым шел плохо одетый человек без черного крепа на шляпе, очевидно, какой-нибудь привратник. Г-жа де Пьен уже больше месяца не встречала молодой женщины, поставившей свечку, и ей пришлось в голову, что хоронят именно ее. Это было более чем вероятно, уж больно она была бледна и худая, когда г-жа де Пьен видела ее в последний раз. По просьбе г-жи де Пьен церковный сторож расспросил человека, шедшего за гробом. Тот ответил, что он служит консьержем в доме на улице Людовика Великого, что там умерла одна из жилищ, некая г-жа Гийо, не имевшая ни родных, ни друзей, одну только дочку, и что он, консьерж, исключительно по доброте сердечной пришел на похороны этой женщины, вовсе ему чужой. Г-жа де Пьен тотчас же вообразила, что ее незнакомка умерла в нищете, оставив беспомощную крошку, и решила навести справки через священника, который ведал ее делами благотворительности.

Прошел еще день, г-жа де Пьен как раз выезжала из дому, когда ее карету задержала какая-то тележка, перегородившая улицу. Рассеянно смотря в окно, она заметила стоявшую возле тумбы девушку, которую почитала умершей. Она без труда узнала ее, хотя та еще больше побледнела, похудела и была одета в траур, но по бедному без перчаток и шляпы. Выражение лица у нее было странное. Обычная улыбка уступила место судорожной гримасе, черные глаза дико блуждали. Она то и дело обращала их в сторону г-жи де Пьен, но не узнавала ее, ибо смотрела на все невидящим взглядом. Во всем ее облике сквозила не скорбь, а непреклонная решимость. Тележка отъехала в сторону, лошади крупной рысью умчали карету, но облик молодой девушки, явное ее отчаяние еще долго преследовали г-жу де Пьен.

По возвращении она увидела, что вся улица запружена народом. Привратницы стояли у дверей и что-то рассказывали соседкам, которые, видимо, слушали их с живейшим интересом. Особенно много людей столпилось возле дома поблизости от того, где жила г-жа де Пьен. Взоры всех были устремлены на открытое окно четвертого этажа. В толпе то тут, то там кто-нибудь указывал на него пальцем, затем стремительно опускал руку, и глаза всех собравшихся следовали за этим движением. Случилось, по-видимому, нечто из ряда вон выходящее.

Войдя в переднюю, г-жа де Пьен нашла своих слуг в смятении, они тут же кинулись ей навстречу: очевидно, каждому хотелось первому сообщить новость, взбудоражившую весь квартал. Но прежде, нежели она успела что-либо спросить, ее горничная воскликнула:

— Ах, барыня!.. Если бы вы только знали!..

И, с невообразимой поспешностью отворяя одну дверь за другой, она вошла вслед за своей хозяйкой в *sanctum sanctorum*¹; я имею в виду туалетную комнату, доступ в которую был заказан остальным слугам.

— Ах, барыня, — сказала Жозефина, снимая шаль с г-жи де Пьен, — у меня голова *кругами* идет! В жизни не видела ничего ужаснее; правда, сама-то я не видела, хотя тут же прибежала... И все-таки...

¹ Святая святых (лат.).

— Но что случилось? Говорите же!

— А то случилось, барыня, что за три двери от нас бедная, горемычная девушка выбросилась из окна всего три минуты назад. Если бы вы приехали чуть раньше, то услышали бы, как она грохнулась.

— Боже мой! И несчастная убилась?

— Страшно было взглянуть на нее. Батист, а ведь он побывал на войне, говорит, что никогда не видел ничего подобного. Подумать только, с четвертого этажа!

— Насмерть?

— Еще шевелилась, барыня, даже разговаривала. «Умоляю, прикончите меня!» — говорила она. Все ее кости, верно, превратились в кашу. Посудите сами, барыня, с какой силой она, должно быть, хлопнулась.

— Но этой несчастной... оказана помощь? Послал кто-нибудь за доктором, за священником?..

— Насчет священника... Вам, барыня, оно виднее. Но будь я на месте священника... Ведь она до того непутевая, что хотела наложить на себя руки!.. Да и греховодница к тому же. Это сразу было видно... Говорят, в Опере танцевала... Все эти барышни плохо кончают... Вскочила она на подоконник, обвязала свои юбки розовой лентой и... бац!

— Так, значит, это та самая девушка в трауре! — воскликнула г-жа де Пьен, ни к кому не обращаясь.

— Да, барыня, мать ее умерла не то три, не то четыре дня назад. Девушка, видно, потеряла голову... Да и хахаль как будто бросил ее... Тут подошел срок за квартиру платить... Денег нет, работать такие девчонки не умеют... Дуры бестолковые!.. Долго ли тут до греха.

Жозефина еще некоторое время разглагольствовала в том же духе, хотя г-жа де Пьен ничего ей не отвечала. Казалось, она с грустью размышляет об услышанном. Вдруг она спросила:

— А есть ли у этой несчастной все необходимое?.. Белье?.. тюфяки?.. Нужно немедленно узнать.

— Если желаете, барыня, я обо всем расспрошу от вашего имени! — воскликнула горничная, в восторге от того, что увидит вблизи женщину, которая хотела покончить с собой. — Не знаю только, — продолжала она, подумав, — хватит ли у меня духу видеть человека, упавшего с четвертого этажа!.. Когда Батисту пускали

кровь, мне стало дурно. Ничего поделаться с собой не могла.

— В таком случае пошлите Батиста, — сказала г-жа де Пьен, — и пусть мне тут же доложат, как чувствует себя бедняжка.

По счастью, в ту самую минуту, когда г-жа де Пьен отдавала это распоряжение, явился ее домашний врач, доктор К. Он всегда обедал у нее по вторникам перед спектаклем в Итальянской опере.

— Бегите скорее, доктор, — крикнула она, не дав ему времени положить трость и снять пальто. — Батист отведет вас. Это в двух шагах отсюда. Несчастная девушка выбросилась из окна, и ей еще не оказана помощь.

— Из окна? — переспросил доктор. — Если это окно верхнего этажа, мне, по всей вероятности, нечего там делать.

Доктору больше хотелось обедать, чем осматривать самоубийцу, но по настоянию г-жи де Пьен, обещавшей подождать его с обедом, он согласился последовать за Батистом.

Немного погодя Батист вернулся один. Он потребовал белья, подушек и проч. и передал авторитетное мнение врача:

— Это пустяки. Она выкарабкается, если только не умрет от... Не помню, от чего она может умереть, но слово это оканчивается на «ос».

— От тетаноса! — воскликнула г-жа де Пьен.

— Оно самое, барыня. И все же хорошо, что подошел господин доктор, ведь там уже оказался тот самый лекарь без практики, что лечил от кори дочку Бартело и залечил ее до смерти после третьего визита.

Час спустя вернулся доктор. С его волос слегка облетела пудра, а превосходное батистовое жабо помялось.

— Право, женщины-самоубийцы рождаются в рубашке, — сказал он. — На днях ко мне в больницу принесли одну особу: она выстрелила себе в рот из пистолета. Никудышный способ!.. Она сломала себе три зуба и продырявила левую щеку... Немного подурнеет, только и всего. Наша девица бросается с четвертого этажа. Какой-нибудь славный малый упадет ненароком со второго и раскроит себе череп. А она, видите ли, ломает

себе ногу... два ребра, получает немало ушибов, словом, отделяется сравнительно легко. На ее пути, как нарочно, оказывается навес, который и смягчает удар. Это уже третий случай такого рода с тех пор, как я вернулся в Париж... Ударилась она оземь ногами. Впрочем, большая и малая берцовые кости прекрасно срастаются. Но хуже всего то, что запеченный палтус у вас перестоялся... Опасаюсь я и за жаркое, и в довершение всего мы опоздаем на первое действие *Отелло*...

— А бедняжка сказала вам, кто толкнул ее на...

— О, я никогда не слушаю их рассказней, сударыня. Я спрашиваю: скажите, ели вы что-нибудь перед этим? — и так далее и тому подобное, ибо ответ важен мне для лечения... Ясно, когда женщина кончает с собой, на то всегда имеется какая-нибудь дурацкая причина. Либо возлюбленный бросил ее, либо домохозяин выставил на улицу; вот она и прыгает из окна, чтобы досадить виновному. А едва успеет выброситься, как уже горько раскаивается в содеянном.

— Надеюсь, и эта несчастная раскаялась.

— Конечно, конечно. Она плакала и орала так, что едва не оглушила меня... Батист — превосходный помощник, сударыня; он справился с делом куда лучше оказавшегося там лекаришки, который чесал у себя в затылке, не зная, с чего начать... Но вот в чем несообразность: убившись насмерть, она оказалась бы в выигрыше, так как избежала бы смерти от чахотки. А что она чахоточная, голову даю на отсечение. Я не *выслушивал* ее, но *faciès*¹ никогда меня не обманывает. Стоит ли так спешить, когда надо лишь положиться на время?

— Вы навестите ее завтра, доктор, да?

— Придется, если вы того желаете. Я уже пообещал, что вы кое-что сделаете для нее. Проще всего было бы отправить ее в больницу... Там ее бесплатно снабдят аппаратом для вытягивания ноги... Но при слове «больница» она начинает кричать, чтобы ее прикончили, и все кумушки хором вторят ей. А когда у человека нет ни гроша...

¹ Лицо, выражение лица (лат.).

— Я возьму на себя все расходы, доктор... Знаете, слово «больница» невольно пугает меня, как и тех кукушек, о которых вы говорите. Да и везти ее в больницу сейчас, в таком тяжелом состоянии, значило бы убить ее.

— Предрассудки! Чистейшие предрассудки светских людей! В больнице лучше, чем где бы то ни было. Когда я всерьез заболею, меня отвезут именно в больницу. Оттуда я и сяду в ладью Харона, а тело свое завещаю студентам... лет эдак через тридцать, сорок, не раньше. Право, многоуважаемая, подумайте о том, что я сказал. Я не уверен, что ваша протезе заслуживает особой заботливости с вашей стороны. На мой взгляд, это какая-нибудь девица с театральных подмостков... Надо обладать ногами танцовщицы, чтобы совершить такой гигантский прыжок и остаться в живых...

— Но я видела ее в церкви... и кроме того, доктор... вам ведь известна моя слабость: иной раз я придумываю целый роман по лицу, по взгляду человека... Смейтесь надо мной, но я редко ошибаюсь. Эта несчастная девушка поставила недавно свечу, молясь об исцелении своей больной матери. Мать ее скончалась... Тут разум у бедняжки помутился... Отчаяние, нищета толкнули ее на этот безумный шаг.

— Пусть так! Я и в самом деле заметил у нее на темени выпуклость, указывающую на экзальтацию. То, что вы говорите, вполне правдоподобно. Вы напомнили мне, что я видел веточку буксуса над изголовьем ее складной кровати. Это свидетельствует о благочестии, не так ли?

— Складная кровать! Боже мой, бедная девушка!.. Но, доктор, вы опять улыбаетесь так хорошо знакомой мне иронической улыбкой. Дело вовсе не в том, благочестива она или нет. Я принимаю участие в этой девушке прежде всего потому, что виновата перед ней.

— Виноваты?.. А, понимаю. Вам, вероятно, следовало подстелить ей соломки?..

— Да, виновата. Я видела ее тяжелое положение и должна была помочь ей, но, к сожалению, аббат Дюбиньон заболел, и...

— Вас должна замучить совесть, сударыня, если вы считаете, что недостаточно делаете добра, помогая, по своему обыкновению, всем, кто бы вас об этом ни по-

просил. На ваш взгляд, надо еще угадывать нужды стеснительных бедняков. Но не будем больше говорить, сударыня, о сломанных ногах; впрочем, еще два слова. Если вы берете под свое высокое покровительство мою новую пациентку, пришлите ей кровать получше, бульону, кое-каких лекарств и наймите на завтра сиделку — на сегодня достаточно будет и кумушек. Неплохо было бы направить к ней какого-нибудь разумного аббата, который пожурит ее и вправит ей мозги, как я вправил ей ногу. Особа она нервная, возможны осложнения... Вы были бы... да, ей богу, именно вы были бы наилучшим наставником, но для ваших проповедей найдется лучшее применение... Я все сказал! Сейчас половина девятого; ради всего святого, одевайтесь поскорее и едемте в Оперу. Батист принесет мне кофе и *Журнал де Деба*. Я пробежал весь день, а мне еще надо узнать, что делается на белом свете.

Прошло несколько дней, больная чувствовала себя немного лучше. Доктор жаловался лишь на то, что ее нервное возбуждение не уменьшается.

— Я не очень полагаюсь на ваших аббатов, — сказал он как-то г-же де Пьен. — Если вам не слишком претит зрелище человеческих страданий, а я знаю, что мужества вам не занимать, вы могли бы успокоить бедную девушку куда лучше любого священника от святого Роха, более того, даже лучше латуковой пилюли.

Госпожа де Пьен охотно согласилась, заявив, что готова хоть сейчас сопровождать его. Они вместе поднялись к больной. Она лежала на хорошей кровати, присланной г-жой де Пьен, в комнате, вся обстановка которой состояла из трех соломенных стульев и небольшого стола. Тонкие простыни, мягкие матрацы и груды больших подушек свидетельствовали о милосердии некоей благодетельницы, имя которой вам нетрудно угадать. Больная была до ужаса бледна, глаза ее горели, одна рука покоилась поверх одеяла, и часть этой руки, выступавшая из рукава кофты, синевато-белая, в кровоподтеках, позволяла судить о том, в каком состоянии было все тело. При виде г-жи де Пьен она приподняла голову и молвила с мягкой и грустной улыбкой:

— Я так и знала, что это вы, сударыня, пожалели меня. Мне сказали, как вас зовут, и я поняла, что вы

та самая дама, которую я встречала возле церкви святого Роха.

Мне кажется, я уже говорил вам, сударыня, что г-жа де Пьен мнила себя достаточно проницательной, чтобы распознавать людей по их внешности. Она была в восторге от того, что ее протеже обладает тем же даром, и это открытие еще больше расположило ее в пользу молодой девушки.

— Вам очень плохо здесь, бедное дитя мое! — проговорила она, обводя взглядом убогую обстановку комнаты. — Почему вам не повесили занавесок?.. Попросите Батиста, чтобы он принес вам всякие мелкие вещи, которые вам могут понадобиться.

— Вы очень добры, сударыня... Но разве я в чем-нибудь нуждаюсь? Ни в чем... Все кончено... Немного лучше, немного хуже, не все ли равно?

И, отвернувшись к стене, она заплакала.

— Вы очень страдаете, бедняжка? — спросила г-жа де Пьен, садясь возле кровати.

— Нет, не очень... Только в ушах у меня все время свистит ветер, как в ту минуту, когда я падала, и слышится звук... трах, как при ударе о мостовую.

— Вы были тогда не в себе, дорогой друг. Вы раскаиваетесь теперь, не правда ли?

— Да... но в беде теряешь голову.

— Я очень сожалею, что ничего не знала о вас прежде. Но, дитя мое, что бы ни случилось в жизни, не надо предаваться отчаянию.

— Вам легко рассуждать, сударыня, — заметил доктор, который писал рецепт за маленьким столиком. — Вы не знаете, что значит потерять красивого молодца с усами. Но, черт подери, чтобы догнать его, нет нужды прыгать в окно.

— Фи, доктор, — сказала г-жа де Пьен, — у бедняжки была, конечно, другая причина для...

— Сама не знаю, что на меня нашло! — воскликнула больная. — Была не одна причина, а целых сто. Сначала скончалась мама, и это сразило меня. Затем я почувствовала себя всеми покинутой, никому не было дела до меня... Наконец человек, о котором я думала больше, чем о ком-либо на свете... Так вот, сударыня, он забыл даже мое имя. Меня зовут Арсена Гийо, через два «и», а он пишет Гио!

— Я же говорил, что он изменщик! — вскричал доктор. — Таких, как он, превеликое множество. Полноте, полноте, красавица, забудьте его. Мужчина с короткой памятью не стоит того, чтобы вы помнили о нем. — Тут доктор вынул часы. — Четыре часа, — заметил он, вставая, — я опаздываю на консилиум. Приношу тысячу извинений, сударыня, но я вынужден вас покинуть, не успею даже проводить вас домой. Прощайте, дитя мое, успокойтесь, все наладится. Вы будете так же хорошо выделять п^а больной ногой, как и здоровой. А вы, госпожа сиделка, ступайте к аптекарю с этим рецептом и делайте то же, что и вчера.

Врач и сиделка ушли; г-жа де Пьен осталась наедине с больной, несколько обеспокоенная тем, что в истории, которую она создала в своем воображении, дело не обошлось без любви.

— Итак, вы были обмануты, бедная девочка! — проговорила она после паузы.

— Обманута? Нет. Разве обманывают таких, как я? Попросту я ему наскучила... Он прав: я ему не пара. Он был всегда добр ко мне, великодушен. Я написала ему, рассказала, до чего я дошла, и предложила, если он пожелает, снова сойтись с ним... Он ответил... то, что он писал, очень меня огорчило... Вернувшись на днях домой, я уронила зеркало, его подарок, венецианское зеркало, как он говорил. Зеркало разбилось.... Я подумала: вот последний удар судьбы!.. Это знак, что всему пришел конец... У меня ничего больше не оставалось от него. Все свои драгоценности я заложила... Затем я подумала: если я покончу с собой, это огорчит его, и я отомщу... Окно было открыто, и я выбросилась.

— Но поймите, несчастная, повод к самоубийству был столь же легкомыслен, сколь и преступен сам поступок!

— Пусть так, но что поделаешь? В горе не рассуждают. Хорошо счастливчикам говорить: будьте благодарны.

— Знаю, горе — плохой советчик. Но есть вещи, о которых не следует забывать даже среди самых тяжких испытаний... Еще не так давно я видела вас в церкви святого Роха, куда вы пришли с самым благим намерением. Вы имеете счастье *верить*. Вера, дорогая, должна была удержать вас на пороге отчаяния. Жизнь дарова-

на вам богом. Она не принадлежит вам... Но я не вправе бранить вас теперь, бедная моя девочка. Вы раскаиваетесь, вы страдаете. Господь сжалятся над вами.

Арсена опустила голову, и слезы выступили у нее на глазах.

— Ах, сударыня, — молвила она с глубоким вздохом, — вы считаете меня лучше, чем я есть... Вы считаете меня благочестивой... а я не так уж благочестива... некому было наставить меня, и если вы видели меня в церкви... так это потому, что я не знала, как быть, что делать...

— И это была превосходная мысль, дорогая. В несчастье всегда следует обращаться к богу.

— Мне говорили... если поставить свечку святому Роху... но нет, сударыня, я не могу вам этого сказать. Такая богатая дама, как вы, не знает, на что можно пойти, когда у тебя нет ни гроша.

— Прежде всего надо просить у бога мужества.

— Вот что, сударыня, я не хочу казаться лучше, чем я есть. Пользоваться тем, что вы даете мне по своей доброте, не зная меня, значило бы обкрадывать вас... Я не нашла своей доли... но на этом свете каждый устраивается как может... Словом, я поставила свечку, потому что мать говорила мне: стоит поставить свечку святому Роху, и через неделю, самое позднее, найдешь себе покровителя... Но я подурнела, стала похожа на мумию... теперь уже никто не польстится на меня... Мне остается только умереть. Впрочем, я и так наполовину мертва!

Все это было сказано скороговоркой, прерываемой иступленными рыданиями, которые внушали г-же де Пьен больше ужаса, нежели отвращения. Она невольно отодвинула свой стул от кровати больной. Вероятнее всего, она ушла бы, если бы чувство сострадания не пересилило ее гадливости к этой падшей женщине, внушив ей, что нехорошо оставлять ее одну в столь глубоком отчаянии. Наступило молчание; затем г-жа де Пьен пробормотала нерешительно:

— Ведь это же ваша мать! Несчастливая, как вы смаете так говорить о ней?

— О, моя мать была такой же, как и все матери... наши матери... Она кормила свою мать... Я в свою очередь кормила ее. По счастью, у меня нет ребенка...

Я вижу, сударыня, что пугаю вас... Это понятно... Вы получили хорошее воспитание, вы никогда не знали нужды. Богатому легко быть честным. Я тоже была бы честной, если бы представилась такая возможность. У меня было много любовников, но любила я только одного. Будь я богата, мы поженились бы, и наши дети выросли бы честными людьми. Я говорю с вами вот так, с открытой душой, хотя отлично вижу, что вы думаете обо мне, и вы правы... Но вы единственная честная женщина, с которой я разговаривала за всю свою жизнь, и вы кажетесь мне такой доброй, такой доброй, что я все время твержу себе: даже тогда, когда она узнает, какая ты, она пожалеет тебя. Я скоро умру, я прошу вас только об одном. Закажите по мне панихиду в церкви, где я видела вас в первый раз. Всего одну... и благодарю вас от всей души...

— Нет, вы не умрете! — воскликнула глубоко растроганная г-жа де Пьён. — Господь смилуется над вами, бедная грешница. Вы раскаетесь в своих заблуждениях, и он простит вас. А я буду молиться о вас, уповая на то, что мои молитвы помогут вашему спасению. Те, кто воспитал вас, более виновны, нежели вы сами. Только будьте мужественны и надейтесь. А главное, бедное дитя, постарайтесь успокоиться. Надо вылечить тело; душа тоже больна, но я ручаюсь за ее исцеление.

С этими словами она встала, держа в руке несколько завернутых в бумажку луидоров.

— Пожалуйста, — проговорила она, — если вам чего-нибудь захочется...

И она собралась положить свой подарок под подушку больной.

— Нет, сударыня! — воскликнула Арсена, отталкивая руку со свертком. — Мне ничего не надо от вас, кроме того, что вы обещали. Прощайте, мы больше не увидимся. Прикажите отправить меня в больницу: я хочу умереть, никого собой не обременяя. Все равно вам не сделать из меня ничего путного. Такая знатная дама, как вы, помолится обо мне... Это меня радует. Прощайте.

И, отвернувшись настолько, насколько позволяло приспособление, которое удерживало в неподвижности ее ногу, она зарылась головой в подушку, чтобы ничего больше не видеть.

— Послушайте, Арсена, — внушительным тоном заговорила г-жа де Пьен. — Я собираюсь кое-что сделать для вас. Я хочу, чтобы вы стали честной женщиной. Поручкой мне служит ваше раскаяние. Мы будем часто видаться, я позабочусь о вас. Вы обретете самоуважение и этим будете обязаны мне.

И, взяв руку Арсены, она тихонько сжала ее.

— Вы не презираете меня! — воскликнула бедная девушка. — Вы пожали мне руку!

И, прежде нежели г-жа де Пьен успела отдернуть свою руку, Арсена схватила ее и, плача, покрыла поцелуями...

— Успокойтесь, успокойтесь, дорогая, — сказала г-жа де Пьен, — ни о чем больше не говорите. Теперь мне все известно, я знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя. Я буду лечить вашу головку... вашу взбалмошную головку. Вы будете повиноваться мне так же, как и своему врачу, я требую этого! Я пришлю вам моего знакомого священника, а вы внемлите его словам. Я подберу для вас хорошие книги, и вы прочтете их. Мы будем порой беседовать с вами. А когда вы поправитесь, мы займемся вашим будущим.

Вернулась сиделка с аптечным пузырьком в руках. Арсена продолжала плакать. Г-жа де Пьен снова пожала ей руку, положила сверток с луидорами на стол и ушла, пожалуй, еще более расположенная к кающейся грешнице, чем до ее странной исповеди.

Скажите, сударыня, почему негодники неизменно пользуются любовью окружающих? Чем меньше заслуживаешь внимания, тем больше его получаешь, и так повелось начиная с блудного сына и кончая вашим песиком Алмазом, который всех кусает и злее которого я не встречал. Причиной тому служит тщеславие, одно тщеславие, сударыня! Отец блудного сына победил дьявола, отняв у него добычу, вы восторжествовали над дурным характером Алмаза, закармливая его сладостями. Г-жа де Пьен гордилась тем, что сумела победить порочность куртизанки и сокрушить своим красноречием преграды, воздвигнутые двадцатью годами всевозможных соблазнов вокруг бедной покинутой души. А кроме того — стоит ли говорить об этом? — к упоению победы примешивается, вероятно, чувство любопытства, возни-

кающее у иных добродетельных женщин при виде женщин иного сорта. Я не раз замечал, какими странными взглядами встречают в гостиной появление какой-нибудь певички. И не мужчины смотрят на нее внимательнее всего. А как-то вечером, во Французской комедии, не вы ли сами смотрели, не отрываясь, в бинокль на актрису Варьете, сидевшую в ложе? «Как это можно быть персианином?» Люди весьма часто задают себе такие вопросы. Словом, сударыня, г-жа де Пьен много думала о мадмуазель Арсене Гийо и говорила себе: «Я ее спасу».

Она направила к ней священника, и тот стал уговаривать грешницу очиститься покаянием. Впрочем, покаяние не составляло труда для бедной Арсены, которая, за исключением нескольких часов безграничного счастья, знала в жизни одни невзгоды. Скажите несчастному: вы сами во всем виноваты, и он охотно согласится с вами; а если при этом вы смягчите упрек словами утешения, он благословит вас и обещает на будущее все что угодно. Некий грек сказал, или, точнее, Амио вложил в его уста такое двусишнее:

В оковы ввергнутый свободный человек
Начальной доблести теряет половину¹.

В презренной прозе это сводится к следующему афоризму: в несчастье мы становимся кротки и послушны, как бараны. Священник говорил г-же де Пьен, что мадмуазель Гийо очень невежественна, но задатки у нее неплохие, и он твердо надеется на ее спасение. В самом деле, Арсена слушала его внимательно и почтительно. Она читала или просила почитать выбранные для нее книги и с таким же усердием повиновалась г-же де Пьен, с каким выполняла предписания врача. А то, как Арсена Гийо распорядилась частью подаренных ей денег, заказав торжественную мессу с хором за упокой души своей умершей матери, окончательно завоевало сердце доброго аббата и показалось ее покровительнице явным признаком нравственного исцеления. Бесспорно, ничья еще душа так не нуждалась в заступничестве церкви, как душа Памелы Гийо.

¹ Перевод М. Лозинского.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды утром, когда г-жа де Пьен находилась в своей туалетной комнате, слуга тихонько постучал в дверь этого святилища и передал Жозефине визитную карточку, врученную ему каким-то молодым человеком.

— Макс в Париже! — воскликнула г-жа де Пьен, бросив взгляд на карточку. — Ступайте скорее, Жозефина, и попросите господина де Салиньи подождать меня в гостиной.

Минуту спустя из гостиной донеслись взрывы смеха и приглушенные возгласы, и Жозефина вернулась назад раскрасневшаяся, в съехавшем на ухо чепчике.

— В чем дело, Жозефина? — спросила г-жа де Пьен.

— Да ни в чем, барыня... просто господин де Салиньи уверяет, будто я растолстела.

Полнота Жозефины могла и в самом деле удивить де Салиньи, который более двух лет провел в путешествиях. До этого он принадлежал к числу любимцев Жозефины и почитателей ее хозяйки. Как племянник близкой приятельницы г-жи де Пьен, он постоянно бывал у нее прежде вместе со своей тетушкой. Впрочем, это был, пожалуй, единственный порядочный дом, где он появлялся. Макс де Салиньи слыл беспутным малым, игроком, спорщиком, кутилой, «а в сущности, был чудеснейшим из смертных». Он приводил в отчаяние свою тетушку, которая, однако, души в нем не чаяла. Она то и дело убеждала его изменить образ жизни, но дурные привычки неизменно брали верх над ее мудрыми советами. Макс был года на два старше г-жи де Пьен и до ее замужества весьма нежно поглядывал на нее. «Дорогая детка, — говаривала г-жа Обре, — стоило бы вам захотеть, и вы обуздали бы его несносный характер». Г-жа де Пьен — в те годы ее звали Элизой де Гискар, — вероятнее всего, нашла бы в себе мужество для этой попытки: Макс был так весел, так мнл, так забавен за городом, так неутомим на балах, что из него должен был выйти превосходный муж. Но родители Элизы были дальновиднее дочери. Да и сама г-жа Обре не слишком ручалась за своего племянника; стало известно, что у него есть долги и любовница; вдобавок произошла громкая дуэль, не совсем невинной причи-

ной которой оказалась некая актриса театра Жимназ. Брак, о котором г-жа Обре никогда серьезно не помышляла, был признан невозможным. Тут появился г-н де Пьен, претендент солидный, степенный, к тому же богатый и хорошего рода. Я мало что могу сказать вам о нем, разве только, что он считался человеком порядочным и вполне заслуживал эту репутацию. Говорил он мало, а когда открывал рот, изрекал какую-нибудь неоспоримую истину, в вопросах же сомнительных «подражал благоразумному молчанию Конрара». Если он и не служил украшением общества, в котором вращался, зато нигде не был лишним. Г-на де Пьена повсюду встречали радушно из-за его жены, а когда он находился в своем поместье — что имело место девять месяцев в году и, в частности, в ту пору, к которой относится мой рассказ, — никто этого не замечал, даже его жена.

Быстро закончив свой туалет, г-жа де Пьен вышла из спальни немного взволнованная, ибо приезд Макса де Салиньи напомнил ей о недавней кончине той, кого она любила больше всех. Это было, думается мне, единственное воспоминание, ожившее в ней с такой силой, что оно заглушило те нелепые предположения, которые могли бы возникнуть у особы менее рассудительной при виде съехавшего на бок чепчика Жозефины. У двери гостиной она была несколько шокирована звуками неаполитанской баркаролы, которую весело напевал приятный бас, аккомпанируя себе на пианино:

Addio, Teresa,
Teresa, addio!
Al mio ritorno,
Ti sposero¹

Она отворила дверь и прервала певца, протянув ему руку:

— Мой бедный Макс, как я рада вас видеть!

Макс поспешно вскочил и пожал руку г-же де Пьен, растерянно глядя на нее, не зная, что сказать.

— Я очень жалела, — продолжала г-жа де Пьен, —

¹ Прощай, Тереза,
Тереза, прощай!
Когда я вернусь,
Я женюсь на тебе. (итал.).

что не могла приехать в Рим, когда ваша милая тетушка слегла. Мне известно, как преданно вы ухаживали за больной, и я очень благодарна вам за вещицы, которые вы мне прислали на память о ней.

Лицо Макса, от природы веселое, чтобы не сказать смеющееся, сразу погрузнело.

— Она много говорила со мной о вас, — сказал он, — говорила до последней своей минуты. Вы получили, как я вижу, ее кольцо, а также, верно, книгу, которую она еще читала в утро...

— Да, Макс, благодарю вас. Посылая этот скорбный подарок, вы сообщили мне, что уезжаете из Рима, но адреса своего не дали. Я не знала, куда писать вам. Бедная тетушка! Умереть так далеко от родины! К счастью, вы тотчас же поспешили к ней... Вы лучше, чем хотите казаться, Макс... я хорошо вас знаю.

— Во время своей болезни тетушка говорила мне: «Когда меня не станет, никто уж не побранит тебя, разве что госпожа де Пьен. (И он невольно улыбнулся.) Постарайся, чтобы она не слишком часто тебя бранила». Вот видите, сударыня, вы плохо выполняете свои обязанности.

— Надеюсь, они не будут для меня обременительны. Я слышала, вы изменились к лучшему, остепенились, стали благоразумны, рассудительны.

— Что правда, то правда. Я обещал бедной тетушке стать хорошим и...

— И сдержите слово, я в этом уверена.

— Постараюсь. В путешествии это легче, чем в Париже. Однако... Знаете, я здесь каких-нибудь несколько часов и уже успел устоять перед искушением. По дороге к вам я встретил своего старинного приятеля, который пригласил меня отобедать с кучей бездельников, а я отказался.

— И хорошо сделали.

— Да, но сознаться ли вам? Я поступил так в надежде, что вы пригласите меня.

— Какая обида! Я обедаю в гостях. Но завтра...

— В таком случае я за себя не ручаюсь. На вас падет ответственность за мой сегодняшний обед.

— Послушайте, Макс: главное — это хорошо начать. Не ходите на этот холостой обед. Я обедаю у

госпожи Дарсене, заезжайте к ней вечером, и мы побеседуем.

— Да, но госпожа Дарсене уж больно скучна; она примется расспрашивать меня; я не сумею сказать вам ни слова, да еще скажу что-нибудь несогласное со светскими приличиями. Кроме того, у нее взрослая костлявая дочь, которая, верно, еще не замужем...

— Это прелестная девушка... а что до приличий, то неприлично говорить о ней так, как говорите вы.

— Я неправ, согласен, но не покажется ли такой визит чересчур поспешным? Ведь я приехал только сегодня...

— Поступайте, как знаете, Макс, но видите ли... в качестве друга вашей тетушки я вправе говорить с вами откровенно: избегайте прежних знакомств. Время само оборвало многие дружеские связи, которые вам только вредили, не возобновляйте их. Я ручаюсь за вас, если только вы не подпадете под чье-нибудь дурное влияние. В ваши годы... *в наши годы* следует быть благоразумным. Довольно, однако, советов и проповедей. Расскажите лучше о себе. Что делали вы все это время? Я знаю только, что вы побывали в Германии, затем в Италии, вот и все. Вы писали мне дважды, не более того... Припомните: два письма за два года. Разумеется, я знаю о вас немного.

— Боже мой, я очень виноват перед вами, сударыня... Но, надо сознаться, я так ленив!.. Раз двадцать я принимался за письмо к вам, но что интересного мог я сообщить в нем? Не умею я писать писем... Если бы я писал вам, как только начинал думать о вас, в целой Италии не хватило бы бумаги на мои письма.

— Ну, так что же вы делали? Чем были заняты? Я уже слышала, что не писанием писем.

— Занят!.. Как вам известно, я, к сожалению, ничем не занимаюсь. Я ездил, смотрел. Подумывал о живописи, но вид множества прекрасных полотен навсегда излечил меня от столь злополучного увлечения. Так-то... а потом старик Нибби чуть было не сделал из меня археолога, и под его влиянием я занялся раскопками... Мы нашли сломанную трубку и массу старых черепков... Позже, в Неаполе, я брал уроки пения, но петь от этого лучше не стал... Я...

— Мне не по душе ваши занятия музыкой, хотя го-

лос у вас красивый и поете вы хорошо. Они сближают вас с людьми, с которыми вы и так склонны водить компанию.

— Понимаю, но в Неаполе, когда я был там, опасаться было нечего. Примадонна весила сто пятьдесят кило, а у второй донны рот был, как топка у печи, а нос, как башня Ливанская. Словом, я и сам не сумею сказать, как прошли эти два года. Я ничего не делал, ничему не научился и прожил два года, не заметив этого.

— Мне хочется, чтобы вы нашли себе какое-нибудь занятие; мне хочется, чтобы вы увлеклись чем-нибудь полезным, праздность не доведет вас до добра.

— Откровенно говоря, сударыня, путешествия все-таки пошли мне на пользу: ничего не делая, я не совсем бездельничал. Смотря на прекрасные вещи, не скучаешь, а стоит мне соскучиться, и я могу наделать уйму глупостей. Право, я немного остепенился и даже позабыл о некоторых способах сорить деньгами. Бедная тетушка уплатила все мои долги, больше я долгов не делал и делать не собираюсь. На холостяцкую жизнь денег мне достанет. А так как я не собираюсь казаться богаче, чем на самом деле, то и решил отказаться от былых сумасбродств. Вы улыбаетесь? Вы не верите моей перемене к лучшему? Вам нужны доказательства? Так узнайте же о моем хорошем поступке! Сегодня Фамен, тот приятель, что приглашал меня на обед, предложил мне купить у него лошадь. Пять тысяч франков... Великолепное животное! Первым моим побуждением было приобрести ее, потом я подумал, что недостаточно богат, чтобы выложить ради прихоти целых пять тысяч. Буду, как и прежде, ходить пешком.

— Прекрасно, Макс! Знаете, что вам еще надо сделать, дабы идти, не сворачивая, по той же доброй стезе? Вам надо жениться.

— Жениться?.. Почему бы нет?.. Но кто пойдет за меня? Я не вправе быть разборчивым, а между тем мне хотелось бы встретить женщину... Увы, нет больше женщин, которые могли бы мне подойти...

Госпожа де Пьен слегка покраснела; не замечая этого, он продолжал:

— Встретить такую женщину, которой бы я по-

нравился... Но, видите ли, этого было бы, пожалуй, достаточно, чтобы она не понравилась мне.

— Почему? Что за вздор!

— Ведь говорит же где-то Отелло, желая, видимо, оправдаться в том, что подозревает Дездемону: «У этой женщины, должно быть, странный ум и извращенный вкус, если она выбрала меня, такого черного!» Не могу разве и я сказать: у женщины, которой я понаравлюсь, голова, верно, будет не в порядке?

— Вы и так были достаточно беспутны, Макс, а потому нет нужды притворяться, будто вы хуже, чем вы есть. Остерегайтесь дурно говорить о себе, не то вам могут поверить на слово... Я же убеждена в том, что стоит вам не только полюбить женщину, но и почувствовать к ней глубокое уважение... и вы будете в ее глазах...

Госпожа де Пьен запнулась, и Макс, взиравший на нее пристально и с крайним любопытством, даже не попытался подсказать ей конец неудачно начатой фразы.

— Вы хотите сказать, — молвил он после некоторого молчания, — что стоит мне серьезно влюбиться, и меня тоже полюбят, ибо тогда я окажусь достойным любви?

— Да, в таком случае вы заслужите ответное чувство.

— Увы, если было бы достаточно полюбить, чтобы и вас полюбили... То, что вы говорите, сударыня, не слишком согласно с истиной. Впрочем, найдите мне отважную женщину, и я женюсь... если только она будет не слишком безобразна. Я еще не настолько стар, чтобы не увлечься. За остальное вы не отвечаете.

— Откуда вы прибыли теперь? — с серьезным видом перебила его г-жа де Пьен.

Макс весьма лаконично поведал ей о своих путешествиях, однако постарался доказать, что не был тем туристом, о котором греки говорят: «Чемоданом уехал, чемоданом приехал»¹. Его краткие наблюдения изобличали острый ум, не довольствующийся ходячими мнениями, и образованность более глубокую, нежели он

¹Μπαούλο ἔφθασε, μπαουνλο ἐτύρισε

хотел показать. Вскоре он откланялся, заметив, что г-жа де Пьен поглядывает на часы, и обещал ей не без заминки побывать вечером у г-жи Дарсене.

Однако он не приехал туда, и г-жа де Пьен была этим слегка раздосадована. Зато он явился к ней на следующий день утром, чтобы попросить прощения, сославшись на усталость с дороги, вынудившую его остаться дома; но оправдывался он, опустив глаза и таким неуверенным тоном, что и без уменья г-жи де Пьен читать чужие мысли его притворство бросалось в глаза. Когда он с трудом закончил свою речь, г-жа де Пьен молча погрозила ему пальцем.

— Вы не верите мне? — спросил он.

— Нет. К счастью, вы еще не научились лгать. Вы не были вчера у госпожи Дарсене не потому, что устали и вам хотелось отдохнуть. Вы провели вечер не дома.

— Да, — ответил Макс, силясь улыбнуться, — вы правы. Я обедал в «Роше-де-Канкаль» с теми бездельниками, о которых говорил вам, потом поехал на чай к Фамену. Приятели не захотели отпустить меня, потом я играл.

— И, конечно, проиграли.

— Нет, выиграл.

— Тем хуже. Я предпочла бы, чтобы вы проиграли, в особенности, если бы это навсегда отвратило вас от сколь глупой, столь и мерзкой привычки.

Она склонилась над рукоделем и принялась за работу с нарочитым усердием.

— Много ли было гостей у госпожи Дарсене? — робко спросил Макс.

— Нет, народу было мало.

— А из барышень на выданье?

— Никого.

— Я все же рассчитываю на вас. Помните о своем обещании?

— У нас еще есть время подумать об этом.

В тоне г-жи де Пьен чувствовалась несвойственная ей сухость и принужденность.

Помолчав, Макс проговорил смиренно:

— Вы недовольны мной? Почему бы вам не отругать меня хорошенько, как это делала моя тетушка, а затем простить? Послушайте, хотите, я дам вам слово никогда больше не играть?

— Когда даешь обещание, надо быть в силах выполнить его.

— Обещание, данное вам, я выполняю: у меня достанет на это и воли и выдержки.

— Хорошо, Макс, я согласна, — сказала она, протягивая ему руку.

— Я выиграл тысячу сто франков, — проговорил он, — хотите, я пожертвую их в пользу ваших бедных? Трудно было бы найти лучшее применение столь дурно приобретенным деньгам.

Госпожа де Пьен призадумалась.

— Почему бы нет? — заметила она вслух, как бы обращаясь к самой себе. — Надеюсь, Макс, вы запомните этот урок. Я запишу, что получила от вас тысячу сто франков.

— Тетушка говорила, бывало, что лучший способ не делать долгов — это всегда платить наличными.

С этими словами Макс вынул бумажник, чтобы достать деньги. В приоткрытом бумажнике г-жа де Пьен заметила чей-то женский портрет. Макс перехватил ее взгляд, покраснел, поспешно закрыл бумажник и вручил ей деньги.

— Мне хотелось бы взглянуть на ваш бумажник... если это возможно, — промолвила она с лукавой улыбкой.

Макс окончательно смешался; он что-то невнятно пробормотал и постарался отвлечь внимание г-жи де Пьен.

Она было подумала, что Макс носит с собой портрет какой-нибудь красавицы итальянки; но явное смущение Макса и общий вид миниатюры — это все, что она успела увидеть, — навели ее на другое подозрение. Несколько лет тому назад она подарила свой портрет г-же Обре, и ей пришло в голову, что, как наследник покойной, Макс счел себя вправе присвоить его. Это показалось ей верхом бестактности. Однако сперва она ничем не выдала себя и лишь тогда, когда де Салиньи собрался откланяться, попросила:

— Кстати, у вашей тетушки был мой портрет, мне очень хотелось бы еще раз взглянуть на него.

— Не знаю... что за портрет?.. Какой портрет? — неуверенно спросил Макс.

На этот раз г-жа де Пьен решила не замечать, что он лжет.

— Поищите его, — сказала она как можно естественнее. — Вы доставите мне удовольствие.

Если бы не случай с портретом, она была бы вполне довольна покорностью Макса, ибо вознамерилась спасти еще одну заблудшую овцу.

Макс нашел миниатюру и принес ее на следующий день с видом, довольно равнодушным. Он заметил, что портрет никогда не отличался особым сходством и что художник придал своей модели несвойственную ей напряженность позы и суровое выражение лица. С этого дня визиты Макса стали короче, и сидел он у г-жи де Пьен с надутым видом, какого она никогда у него не замечала. Она приписала это настроение усилию, которое он делал поначалу, чтобы выполнить данное ей обещание и преодолеть свои дурные наклонности.

Недели через две после приезда де Салиньи г-жа де Пьен отправилась, как обычно, навестить свою протезу, Арсену Гийо, которую она отнюдь не забыла, надеюсь, как и вы, сударыня. Она расспросила больную о здоровье, о предписаниях врача и, заметив, что та еще более подавлена, чем в предыдущие дни, вызвалась почитать вслух, дабы не утруждать ее разговорами. Бедной девушке было бы, разумеется, приятнее побеседовать, чем слушать то, что ей собирались прочесть: как вы легко догадаетесь, речь шла о весьма серьезном сочинении, Арсена же никогда ничего не читала, кроме романов для кухарок. В самом деле, книга, которую выбрала г-жа де Пьен, была душеспасительного содержания. Я не назову вам ее заглавия, во-первых, чтобы не повредить ее автору, а во-вторых, из боязни, как бы вы не обвинили меня в желании сделать злонамеренный вывод обо всех сочинениях такого рода. Достаточно будет сказать, что книга принадлежала перу молодого человека девятнадцати лет и служила к исправлению закоренелых грешниц, что Арсена была очень удручена и что она не сомкнула глаз за всю предыдущую ночь. На третьей странице случилось то, что должно было случиться при чтении любого произведения, серьезного или нет; произошло неизбежное, иными словами, мадмуазель Гийо закрыла глаза и уснула. Г-жа де Пьен заметила это и порадовалась успокоительному

действию своего чтения. Сперва она понизила голос, опасаясь, как бы внезапная тишина не разбудила больную, затем положила книгу и тихонько встала, чтобы выйти на цыпочках из комнаты. Однако сиделка имела обыкновение спускаться к привратнице, когда приходила г-жа де Пьен, ибо визиты ее напоминали посещения духовника. Г-жа де Пьен положила дожидаться сиделки; но, будучи непримиримейшим врагом праздности, она подумала, чем бы заполнить время, которое ей оставалось провести у спящей Арсены. В небольшом закоулке позади алькова стоял стол с чернильницей и писчей бумагой; г-жа де Пьен расположилась там и стала писать какую-то записку. В ту минуту, когда она искала в ящике стола облатку, чтобы запечатать письмо, кто-то внезапно вошел в комнату и разбудил больную.

— Боже мой! Кого я вижу?! — воскликнула Арсена таким странным голосом, что г-жа де Пьен вздрогнула.

— Статочное ли дело? Это еще что? Кидаться в окно, как полоумная! Видали вы такую петую дуру?

Не знаю, верно ли я передал самые слова, во всяком случае, таков был смысл того, что говорил вошедший, в котором г-жа де Пьен сразу узнала по голосу Макса де Салиньи. Последовали восклицания, приглушенные вскрики Арсены, затем довольно звучный поцелуй.

— Бедная Арсена, в каком ты виде! — снова заговорил Макс. — Знаешь, я ни за что не разыскал бы тебя, если бы Жюли не дала мне твоего последнего адреса. Вот сумасшествие. Видали вы что-нибудь подобное?!

— Ах, Салиньи! Салиньи! Я так счастлива! Я так раскаиваюсь в том, что наделала! Теперь я разонравлюсь тебе. Ты больше не захочешь меня?..

— Ну и сумасбродка, — говорил между тем Макс, — почему ты не написала мне? не попросила денег? Почему не попросила их у майора? А что случилось с твоим русским? Разве твой казак уехал?

Узнав голос Макса, г-жа де Пьен была сначала почти так же изумлена, как Арсена. Удивление помешало ей сразу же выйти к ним. Потом она стала размышлять, следует ей показываться или нет, а когда одновременно размышляешь и слушаешь, решение не скоро приходит. Поэтому г-жа де Пьен услышала только что приведенный мною назидательный диалог и поняла,

что, оставаясь за альковым, она может и не того наслушаться. Она приняла решение и вошла в спальню со спокойствием и величавостью, свойственными добродетельным дамам, которые к тому же прекрасно умеют напускать их на себя.

— Макс, — молвила она, — ваше присутствие вредит этой бедной девочке, уходите. Зайдите ко мне через час, и мы потолкуем.

Макс побледнел, как мертвец, увидев г-жу де Пьен в таком месте, где он никак не ожидал ее встретить; он было повиновался и шагнул к двери.

— Ты уходишь?.. Не уходи! — воскликнула Арсена, с отчаянным усилием приподнимаясь на кровати.

— Дитя мое, — сказала г-жа де Пьен, беря ее за руку, — будьте благоразумны. Выслушайте меня. Вспомните о том, что вы мне обещали!

Говоря это, она бросила спокойный, но повелительный взгляд на Макса, который тотчас же удалился. Арсена снова упала на кровать; увидев, что он уходит, она лишилась чувств.

Госпожа де Пьен и вернувшаяся вскоре сиделка стали ухаживать за ней с той сноровкой, которую проявляют женщины в подобных случаях. Мало-помалу Арсена пришла в себя. Сначала она обвела взглядом комнату, словно ища того, кто только что был здесь; потом обратила свои большие черные глаза на г-жу де Пьен и пристально посмотрела на нее.

— Это ваш муж? — спросила она.

— Нет, — ответила г-жа де Пьен по-прежнему мягко, хотя и слегка покраснев, — господин де Салиньи мой родственник.

Она сочла возможным прибегнуть к этой маленькой лжи, дабы объяснить свою власть над ним.

— Так, значит, это вас он любит! — воскликнула Арсена, не сводя с нее своих горящих, как факелы, глаз.

Любит!.. Лицо г-жи де Пьен просияло. В тот же миг щеки ее вспыхнули ярким румянцем, и голос замер; но вскоре она обрела свою обычную ясность духа.

— Вы ошибаетесь, мое бедное дитя, — ответила она серьезно. — Господин де Салиньи понял, что был неправ, напомнив вам о прошлом, которое, к счастью, изгладилось из вашей памяти. Вы забыли...

— Забыла? Я? — воскликнула Арсена с мученической улыбкой, на которую больно было смотреть.

— Да, Арсена, вы отказались от безрассудных мечтаний прошлого, которое никогда больше не вернется. Подумайте, бедное дитя, что эта преступная связь — причина всех ваших несчастий. Подумайте...

— Он вас не любит? — не слушая, перебила ее Арсена. — Не любит, а понимает с одного взгляда! Я видела ваши и его глаза. Я не ошибаюсь... Что ж... иначе и быть не может! Вы красивая, молодая, очаровательная... а я изуродованная... искалеченная... умирающая...

Она не договорила; голос ее заглушили рыдания, такие громкие, такие мучительные, что сиделка собралась было бежать за врачом, ибо, по ее словам, г-н доктор больше всего опасается таких припадков: если бедняжка не успокоится, она может тут же кончиться.

Мало-помалу прилив сил, найденных Арсеной в самой остроте своей душевной боли, уступил место тупой подавленности, которую г-жа де Пьен приняла за спокойствие. Она возобновила свои увещевания, но Арсена лежала без движения и не слушала приводимых ею неотразимых доводов о преимуществе любви небесной перед любовью земной. Глаза ее были сухи, зубы судорожно сжаты. В то время как ее покровительница говорила о небе и о будущей жизни, она думала о настоящем. Неожиданный приезд Макса на миг пробудил ее несбыточные надежды, но взгляд г-жи де Пьен развеял их еще быстрее. После краткой грезы о счастье Арсена снова увидела перед собой печальную действительность, ставшую во сто крат ужаснее после минутного забвения.

Ваш домашний врач скажет вам, сударыня, что жертвы кораблекрушения, заснувшие среди мучений голода, видят себя за столом, уставленным яствами. Они просыпаются еще более голодные и жалеют о том, что уснули. Арсена терпела муку, подобную муке этих людей. Некогда она любила Макса так, как только умела любить. С ним ей хотелось ходить в театр, с ним ей было весело на загородных прогулках, о нем она то и дело рассказывала своим приятельницам. Когда Макс уехал, она много плакала и все же приняла ухаживания некоего русского; узнав об этом, Макс поразился,

ибо почитал его за человека порядочного, иначе говоря, щедрого. Пока она могла вести разгульную жизнь таких женщин, как она сама, ее любовь к Максу была лишь приятным воспоминанием, заставлявшим ее иногда вздыхать. Она думала о ней, как люди думают о своих детских забавах, к которым никто, однако, не захотел бы вернуться; но когда Арсена осталась без любовников, почувствовала себя всеми покинутой и испытала весь гнет нищеты и позора, ее любовь к Максу как бы очистилась, ибо это было единственное воспоминание, не вызывавшее у нее ни сожалений, ни угрызений совести. Оно даже возвышало ее в собственных глазах, и чем больше она опускалась, тем выше ставила Макса в своем воображении. «Я была его милой, он любил меня», — повторяла она не без гордости, когда ее охватывало отвращение при мысли, что она продажная женщина. В Минтурнских болотах Марий укреплял свое мужество, говоря себе: «Я победил кимвров!» Именно воспоминание о Максе помогало этой содержанке — увы, больше никто ее не содержал — преодолевать стыд и отчаяние. «Он меня любил... он все еще любит меня!» — думала она. На миг она чуть было не поверила этому, но теперь у нее отняли даже воспоминания, единственное благо, которое у нее оставалось в мире.

В то время как Арсена предавалась этим печальным размышлениям, г-жа де Пьен горячо доказывала ей необходимость навеки отказаться от того, что она именвала ее «преступными заблуждениями». Твердая уверенность в своей правоте делает человека бесчувственным, и, подобно хирургу, который выжигает язву каленым железом, не слушая криков больного, г-жа де Пьен продолжала свое дело с поистине безжалостной твердостью. Она говорила, что дни счастья, в которых бедная Арсена ищет прибежища, пытаясь уйти от себя, были преступной и постыдной порой, и что теперь она по справедливости искупает свое прошлое. Надо проклясть, надо изгнать из сердца бывшие иллюзии: тот, кого она считала своим покровителем, чуть ли не своим добрым гением, должен стать в ее глазах лишь опасным сообщником, соблазнителем, которого следует всячески избегать.

При слове «соблазнитель», нелепости которого г-жа

де Пьен даже не почувствовала, Арсена улыбнулась сквозь слезы, но ее достойная покровительница не заметила этого. Она невозмутимо продолжала свою проповедь и в конце ее заставила еще сильнее разрыдаться несчастную девушку, заявив: «Вы больше его не увидите».

Приход врача и полный упадок сил больной напомнили г-же де Пьен, что она сделала все, что могла. Она пожала руку Арсене и на прощание сказала ей:

— Мужайтесь, милая, господь не оставит вас.

Она выполнила свой долг перед больной, оставалось выполнить его перед другим виновным, что было еще труднее. Ее ждал тот, чью душу она должна была склонить к раскаянию. И, несмотря на уверенность, которую она черпала в своем благочестивом рвении, несмотря на свою власть над Максом — в ней она уже успела убедиться, — несмотря, наконец, на доброе мнение об этом вертопрахе, таившееся в глубине ее души, она ощущала странную тревогу при мысли о предстоящей борьбе. Ей захотелось собраться с силами перед этим опасным поединком, и, войдя в церковь, она попросила у бога новых озарений для защиты своего правого дела.

Вернувшись домой, она узнала, что г-н де Салиньи уже давно ждет ее в гостиной. Она нашла его бледным, встревоженным, возбужденным. Они сели. Макс не смел рта открыть; г-жа де Пьен тоже была взволнована, сама хорошенько не зная почему; сперва она молчала и лишь украдкой поглядывала на него.

— Макс, — проговорила она наконец, — я ни в чем не стану упрекать вас...

Он не без надменности поднял голову. Их взгляды встретились, и он сразу потупился.

— Ваше доброе сердце, — продолжала она, — сильнее укоряет вас, чем это могла бы сделать я сама. Провидение восхотело преподать вам этот урок, и я надеюсь, я убеждена... он не пропадет втуне.

— Сударыня, — перебил ее Макс, — я, собственно, не знаю, что произошло. Эта несчастная девушка выбросилась из окна, по крайней мере так мне сказали, но я не настолько самонадеян... я хочу сказать... мне было бы слишком больно приписать этот безумный поступок нашим прежним с ней отношениям.

— Скажите лучше, Макс, что, совершая зло, вы не предвидели его последствий. Бросив эту девушку в омут разврата, вы не подумали, что когда-нибудь она сможет покуситься на свою жизнь.

— Сударыня! — горячо воскликнул Макс. — Разрешите сказать вам, что я не совращал Арсену Гийо. Когда мы с ней познакомились, она уже давно была совращена. Она была моей любовницей, не отрицаю. Признаюсь даже, что я любил ее... как можно любить женщину такого сорта... Полагаю, что и ко мне она была немного больше привязана, чем к другим... Но мы уже давно разошлись, и она, видимо, не слишком сожалела об этом. Когда она написала мне в последний раз, я послал ей денег; но она не бережлива... Обратиться ко мне еще раз ей было стыдно, так как она по-своему горда... Нищета толкнула ее на этот ужасный шаг... Я в отчаянии... Но, повторяю, сударыня, мне не в чем упрекнуть себя.

Госпожа де Пьен смяла лежащее на столе вышивание.

— Конечно, по понятиям *света*, — проговорила она, — вы не виновны, вы не несете никакой ответственности, но помимо светской морали, Макс, существует мораль иная, и мне хотелось бы, чтобы вы руководствовались ее правилами... В настоящее время вы, вероятно, не в состоянии меня понять. Оставим это. Я хочу попросить вас лишь об одном и уверена, что вы не откажете мне. Эта бедная девушка охвачена раскаянием. Она с уважением выслушала советы некоего почтенного священнослужителя, который согласился ее навещать. Мы имеем все основания многого ожидать от нее. Но вы не должны больше видаться с ней, ибо сердце ее все еще колеблется между добром и злом, и, к сожалению, вы не захотите, да и, вероятно, не сумеете ей помочь. А вот, посещая ее, вы можете причинить ей огромный вред. Поэтому, прошу вас, дайте мне слово больше не бывать у нее.

Макс удивленно взглянул на г-жу де Пьен.

— Вы не откажете мне в этом, Макс. Будь ваша тетушка жива, она обратилась бы к вам с такой же просьбой. Вообразите, что это она говорит с вами.

— Боже милостивый, о чем вы просите меня, сударыня? Какой вред могу я причинить этой несчастной де-

вушке? Напротив, разве долг не повелевает мне... знавшему ее в дни веселья, не покидать ее теперь, когда она больна и больна серьезно, если правда то, что я узнал?

— Да, такова, вероятно, светская мораль, но эта мораль не моя. И чем тяжелее ее болезнь, тем важнее, чтобы вы больше не видели больной.

— Но согласитесь, что в том состоянии, в котором она находится, добродетель, самая неприступная, и та не нашла бы ничего предосудительного... Знаете, сударыня, если бы у меня заболела собака и мое присутствие было бы ей приятно, я поступил бы дурно, оставив ее подыхать в одиночестве. Не может быть, чтобы вы рассуждали иначе, вы, такая добрая, такая милосердная. Подумайте об этом, сударыня. С моей стороны это было бы поистине жестоко.

— Я только что просила вас дать мне это обещание в память вашей доброй тетушки... ради вашей дружбы ко мне... теперь я прошу о том же ради этой несчастной девушки. Если вы ее действительно любите...

— Ах, сударыня, умоляю вас, не смешивайте понятий, которые не имеют между собой ничего общего. Поверьте, мне крайне тяжело перечить вам, но, право же, меня обязывает к этому честь... Вам не нравится это слово? Забудьте его. Разрешите мне только в свою очередь просить вас, сударыня, чтобы вы сжалились над этой обездоленной девушкой... а также хоть немного над мной... Если я и был в чем-то неправ... если и содействовал ее беспутной жизни... Ныне я обязан позаботиться о ней. Было бы бесчеловечно бросить ее. Я не простил бы себе этого. Нет, я не могу ее бросить. Не требуйте этого от меня, сударыня.

— Недостатка в уходе у нее не будет. Но скажите, Макс, вы любите ее?

— Люблю ли... люблю ли ее?.. Нет... Я не люблю ее. Это слово здесь не подходит. Ее любить? Увы, нет, я не любил ее! С ней я старался отвлечься от чувства более серьезного, которое обязан был побороть... Вам это кажется нелепым, непонятным?.. Ваша чистая душа не допускает, чтобы можно было прибегнуть к такому средству... Так вот, это еще не худший поступок в моей жизни. Если бы мы, мужчины, не могли иной раз давать исход нашим страстям... вероятно... вероятно, ныне я сам бы выбросился из окна... но я не знаю, что говорю, и вы

все равно меня не поймете... да я и сам себя едва ли понимаю.

— Я спросила, любите ли вы ее, — снова заговорила г-жа де Пьен, потупившись, и голос ее прозвучал не совсем уверенно, — потому что, будь вы... расположены к ней, у вас хватило бы духу причинить ей боль и этим принести затем величайшее благо. Конечно, ей будет нелегко примириться с мыслью, что она больше не увидит вас; но много хуже для нее было бы свернуть с того пути, на который она почти чудом вступила. Ради своего спасения, Макс, она должна полностью забыть то время, о котором ваше присутствие напоминает ей слишком красноречиво.

Макс молча покачал головой. Он не был верующим, и слово «спасение», имевшее огромную власть над г-жой де Пьен, не находило такого же сильного отклика в его душе. Но по этому поводу с г-жой де Пьен невозможно было спорить. Обычно он тщательно избегал говорить при ней о своих сомнениях и на этот раз снова ничего не сказал; однако нетрудно было заметить, что он далеко не убежден.

— Хорошо, — продолжала г-жа де Пьен, — я буду говорить с вами общепринятым языком, если, к сожалению, вы не понимаете никакого другого. В самом деле, мы обсуждаем с вами чисто арифметическую задачу. Видясь с вами, Арсена ничего не выиграет, зато очень много потеряет. А теперь выбирайте.

— Сударыня, — сказал Макс взволнованно, — надеюсь, вы успели убедиться, что я не питаю никаких иных чувств к Арсене, кроме вполне естественного... участия. Что же ей может грозить? Да ничто. Вы не доверяете мне? Считаете, что я стану возражать против тех добрых советов, которые вы ей даете? Боже мой! Неужто, по-вашему, я хочу видеть умирающую с какими-нибудь дурными намерениями, я, которому претят печальные зрелища и который бежит от них с чувством, близким к отвращению? Повторяю, сударыня, это мой долг, подле нее я ищу искупления, кары, если желаете...

При этих словах г-жа де Пьен подняла голову и пристально, с восторгом, от которого просияло ее лицо, взглянула на Макса.

— Вы сказали, что ищете искупления, кары?.. Да, Макс! Сами того не зная, вы повинуетесь *внушению*

свыше и вы правы, что не уступаете мне... Да, я согласна. Навещайте эту девушку, и пусть она станет орудием вашего спасения, как вы чуть было не стали орудием ее гибели.

Макс вряд ли понимал так же ясно, как это понимаете вы, сударыня, что означает «внушение свыше». Столь внезапная перемена удивила его, он не знал, чему приписать это новое решение, не знал, нужно ли ему благодарить г-жу де Пьен за то, что она вняла его мольбе; однако в эту минуту его тревожило другое: ему хотелось понять, убедил ли он своей настойчивостью ту, которую больше всего боялся прогневить, или же попросту наскучил ей.

— Но я прошу вас, Макс, вернее, я требую...

Госпожа де Пьен сделала паузу, и Макс наклонил голову в знак того, что готов подчиниться ее воле.

— Я требую, чтобы вы виделись с ней только в моем присутствии.

Макс удивленно развел руками, но поспешил согласиться.

— Я не вполне полагаюсь на вас, — проговорила она с улыбкой. — Я все еще боюсь, как бы вы не испортили начатого мною дела, мне же хочется преуспеть. А под моим наблюдением вы окажетесь, напротив, полезным помощником, и, надеюсь, ваше послушание будет вознаграждено.

С этими словами она протянула ему руку. Они условились, что Макс навестит Арсену Гийо на следующий день, а г-жа де Пьен придет туда заранее, чтобы подготовить ее к этому посещению.

Вы поняли, конечно, ее намерения. Она ожидала, что найдет Макса раскаявшимся и без труда воспользуется примером Арсены, чтобы произнести красноречивую проповедь против его дурных страстей; но, вопреки ее ожиданиям, он отказался признать себя виновным. Приходилось на ходу менять вступление к задуманной речи и переделывать ее самое — дело столь же опасное, как и перестраивать войска во время внезапной атаки противника. Г-жа де Пьен не сумела вовремя произвести пужный маневр. Вместо того, чтобы отчитать Макса, она стала обсуждать с ним требования приличия. Неожиданно у нее блеснула новая мысль. «Раскаяние сообщницы тронет его, — подумала она. — Христианская кончи-

на женщины, которую он любил (к сожалению, она не могла сомневаться в близости таковой), нанесет сокрушительный удар его неверию». В надежде на это она и разрешила Максу посещать Арсену, что позволяло ей, кроме того, отложить задуманную душеспасительную речь. Мне кажется, я уже говорил вам, что мысль о столь серьезном поединке невольно пугала ее, несмотря на горячее желание спасти человека, заблуждения которого немало ее огорчали.

Всецело уповая на правоту своего дела, она все же сомневалась в его успехе; а потерпеть неудачу значило бы отчаяться в спасении Макса, значило бы волей-неволей изменить свое отношение к нему. Дьявол, быть может, для того, чтобы отвлечь ее внимание от горячей привязанности, которую она питала к другу детства, вознамерился оправдать эту привязанность христианскими побуждениями. Все средства хороши для искушителя, а такие уловки — для него дело привычное; мысль эта весьма изящно выражена по-португальски: *De boas intenções esta o inferno cheio* (благими намерениями вымощен ад). Вы же, сударыня, говорите по-французски, будто он вымощен женскими языками, что сводится к одному и тому же, ибо, на мой взгляд, женщины всегда стремятся к добру.

Вы мне велите продолжать? Возвращаясь к своему рассказу. Итак, на следующий день г-жа де Пьен отправилась к своей подопечной и нашла ее очень слабой, очень подавленной, но все же более спокойной и более смиренной, чем ожидала. Она заговорила с ней о г-не де Салиньи, но гораздо мягче, чем накануне. Право же, Арсена должна бесповоротно отказаться от него и вспоминать о нем лишь для того, чтобы сокрушаться об их совместном ослеплении. Кроме того, — и это входит в ее покаяние, — она должна показать самому Максу, что раскаивается, послужить для него примером, изменив свою жизнь и обеспечив ему на будущее тот душевный покой, который сама вкушает ныне. К этим чисто христианским увещаниям г-жа де Пьен сочла нужным присовокупить и несколько светских аргументов, например, если Арсена действительно любит г-на де Салиньи, она должна прежде всего желать его блага и, изменив образ жизни, заслужить уважение человека, который прежде не мог глубоко уважать ее.

Все, что в этих разглагольствованиях было строгого и печального, сразу позабылось, когда под конец г-жа де Пьен объявила Арсене, что она снова увидит Макса и что он придет к ней с минуты на минуту. При виде яркого румянца, вспыхнувшего на щеках Арсены, давно побледневших от перенесенных страданий, при виде необычайного блеска ее глаз г-жа де Пьен готова была раскаться, что согласилась на это свидание, но менять решение было поздно. Она употребила оставшееся время на благочестивые и пылкие увещевания, выслушанные с явным невниманием, ибо Арсена была, по-видимому, озабочена лишь тем, чтобы пригладить волосы и расправить помятую ленту своего чепчика.

Наконец явился де Салиньи, изо всех сил пытавшийся придать своему лицу веселое и непринужденное выражение, и осведомился о здоровье больной голосом, который, несмотря на все его старания, звучал более странно, чем при любой простуде. Арсене тоже было не по себе; она запиналась, не находила слов, но, взяв руку г-жи де Пьен, поднесла ее к губам, как бы в знак благодарности. Говорили они в течение четверти часа то, что обычно говорят люди, чувствующие себя неловко. Одна г-жа де Пьен сохраняла обычное свое спокойствие, или, точнее, будучи лучше подготовлена, лучше владела собой. Она нередко отвечала вместо Арсены, но та находила, что ее толмач довольно плохо передает ее мысли. Беседа не клеилась. Г-жа де Пьен заметила, наконец, что больная сильно кашляет, напомнила ей о запрещении врача разговаривать и, обратившись к Макс, попросила его лучше почитать вслух, чем утомлять Арсепу своими вопросами. Макс поспешно схватил книгу и подошел к окну, так как в комнате было темновато. Он стал читать, не очень хорошо понимая, что читает, Арсена вряд ли понимала больше, но вид у нее был такой, словно слушает она с большим интересом. Г-жа де Пьен занялась вышиванием, которое принесла с собой, сиделка изредка щипала себя, чтобы не заснуть. Взгляд г-жи де Пьен то и дело переходил от кровати к окну; сам стоглазый Аргус был некогда менее бдительным стражем, чем она. По прошествии нескольких минут г-жа де Пьен наклонилась к Арсене.

— Как он хорошо читает! — шепнула она.

— О да, — молвила Арсена и бросила на нее взгляд,

до странности не вязавшийся с улыбкой, которой сопровождался этот ответ.

Затем она потупилась; время от времени крупная слеза повисала на ее ресницах и, не замеченная ею, скользила по щеке. Макс ни разу не повернул головы. Когда он прочел несколько страниц, г-жа де Пьен обратилась к Арсене.

— Надо дать вам отдых, дитя мое. Боюсь, как бы мы вас не утомили. Скоро мы опять зайдем к вам.

Она встала, и тут же встал Макс, словно был ее тенью. Арсена попрощалась с ним, не поднимая глаз.

— Я довольна вами, Макс, — сказала г-жа де Пьен, которую он проводил до дому, — а ею и подавно. Бедная девушка преисполнена смирения. Она подает вам хороший пример.

— Страдать и молчать, сударыня, разве этому так уж трудно научиться?

— Главное, чему надо научиться, — это не допускать дурных помыслов в свое сердце.

Макс откланялся и сейчас же ушел.

Придя на следующий день к Арсене, г-жа де Пьен увидела, что она смотрит, не отрываясь, на букет редких цветов, стоящий на столике возле ее кровати.

— Букет мне прислал господин де Салиньи, — сказала она, — он справлялся также о моем здоровье, но сам не заходил.

— Какие прекрасные цветы! — сухоато заметила г-жа де Пьен.

— Прежде я очень любила цветы, — проговорила больная со вздохом, — и он баловал меня... Господин де Салиньи баловал меня, дарил мне самые красивые цветы, какие только мог найти... Но теперь цветы мне ни к чему... У них слишком сильный запах... Возьмите их, сударыня; он не рассердится, если я подарю вам букет.

— Но, милая, ведь вам приятно смотреть на цветы, — сказала гораздо мягче г-жа де Пьен, тронутая глубокой печалью, прозвучавшей в голосе бедной Арсены. — Я возьму лишь цветы, которые пахнут. Оставьте себе камелии.

— Нет, я ненавижу камелии... Они напоминают мне единственную ссору, которая у нас вышла... когда я жила с ним.

— Не вспоминайте об этих безумствах, дорогое дитя.

— Однажды, — продолжала Арсена, пристально смотря на г-жу де Пьен, — я увидела в его спальне красивую розовую камелию, стоявшую в стакане с водой. Я хотела взять ее, он не позволил. Он даже не дал мне дотронуться до цветка. Я заартачилась, наговорила ему глупостей. Он взял стакан с камелией, поставил его в шкаф, запер дверцу, а ключ положил в карман. Я взъерепенилась, даже разбила фарфоровую вазу, которой он очень дорожил. Все было напрасно. Я поняла, что цес-ток ему подарила какая-то порядочная женщина, но кто она — я так и не узнала.

Говоря это, Арсена не сводила пристального, даже злого взгляда с г-жи де Пьен, а та невольно опустила глаза. Наступило довольно длительное молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием большой. Г-жа де Пьен смутно припомнила историю с камелией. Однажды, когда она обедала у г-жи Обре, Макс попросил ее последовать примеру тетушки и тоже подарить ему букет по случаю дня его рождения. Она вытащила, смеясь, из прически камелию и протянула ему. Но почему столь ничтожный факт сохранился у нее в памяти? Г-жа де Пьен не смогла этого объяснить. И это почти испугало ее. Охватившее ее смятение едва успело рассеяться, как вошел Макс, и г-жа де Пьен почувствовала, что краснеет.

— Спасибо за цветы, — сказала Арсена, — но мне плохо от них... Они не пропадут: я подарила их госпоже де Пьен. Не заставляйте меня говорить, мне это запрещено. Может быть, почитаете немного?

Макс сел и начал читать вслух. Полагаю, что на этот раз никто его не слушал. Каждый из них, не исключая и самого чтеца, следил за ходом своих мыслей.

Госпожа де Пьен поднялась, собираясь уйти, и оставила было цветы на столе, но Арсена напомнила ей о них. Итак, она унесла с собой букет, недовольная тем, что проявила ненужную щепетильность, не сразу приняв такой пустяк. «Что тут может быть дурного?» — думала она. Но дурно было уже то, что она задавала себе этот простой вопрос.

На этот раз Макс зашел к ней, хотя она его не при-

глашала. Они сели и, не смотря друг на друга, так долго молчали, что обоим стало неловко.

— Меня глубоко печалит состояние этой бедной девушки, — проговорила наконец г-жа де Пьен. — Надежды, по-видимому, больше нет.

— Вы видели врача? — спросил Макс. — Что он говорит?

Госпожа де Пьен покачала головой.

— Ей уже немного дней осталось провести на этом свете. Сегодня утром ее соборовали.

— На нее было больно смотреть, — сказал Макс, подойдя к окну, вероятно, для того, чтобы скрыть свое волнение.

— Конечно, тяжело умирать в ее годы, — сокрушенно проговорила г-жа де Пьен. — Но проживи она дольше — как знать? — быть может, это обернулось бы несчастьем для нее... Не допустив, чтобы бедняжка наложила на себя руки, провидение пожелало дать ей время на покаяние... Это величайшая милость, всю важность которой она теперь и сама сознает... Аббат Дюбиньон очень доволен ею. Не стоит слишком жалеть ее, Макс!

— Не знаю, нужно ли жалеть того, кто умирает молодым... — ответил он довольно резко. — Впрочем, мне хотелось бы умереть молодым. Но хуже всего для меня — это видеть ее страдания.

— Телесные страдания бывают нередко полезны для души.

Макс молча сел в противоположном конце комнаты, в темном углу, наполовину скрытом тяжелыми занавесками. Г-жа де Пьен работала, или притворялась, что работает, обратив глаза на вышивание, но ей казалось, будто она ощущает, как некую тяжесть, устремленный на нее взгляд Макса. Ей чудилось, что этот взгляд, которого она пыталась избежать, скользит по ее рукам, плечам, по ее лбу. Вот он остановился на ее ножке, и она торопливо спрятала ее под юбку. Быть может, сударыня, есть доля правды в том, что говорят о магнетическом флюиде.

— Вы знакомы с адмиралом де Риньи? — неожиданно спросил Макс.

— Да, немного.

— Вероятно, мне придется попросить вас о небольшом одолжении... о рекомендательном письме к нему...

— Для чего?

— В последние дни я кое-что надумал, — продолжал он с наигранной веселостью. — Хочу исправиться, совершить какой-нибудь поступок, достойный доброго христианина. Но не знаю, как взяться за это...

Госпожа де Пьен бросила на него строгий взгляд.

— И вот к чему я пришел, — продолжал он. — Я очень жалею, что не знаю ратного дела, но этому можно научиться. Впрочем, я неплохо стреляю... и, как я уже имел честь доложить вам, мне безумно хочется уехать в Грецию и постараться убить какого-нибудь турка для вящей славы креста.

— В Грецию! — вскричала г-жа де Пьен, роняя клубок.

— Да, в Грецию. Здесь я бездельничаю, скучаю; я ни на что не годен, не приношу никакой пользы; нет на свете человека, которому я был бы нужен. Почему бы мне не уехать в Грецию, дабы стяжать там лавры или сложить голову во имя правого дела? Да я и не вижу иного средства прославиться при жизни или увековечить свое имя после смерти, а это было бы мне очень по душе. Представьте себе, сударыня, какая это будет честь для меня, когда в печати появится следующая заметка: «Нам сообщили из Триполицы, что Макс де Салиньи, молодой филэллин, подававший самые большие надежды» — ведь в газете можно так выразиться — «подававший самые большие надежды», пал жертвой своей пламенной преданности святому делу веры и свободы. Свирепый Куршид-паша настолько пренебрег приличиями, что приказал отрубить ему голову...» А по мнению света, это как раз худшее, что у меня есть, не правда ли, сударыня?

Он рассмеялся неестественным смехом.

— Вы серьезно говорите, Макс? Вы действительно собираетесь в Грецию?

— Вполне серьезно, сударыня; постараюсь только, чтобы мой некролог появился как можно позже.

— Но что вам делать в Греции? Солдат у греков и так достаточно... Из вас вышел бы превосходный воин, я уверена, но...

— Великолепный гренадер пяти с половиной футов! — воскликнул он, вскакивая на ноги. — Надеюсь, греки не настолько привередливы, чтобы отказаться от

тикого новобранца. Кроме шуток, — проговорил он, снова падая в кресло, — мне кажется, это лучшее, что я могу сделать. Я не в состоянии жить в Париже (он произнес это не без запальчивости); я несчастен здесь, и наделаю глупостей... У меня нет сил сопротивляться... Но мы еще поговорим об этом; я еду не сегодня, но все же уеду... О да, это необходимо; я дал себе клятву. Знаете, вот уже два дня как я учу греческий.

Ζωή μου, δας αγαπώ.

Какой прекрасный язык, правда?

Госпожа де Пьен, читавшая в свое время лорда Байрона, припомнила эту греческую фразу, рефрен одного из мелких стихотворений поэта. Перевод ее, как вам известно, дан в примечании: «Жизнь моя, я вас люблю». Таков один из учтивых оборотов речи, принятых в этой стране.

Госпожа де Пьен прокляла свою чересчур хорошую память. Она поостереглась расспрашивать Макса об этих греческих словах, напряженно думая лишь о том, как бы лицо ее не выдало, что она поняла их значение. Макс подошел к пианино, и его руки, словно невзначай опустившись на клавиатуру, взяли несколько меланхолических аккордов. Внезапно он схватил шляпу и, обернувшись к г-же де Пьен, спросил, не собирается ли она быть вечером у г-жи Дарсене.

— Возможно, что буду, — ответила она нерешительно.

Он пожал ей руку и тотчас же ушел, оставив ее в смятении, какого она еще никогда не испытала.

Мысли ее были беспорядочны и сменялись с такой быстротой, что она не могла остановиться ни на одной из них. Они походили на вереницу картин, которые появляются и исчезают в окне железнодорожного вагона. Подобно тому, как во время стремительного бега поезда глаз не улавливает подробностей проносящегося мимо пейзажа, а лишь схватывает общий его характер, так и среди хаоса обуревавших ее мыслей г-жа де Пьен ощущала только смутное чувство страха, словно невидимая рука увлекала ее вниз по крутому склону среди зияющих пропастей. В том, что Макс ее любит, сомнений быть не могло. Эта любовь (г-жа де Пьен называла ее привязанностью) зародилась уже давно, но до сих пор

не тревожила ее. Между такой благочестивой женщиной, как она, и таким вольнодумцем, как Макс, стояла неодолимая преграда, за которой она считала себя в безопасности. Хотя мысль о том, что она пробудила серьезное чувство в столь легкомысленном человеке, каким она почитала Макса, и доставляла ей удовольствие, или, точнее, самолюбивую радость, она никак не ожидала, что эта привязанность может поставить под угрозу ее спокойствие. Теперь же, когда этот вертопрах остепенился, она стала бояться его. Неужто исправление Макса, которое она приписывала себе, станет для них обоих причиной горя и мук? Временами она пыталась убедить себя, что опасности, которые ей смутно мерещились, лишены всякого правдоподобия. Внезапное решение де Салиньи уехать из Парижа, а также подмеченную ею перемену в нем можно было приписать, если на то пошло, его еще не угасшей любви к Арсене Гийо; но, странное дело, эта мысль была мучительнее всех остальных, и г-жа де Пьен испытала облегчение, доказав себе всю ее несообразность.

Госпожа де Пьен провела вечер, строя, разрушая и снова возводя воздушные замки. Она решила не ехать к г-же Дарсене и, чтобы отрезать себе пути к отступлению, отпустила кучера и рано легла спать; однако, когда это мужественное намерение было осуществлено, она подумала, что проявила недостойную слабость, и раскаялась в ней. Г-жу де Пьен больше всего страшила мысль о том, как бы Макс не заподозрил истинной причины ее отсутствия, а так как она не могла закрыть на нее глаза, то в конце концов осудила себя за неотступные думы о де Салиньи, которые уже сами по себе показались ей преступлением. Она долго молилась, но от этого ей не стало легче. Не знаю, в котором часу ей удалось заснуть; неоспоримо одно: когда она пробудилась, в голове у нее царил такой же сумбур, как и накануне, и она была столь же далека от какого-либо решения.

За завтраком — ведь что бы ни случилось, сударыня, люди имеют обыкновение завтракать, особенно если они плохо поужинали накануне — она прочла в газете, что некий паша разграбил какой-то город в Румелии. Женщины и дети были перебиты, несколько филэллинов пали с оружием в руках или погибли под чудовищной пыткой. Эта заметка не содействовала тому, чтобы заду-

манная Максом поездка в Грецию представилась ей в радужном свете. Она печально обдумывала прочитанное, и тут ей подали письмо от де Салиньи. Накануне вечером он очень скучал у г-жи Дарсене и, обеспокоенный тем, что г-жа де Пьен так и не приехала, справлялся о ее здоровье и спрашивал, в котором часу он должен быть у Арсены Гийо. Г-же де Пьен не хватило духу писать ответ, и она велела передать, что придет к больной в обычное время. Затем она решила навестить ее немедленно, чтобы избежать встречи с Максом; но, поразмыслив, нашла, что это было бы постыдной ребяческой ложью, худшей, чем ее вчерашнее малодушие. Итак, она взяла себя в руки, горячо помолилась и, когда настало время, вышла из дома и твердым шагом поднялась к Арсене.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Она нашла несчастную девушку в самом плачевном состоянии. Было ясно, что последний час ее близок и что со вчерашнего дня болезнь шагнула далеко вперед. Дыхание Арсены походило на мучительный хрип, и, как узнала г-жа де Пьен, с утра она уже несколько раз принималась бредить; да и врач считал, что она вряд ли протянет до следующего дня.

Арсена все же узнала свою покровительницу и поблагодарила ее за то, что та пришла.

— Вам не придется больше подниматься по моей лестнице, — сказала она угасшим голосом.

Казалось, каждое слово давалось ей с превеликим трудом и отнимало последние ее силы. Надо было наклониться, чтобы расслышать, что она говорит. Г-жа де Пьен взяла ее за руку; рука была уже холодная и как бы неживая.

Вскоре пришел Макс и приблизился к кровати умирающей. Она еле заметно кивнула ему и, видя, что он держит какую-то книгу, прошептала:

— Не надо читать сегодня.

Госпожа де Пьен бросила взгляд на книгу: то была карта Греции в переплете, которую он купил по дороге.

Аббат Дюбиньон, с утра находившийся подле Арсены, заметил, с какой быстротой тают силы болящей, и решил употребить с пользой для ее души те немногие

мгновения, которые ей оставалось провести на земле. Он отстранил Макса и г-жу де Пьен и, склоняясь над ложем страдания, обратился к несчастной девушке с торжественными словами утешения, уготованными религией для подобных скорбных минут. Г-жа де Пьен молилась на коленях в углу комнаты, а Макс, стоя у окна, казалось, превратился в изваяние.

— Прощаете ли вы тех, кто вас обидел, дочь моя? — взволнованно спросил священник.

— Да... пусть будут счастливы... — ответила умирающая, делая усилие, чтобы ее было слышно.

— Уповайте на милость божию, дочь моя! — произнес аббат. — Раскаяние отверзает врата рая.

Аббат проговорил еще несколько минут, затем умолк: его взяло сомнение, не труп ли лежит перед ним. Г-жа де Пьен медленно поднялась с колен, и все, кто был в комнате, застыли на месте, тревожно всматриваясь в бескровное лицо Арсены. Глаза ее были закрыты. Все затаили дыхание, как бы боясь потревожить тот грозный сон, который, быть может, уже объял ее; раздавалось лишь слабое, но отчетливое тиканье часов, стоявших на почном столике.

— Скончалась наша барышня! — проговорила наконец сиделка, поднеся свою табакерку к губам Арсены. — Видите, стекло не затуманилось. Она умерла!

— Бедная девочка! — воскликнул Макс, выходя из оцепенения, в которое, казалось, он был погружен. — Какую радость знала она на этом свете?

Как бы возвращенная к жизни звуком его голоса, Арсена внезапно открыла глаза.

— Я любила! — глухо прошептала она.

Она пошевелила пальцами, словно пытаясь протянуть руки. Макс и г-жа де Пьен подошли к кровати, и каждый из них взял ее за руку.

— Я любила, — повторила она с грустной улыбкой.

То были ее последние слова. Макс и г-жа де Пьен долго не выпускали ее ледяных рук, не смея поднять глаза...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, сударыня, вы говорите, что мой рассказ окончен, и не желаете слушать его продолжение. Я полагал,

что вам будет интересно узнать, уехал ли в Грецию де Салиньи, чем кончился... но уже поздно, и я вам наскучил. Ну что ж. Воздержитесь по крайней мере от ско-роspелых суждений; уверяю вас, я не сказал ничего та-кого, что давало бы вам право на них.

А, главное, не сомневайтесь в истинности рассказан-ной мною истории. Вы все еще сомневаетесь? В таком случае побывайте на Пер-Лашез: слева от могилы гене-рала де Фуа, шагах в двадцати от нее, вы увидите простую каменную плиту, неизменно окруженную бор-дюром прекрасных цветов. На ней вы прочтете высечен-ное крупными буквами имя моей героини: *Арсена Гийо*, а наклонившись над могилой, разберете, если только дождь еще не навел там своих порядков, несколько слов, написанных карандашом тонким, изящным почер-ком:

Бедная Арсена! Она молится за нас!

КАРМЕН

*Pasa gyne kholos estin; ekhei d'agalhas dyo horas:
Ten mian en thalamo, ten mian en thanato.*

Palladas¹

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что говорят, помещая поле битвы при Мунде в стране пунических бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. Согласно собственным моим соображениям по поводу текста анонимного автора *Bellum Hispaniense* и кое-каким сведениям, почерпну-тым в превосходной библиотеке герцога Осунского, я по-лагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз сыграл на все против защитников республики, сле-дует искать в окрестностях Монтильи. Находясь в Анда-лусии ранней осенью 1830 года, я совершил довольно дальнюю поездку, чтобы разрешить еще остававшиеся

¹ Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей:
Или на ложе любви, или на смертном одре.

Паллад (греч.).

у меня сомнения. Исследование, которое я в скором времени обнародую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросовестных археологов. Пока моя диссертация еще не разъяснила географической загадки, которая смущает всю ученую Европу, я хочу вам рассказать небольшую повесть; она ни в чем не предпрещает интересного вопроса о местонахождении Мунды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и двинулся в поход, не имея иной поклажи, кроме *Записок* Цезаря и нескольких рубашек. И вот однажды, скитаясь по возвышенной части Каченской равнины, изнемогая от усталости, умирая от жажды, сжигаемый раскаленным солнцем, я от всей души посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заметил поодаль от тропинки, по которой я следовал, небольшую зеленую лужайку, поросшую камышами и тростником. Это возвещало мне близость источника. И действительно, когда я подъехал, предполагаемая лужайка оказалась болотом, в котором терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного ущелья меж двух высоких уступов сьерры Кабра. Я решил, что, подымаясь по течению, я найду воду чище, меньше пиявок и лягушек и, быть может, немного тени среди утесов. При въезде в ущелье мой конь заржал, и тотчас же ему ответил другой конь, мне невидимый. Не успел я проехать и ста шагов, как ущелье, вдруг расширяясь, обнаружило передо мной как бы природный цирк, сплошь затененный высотой окружавших его откосов. Трудно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей мчался, кипя, и терялся в небольшом водоеме, устланном белоснежным песком. Пять-шесть прекрасных зеленых дубов, всегда защищенных от ветра и освежаемых ручьем, росли по берегам, осеняя его своей густой листвой; наконец, вокруг водоема мягкая, лоснистая трава предлагала ложе, подобного которому было бы не сыскать ни в одной харчевне на десять миль кругом.

Не мне принадлежала честь открытия столь красивых мест. Там уже отдыхал какой-то человек, и, когда я появился, он, по-видимому, спал. Разбуженный ржанием, он встал и подошел к своему коню, который было воспользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать окрестной травой. То был молодой малый среднего роста, но по виду сильный, с мрачным и гордым взглядом.

Цвет его лица, должно быть, красивый когда-то, стал под действием солнца темнее его волос. Одной рукой он взялся за недоуздок, в другой держал медный мушкетон. Сознаться, что в первый миг мушкетон и свирепый облик его обладателя меня несколько озадачили; но я перестал верить в разбойников, постоянно про них слыша и никогда с ними не сталкиваясь. К тому же я встречал столько честных поселян, вооружившихся до зубов, чтобы ехать на рынок, что вид огнестрельного оружия не давал мне права подвергать сомнению нравственность незнакомца. И потом, подумал я, на что ему мои рубашки и эльзевировские *Записки*? Поэтому я приветствовал человека с мушкетонном дружелюбным кивком и спросил его, улыбаясь, не нарушил ли я его сон. Он молча смерил меня взглядом от головы до ног; потом, как бы удовлетворенный осмотром, столь же внимательно взглянул на подъезжавшего проводника. Я видел, как тот побледнел и остановился, выказывая явный испуг. «Дурная встреча!» — подумал я. Но благоразумие тотчас же подсказало мне не проявлять ни малейшего беспокойства. Я слез с лошади, велел проводнику разнуздать ее и, опустившись на колени у ручья, погрузил в него голову и руки; потом выпил изрядный глоток, лежа ничком, как плохие воины Гедена.

Тем временем я наблюдал за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с видимой неохотой; второй же как будто не замышлял против нас ничего дурного, ибо коня он отпустил, а мушкетон, который он сперва держал наперевес, теперь был опущен к земле.

Не считая нужным обижаться на недостаточное внимание, оказанное моей особе, я растянулся на траве и с непринужденным видом спросил у человека с мушкетонном, нет ли у него огня. В то же время я вынул портсигар. Незнакомец, все так же молча, порывлся у себя в кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь. Бесспорно, он делался общительнее, ибо сел против меня, не расставаясь, однако же, с оружием. Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил его, курит ли он.

— Да, сеньор, — ответил он.

То были первые слова, которые он произнес, и я за-

метил, что *s* он произносит не по-андалусски¹, из чего я заключил, что это путешественник, как и я, только что не археолог.

— Вот эта недурна, — сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую регалию.

Он слегка наклонил голову, запалил свою сигару о мою, поблагодарил вторичным кивком, потом принялся курить со всей видимостью живейшего удовольствия.

— Ах! — воскликнул он, медленно выпуская первый клуб дыма изо рта и ноздрей. — Как давно я не курил!

В Испании угощение сигарой устанавливает отношения гостеприимства, подобно тому как на Востоке дележ хлеба и соли. Незнакомец оказался разговорчивее, чем я думал. Впрочем, хоть он и заявил, что живет в Монтильском округе, он был, по-видному, довольно плохо знаком с местностью. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились; не мог назвать ни одной окрестной деревни; наконец, когда я его спросил, не встречал ли он поблизости разрушенных стен, больших черепиц с закраинами, изваянных камней, он признался, что на подобные вещи никогда не обращал внимания. Зато он выказал себя знатоком по части лошадей. Он раскритиковал мою, что было нетрудно; потом рассказал мне родословную своего коня, знаменитого кордовского завода: действительно, благородное животное, такое выносливое, по словам хозяина, что прошло однажды тридцать миль за день галопом и крупной рысью. Посреди своей речи незнакомец вдруг запнулся, словно спохватившись и сердясь, что сказал лишнее. «Дело в том, что я очень торопился в Кордову, — продолжал он с легким смущением. — Мне надо было хлопотать в суде по поводу одной тяжбы...» Говоря это, он взглянул на Антонио, моего проводника, который потупил взор.

Тень и ручей настолько меня очаровали, что я вспомнил про ломти превосходной ветчины, положенные моими монтильскими друзьями в сумку моего проводника. Я велел их принести и пригласил незнакомца принять участие в походном завтраке. Если он давно не курил, то не ел он, должно быть, по меньшей мере двое суток.

¹ Андалусцы произносят *s* с придыханием, так что смешивают его с мягким *c* и *z*, которые испанцами выговариваются как английское *th*. По одному лишь слову *senor* можно узнать андалусца.

Он глотал, как голодный волк. Я решил, что встреча со мною ниспослана бедному малому свыше. Проводник мой меж тем ел мало, пил еще того меньше и не говорил ни о чем, хотя с самого начала нашего путешествия проявил себя беспримерным болтуном. Присутствие нашего гостя, по-видимому, его стесняло, и какая-то недоверчивость отстраняла их друг от друга, хотя я и не мог разгадать ее причины.

Уже исчезли последние крошки хлеба и ветчины; мы выкурили каждый по второй сигаре; я велел проводнику взнудать лошадей и собирался проститься с моим новым приятелем, как вдруг тот меня спросил, где я думаю провести ночь.

Не успев обратить внимания на предостерегающий знак проводника, я ответил, что направляюсь в Воронью венту.

— Скверный ночлег для такого человека, как вы, сеньор... Я тоже туда еду, и если вы мне позволите вас проводить, мы поедем вместе.

— С удовольствием, — сказал я, садясь в седло. Проводник, державший стремя, снова мне подмигнул. Я в ответ пожал плечами, как бы говоря ему, что насколько не тревожусь, и мы двинулись в путь.

Таинственные знаки Антонио, его беспокойство, некоторые вырвавшиеся у незнакомца слова, в особенности же его тридцатимильный пробег и малоправдоподобное объяснение такового уже помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с бандитом, но не все ли мне было равно? Я достаточно хорошо знал характер испанцев, чтобы быть вполне уверенным, что мне нечего бояться человека, с которым мы вместе ели и курили. Самое его присутствие было надежной защитой на случай какой-либо дурной встречи. К тому же я был рад узнать, что такое разбойник. С ними встречаешься не каждый день, и есть известная прелесть в соседстве человека опасного, в особенности когда чувствуешь его кротким и прирученным.

Я надеялся понемногу вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивания проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я отзывался о них почтительно. В то время в Андалусии имелся знаменитый бандит по имени Хосе

Мария, подвиги которого были у всех на устах. «Что, если рядом со мной Хосе Мария?» — говорил я себе... Я повторил рассказы, которые слышал об этом герое, все, впрочем, к его чести, и громко выразил восхищение его храбростью и великодушием.

— Хосе Мария — просто шут, — холодно произнес незнакомец.

«Судит он себя по заслугам, или же это излишняя скромность с его стороны? — спрашивал я себя мысленно, ибо, всматриваясь в своего спутника, я обнаруживал в нем приметы Хосе Марии, объявления о которых часто выдывал на воротах андалусских городов. — Да, это он... Светлые волосы, голубые глаза, большой рот, отличные зубы, маленькие руки; тонкая рубашка, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гнедая лошадь... Никаких сомнений. Но не будем нарушать его инкогнито».

Мы подъехали к венте. Она оказалась именно такой, как он мне ее описал, то есть одной из самых жалких, какие я когда-либо встречал. Большая комната служила и кухней, и столовой, и спальней. Огонь разводили тут же посередине, на плоском камне, и дым выходил через проделанную в крыше дыру, или, вернее, задерживался, образуя облако в нескольких футах над землей. Вдоль стен было разостлано пять или шесть старых ослиных попон: то были постели для путешественников. В двадцати шагах от дома, или, вернее, от этой единственной описанной мною комнаты, возвышалось нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом прелестном жилище не было иных живых существ, по крайней мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти—двенадцати, черных, как сажа, и одетых в ужасные лохмотья. «И это все, что осталось от населения Бэтической Мунды! — подумал я. — О Цезарь! О Секст Помпей! Как бы вы удивились, если бы вернулись в мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвалось удивленное восклицание.

— Ах! Сеньор дон Хосе! — промолвила она.

Дон Хосе нахмурил брови и поднял руку повелительным движением, тотчас же заставившим старуху замолчать. Я обернулся к проводнику и сделал ему незаметный знак, давая понять, что ему нечего пояснять мне, с каким человеком я собираюсь провести ночь. Ужин

был лучше, нежели я ожидал. Нам подали на маленьком столике, не выше фута, старого вареного петуха с рисом и множеством перца, потом перец на постном масле, наконец, *гаспачо*, нечто вроде салата из перца. Благодаря этим трем острым блюдам нам пришлось часто прибегать к бурдюку с монтільским вином, которое оказалось превосходным. После ужина, заметив висевшую на стене мандолину, — в Испании повсюду мандолины, — я спросил прислуживавшую нам девочку, умеет ли она на ней играть.

— Нет, — отвечала она. — Но дон Хосе так хорошо играет!

— Будьте так добры, — обратился я к нему, — спойте мне что-нибудь; я страстно люблю вашу национальную музыку.

— Я ни в чем не могу отказать столь любезному господину, который угощает меня такими великолепными сигарами! — весело воскликнул дон Хосе и, велел подать себе мандолину, запел, подыгрывая на ней; голос его был груб, но приятен, напев — печален и странен; что же касается слов, то я ничего не понял.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я ему, — это вы пели не испанскую песню. Она похожа на *сорсико*, которые мне приходилось слышать в Провинциях¹, а слова, должно быть, баскские.

— Да, — мрачно ответил дон Хосе.

Он положил мандолину наземь и, скрестив руки, стал смотреть на потухавший огонь с видом какой-то странной грусти. Освещенное стоявшей на столике лампой, его лицо, благородное и в то же время свирепое, напоминало мне мильтоновского Сатану. Быть может, как и он, мой спутник думал о покинутом крае, об изгнании, которому он подвергся по своей вине. Я старался оживить беседу, но он не отвечал, поглощенный своими печальными мыслями. Старуха уже улеглась в углу комнаты, за дырявым одеялом, повешенным на веревке. Девочка последовала за ней в это убежище, предназначенное для прекрасного пола. Тогда мой проводник, встав, пригласил меня сходить с ним в конюшню; но при

¹ Привилегированные провинции, пользующиеся особыми правами, то есть Алава, Бискайя, Гипускоа и часть Наварры. Местный язык там баскский

этих словах дон Хосе, словно вдруг очнувшись, резко спросил его, куда он идет.

— В конюшню, — ответил проводник.

— Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор позволит.

— Я боюсь, не больна ли лошадь сеньора; мне бы хотелось, чтобы сеньор ее посмотрел; может быть, он укажет, что с ней делать.

Было ясно, что Антоньо желает поговорить со мной наедине; но мне не хотелось возбуждать подозрений в доне Хосе, и я полагал, что в этом случае лучше всего выказать полнейшее доверие. Поэтому я ответил Антоньо, что в лошадях ничего не смыслю и хочу спать. Дон Хосе пошел за ним в конюшню и вскоре вернулся оттуда один. Он сказал мне, что лошадь здорова, но что мой проводник считает ее весьма драгоценным животным, трет ее своей курткой, чтобы она вспотела, и собирается провести ночь за этим приятным занятием. Тем временем я улегся на ослиные попоны, старательно закутавшись в плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе расположился у двери, предварительно освежив порох в своем мушкетоне, который он положил под сумку, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной ночи, оба мы через пять минут спали глубоким сном.

Я считал себя достаточно усталым, чтобы спать в подобном пристанище; но час спустя пренеприятный зуд нарушил мою дремоту. Как только я понял его природу, я встал в убеждении, что лучше провести остаток ночи под открытым небом, чем под этим негостеприимным кровом. Я на цыпочках подошел к дверям, перешагнув через ложе дона Хосе, почивавшего сном праведника, и ухитрился выйти из дому, не разбудив его. Возле двери была широкая деревянная скамья; я растянулся на ней и устроился, как мог, чтобы доспать ночь. Я уже собрался вторично закрыть глаза, как вдруг мне почудилось, будто передо мною проходят тень человека и тень коня, движущихся совершенно бесшумно. Я приподнялся на своем ложе, и мне показалось, что я вижу Антоньо. Удивленный его выходом из конюшни в такой поздний час, я встал и пошел ему навстречу. Увидев меня, он остановился.

— Где он? — шепотом спросил меня Антоньо.

— В венте; спит; он не боится клопов. Куда это вы ведете лошадь?

Тут я заметил, что Антоньо, желая без шума вывести лошадь из сарая, тщательно закутал ей ноги в обрывки старой попоны.

— Говорите тише, — сказал мне Антоньо, — ради бога! Вы не знаете, что это за человек. Это Хосе Наварро, знаменитейший бандит Андалусии. Я весь день делал вам знаки, которых вы не желали понимать.

— Бандит или не бандит, не все ли равно? — отвечал я. — Нас он не грабил, и я держу пари, что он об этом и не помышляет.

— Пусть так; но тот, кто его выдаст, получит двести дукатов. Я знаю, что в полутора милях отсюда находится уланский пост, и еще до зари приведу сюда нескольких дюжих молодцов. Я бы взял его коня, но он такой злой, что никого не подпускает к себе, кроме Наварро.

— Черт бы вас побрал! — сказал я ему. — Что худого вам сделал этот несчастный, чтобы его выдавать? И потом, уверены ли вы, что это и есть тот разбойник, о котором вы говорите?

— Вполне уверен; давеча он пошел за мной в конюшню и сказал мне: «Ты как будто меня знаешь; если ты скажешь этому доброму господину, кто я такой, я пушу тебе пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь с ним; вам нечего бояться. Пока вы тут, он ни о чем не догадается.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что звука подков уже не могло быть слышно. Антоньо мигом освободил коня от отрепьев, которыми он ему окутал ноги; он собирался сесть в седло. Я мольбами и угрозами пытался его удержать.

— Я бедный человек, сеньор, — отвечал он. — Двумястами дукатов брезговать не приходится, в особенности когда представляется случай избавить край от такой язвы. Но смотрите: если Наварро проснется, он схватится за мушкетон, и тогда берегитесь! Я-то слишком далеко зашел, чтобы отступать; устраивайтесь как знаете.

Мошеник уже сидел верхом; он прищепил коня, и впотьмах я скоро потерял его из виду.

Я был очень рассержен на своего проводника и изрядно встревожен. Поразмыслив минуту, я решился и

вошел в венту. Дон Хосе все еще спал, вероятно, набирая сил после трудов и тревожностей нескольких беспокойных ночей. Мне пришлось основательно встряхнуть его, чтобы разбудить. Я никогда не забуду его дикого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить мушкетон, предусмотрительно оставленный мною подалее от постели.

— Сеньор! — сказал я ему. — Извините, что я вас бужу, но у меня есть к вам глупый вопрос: было ли бы вам приятно, если бы сюда явилось полдюжины улан?

Он вскочил на ноги и спросил меня грозным голосом:

— Кто вам это сказал?

— Если предупреждение идет на пользу, то не все ли равно, от кого оно исходит?

— Ваш проводник меня предал, но он поплатится! Где он?

— Не знаю... В конюшне, должно быть... Но мне сказали...

— Кто?.. Старуха не могла сказать.

— Кто-то, кого я не знаю... Без дальних слов: есть у вас основания не дожидаться солдат или нет? Если есть, то не теряйте времени, а если нет, то покойной ночи, и извините меня, что я прервал ваш сон.

— Ах, этот проводник, этот проводник! Он мне сразу показался подозрительным... но... ничего, мы с ним сосчитаемся!.. Прощайте, сеньор. Да воздаст вам бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не настолько уж плох, как вы можете думать... да, во мне что-то есть еще, что заслуживает сострадания порядочного человека... Прощайте, сеньор. Я жалею об одном, что ничем не могу отплатить вам...

— В оплату за мою услугу обещайте мне, дон Хосе, никого не подозревать, не думать о мести... Нате, вот вам сигары на дорогу; счастливого пути!

И я протянул ему руку. Он молча пожал ее, взял свой мушкетон и сумку и, сказав что-то старухе на непонятном мне наречии, побежал к сараю. Несколько мгновений спустя я услышал, как он скачет по равнине.

Я же снова лег на скамью, но уснуть не мог. Я задавал себе вопрос, правильно ли я поступил, спасая от виселицы вора и, быть может, убийцу потому только, что поел с ним ветчины и рнсу по-валенсийски. Не предал ли я своего проводника, совершавшего законное

дело, не обрек ли я его мести негодяя? Но долг гостеприимства!.. Дикарский предрассудок, говорил я себе, я буду ответствен за все преступления, которые совершит этот бандит... Но предрассудок ли, однако, этот внутренний голос, не сдающийся ни на какие доводы? Быть может, из щекотливого положения, в котором я очутился, мне нельзя было выйти без укоров совести. Я все еще пребывал в величайшей неуверенности относительно правственности моего поступка, как вдруг увидел полдюжины приближающихся всадников с Антоньо, благоразумно следовавшим в арьергарде. Я пошел им навстречу и сообщил, что бандит спасся бегством тому уже два с лишним часа... Старуха на вопрос ефрейтора отвечала, что Наварро она знает, но что, живя одиноко, она ни за что бы не донесла на него, потому что могла бы поплатиться за это жизнью. Она добавила, что когда он у нее останавливается, он всегда уезжает среди ночи. Мне же пришлось отправиться за несколько миль предъявить паспорт и подписать заявление у алькайда, после чего мне разрешили продолжать мои археологические разыскания. Антоньо был на меня зол, подозревая, что это я помешал ему заработать двести дукатов. Все же в Кордове мы расстались друзьями; там я его вознаградил, насколько то позволяло состояние моих финансов.

.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Кордове я провел несколько дней. Мне указали на одну рукопись доминиканской библиотеки, где я мог найти интересные сведения о древней Мунде. Весьма радушно принятый добрыми монахами, дни я проводил в их монастыре, а вечером гулял по городу. В Кордове, на закате солнца, на набережной, идущей вдоль правого берега Гуадалкивира, бывает много праздного народа. Там дышишь испарениями кожевенного завода, донныне поддерживающего старинную славу тамошних мест по части выделки кож; но зато можно любоваться зрелищем, которое чего-нибудь да стоит. За несколько минут до «ангелуса» множество женщин собирается на берегу реки, внизу набережной, которая довольно высока. Ни один мужчина не посмел бы вмешаться в эту толпу.

Когда звонят «ангелус», считается, что настала ночь. При последнем ударе колокола все эти женщины раздеваются и входят в воду. И тут поднимаются крик, смех, адский шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, таращат глаза и мало что видят. Между тем эти смутные белые очертания, вырисовывающиеся на темной синеве реки, приводят в действие поэтические умы, и при некотором воображении нетрудно представить себе купающуюся с нимфами Диану, не боясь при этом участия Актеона. Мне рассказывали, что однажды несколько сорванцов сложились и задобрили соборного звонаря, чтобы он прозвонил «ангелус» двадцатью минутами раньше урочного часа. Хотя было еще совсем светло, гуадалкивирские нимфы не стали колебаться и, полагаясь больше на «ангелус», чем на солнце, со спокойной совестью совершили свой купальный туалет, который всегда крайне прост. Меня при этом не было. В мое время звонарь был неподкупен, сумерки — темны, и только кошка могла бы отличить самую старую торговку апельсинами от самой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда ничего уже не видно, я курил, облокотясь на перила набережной; вдруг какая-то женщина, поднявшись по лестнице от реки, села рядом со мной. В волосах у нее был большой букет жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий запах. Одета была она просто, пожалуй, даже бедно, во все черное, как большинство гризеток по вечерам. Женщины из общества носят черное только утром; вечером они одеваются *à la française*¹. Подходя ко мне, моя купальщица уронила на плечи мантилью, покрывавшую ей голову, «и в свете сумрачном, струящемся от звезд», я увидел, что она невысока ростом, молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот вполне французский знак внимания и поспешила мне сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей случается пайти мягкие *папелито*². По счастью, у меня в портсигаре как раз такие были, и я счел долгом ей их предложить. Она соблаговолила взять один и закурила его о кончик горячей веревки, которую за медную монету нам

¹ На французский лад, по-французски (*исп.*).

² Папелито — папироза (*исп.*).

принес мальчик. Смешивая клубы дыма, мы с прекрасной купальщицей так заговорились, что остались на набережной почти одни. Я счел, что не поступлю нескромно, предложив ей пойти в *неверию*¹ съесть мороженого. Немного подумав, она согласилась; но прежде чем решиться, захотела узнать, который час. Я поставил свои часы на бой, и этот звон очень ее удивил.

— Каких только изобретений у вас нет, у иностранцев! Из какой вы страны, сеньор? Англичанин, должно быть?²

— Француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньора или сеньорита, вы, вероятно, родом из Кордовы?

— Нет.

— Во всяком случае, вы андалуска. Я это слышу по вашему мягкому выговору.

— Если вы так хорошо различаете произношение, вы должны догадаться, кто я.

— Я полагаю, что вы из страны Иисуса, в двух шагах от рая.

(Этой метафоре, означающей Андалусию, меня научил мой приятель Франсиско Севилья, известный пикадор.)

— Да, рай... Здешние люди говорят, что он создан не для нас.

— Так, значит, вы мавританка или... — Я запнулся, не смея сказать: еврейка.

— Да полноте! Вы же видите, что я цыганка; хотите, я вам *скажу бахи*?³ Слышали вы когда-нибудь о Карменсите? Это я.

В те времена — тому уже пятнадцать лет — я был таким нехристом, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с собой ведьму. «Что ж! — подумал я. — На той неделе я ужинал с грабителем с большой дороги, покушаем сегодня мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь, надо видеть все». У меня была и другая причина поддержать с ней знакомство. По вы-

¹ Неверия — кафе, где имеется ледник, или, вернее, склад снега. В Испании в каждой деревне есть такая неверия.

² В Испании всякого путешественника, у которого нет с собой образца коленкора или шелка, считают англичанином, инглесито. То же самое и на Востоке. В Халкиде я имел честь быть представленным как *милордос французос*.

³ Погадаю.

ходе из коллежа — признаюсь к своему стыду — я убил некоторое время на изучение тайных наук и даже несколько раз пытался заклинать духа тьмы. Давно уже исцелившись от страсти к подобного рода изысканиям, я все же продолжал относиться с известным любопытством ко всяким суевериям и теперь рад был случаю узнать, на какой высоте стоит искусство магии у цыган.

Беседуя, мы вошли в неверию и уселись за столик, озаренный свечой под стеклянным колпачком. Тут я мог вдоволь разглядывать свою *хитану*, в то время как добрые люди, сидя за мороженым, дивились, видя меня в таком обществе.

Я сильно сомневаюсь в чистокровности сеньориты Кармен; во всяком случае, она была бесконечно красивее всех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, надо, говорят испанцы, чтобы она вмещала тридцать «если», или, если угодно, чтобы ее можно было определить при помощи десяти прилагательных, применимых каждое к трем частям ее особы. Так, три вещи у нее должны быть черные: глаза, веки и брови; три — тонкие: пальцы, губы, волосы, и т. д. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла притязать на все эти совершенства. Ее кожа, правда, безукоризненно гладкая, цветом близко напоминала медь. Глаза у нее были раскосые, но чудесно вырезанные; губы немного полные, но красиво очерченные, а за ними виднелись зубы, белее очищенных миндалин. Ее волосы, быть может, немного грубые, были черные, с синим, как вороново крыло, отливом, длинные и блестящие. Чтобы не утомлять вас слишком подробным описанием, скажу коротко, что с каждым недостатком она соединяла достоинство, быть может, еще сильнее выступавшее в силу контраста. То была странная и дикая красота, лицо, которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. В особенности у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого я не встречал ни в одном человеческом взгляде. Цыганский глаз — волчий глаз, говорит испанская поговорка, и это — верное замечание. Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы изучать взгляд волка, посмотрите на вашу кошку, когда она подстерегает воробья.

Было бы, конечно, смешно, чтобы вам гадали в кафе. А потому я попросил хорошенькую колдунью разрешить мне проводить ее домой; она легко согласилась, но захотела еще раз справиться о времени и снова попросила меня поставить часы на бой.

— Они действительно золотые? — сказала она, разглядывая их с необыкновенным вниманием.

Когда мы вышли, стояла темная ночь; лавки были большей частью заперты, а улицы почти пусты. Мы перешли Гуадалкивирский мост и в конце предместья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам отворил мальчик. Цыганка сказала ему что-то на незнакомом мне языке; впоследствии я узнал, что это *роммани*, или *чипе калыи*, наречие хитанов. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас одних в довольно большой комнате, где стояли небольшой стол, два табурета и баул. Еще я должен упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и вязку лука.

Когда мы остались наедине, цыганка достала из баула карты, по-видимому, уже немало послужившие, магнит, высохшего хамелеона и кое-какие другие предметы, потребные для ее искусства. Потом она велела мне начертить монетой крест на левой ладони, и магический обряд начался. Ни к чему излагать вам ее предсказания; что же касается ее приемов, то было очевидно, что она и впрямь колдунья.

К сожалению, нам скоро помешали. Внезапно с шумом отворилась дверь, и человек, до самых глаз закутанный в бурый плащ, вошел в комнату, не очень-то любезно окликая цыганку. Я не понимал, что он говорил, но по его голосу можно было судить, что он чем-то весьма недоволен. При виде его *хитана* не выказала ни удивления, ни досады, но бросилась ему навстречу и с необычайной поспешностью стала ему что-то говорить на таинственном языке, которым уже пользовалась в моем присутствии. Слово *паильо*, часто повторявшееся, было единственным, которое я понимал. Я знал, что так цыгане называют всякого человека чуждого им племени. Полагая, что речь идет обо мне, я готовился к щекопливому объяснению; уже я сжимал в руке ножку одного из табуретов и строил про себя умозаключения, дабы с точностью установить миг, когда будет уместно швыр-

путь им в голову пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко мне; потом, отступив на шаг:

— Ах, сеньор, — сказал он, — это вы!

Я в свой черед взглянул на него и узнал моего друга дона Хосе. В эту минуту я немного жалел, что не дал его повесить.

— Э, да это вы, мой удалец! — воскликнул я, смеясь насколько мог непринужденно. — Вы прервали сеньориту, как раз когда она сообщала мне преинтересные вещи.

— Все такая же! Этому будет конец, — процедил он сквозь зубы, устремляя на нее свирепый взгляд.

Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своем наречии. Она постепенно воодушевлялась. Ее глаза наливались кровью и становились страшны, лицо перекашивалось, она топала ногой. Мне казалось, что она настойчиво убеждает его что-то сделать, но что он не решается. Что это было, мне представлялось совершенно ясным при виде того, как она быстро водила своей маленькой ручкой взад и вперед под подбородком. Я склонен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать горло, и имел основания подозревать, что горло это — мое.

На этот поток красноречия дон Хосе ответил всего лишь двумя-тремя коротко произнесенными словами. Тогда цыганка бросила на него полный презрения взгляд, затем, усевшись по-турецки в углу, выбрала апельсин, очистила его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вывел меня на улицу. Мы прошли шагов двести в полном молчании. Потом, протянув руку:

— Все прямо, — сказал он, — и вы будете на мосту.

Он тотчас же повернулся и быстро пошел прочь. Я возвратился к себе в гостиницу немного сконфуженный и в довольно дурном расположении духа. Хуже всего было то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение моих часов.

По некоторым соображениям я не пошел на следующий день потребовать их обратно и не обратился к кортехидору с просьбой их разыскать. Я закончил свою работу над доминиканской рукописью и уехал в Севилью. Постранствовав несколько месяцев по Андалусии, я решил вернуться в Мадрид, и мне пришлось снова проезжать через Кордову. Я не собирался задерживаться там

надолго, ибо невзлюбил этот прекрасный город с его гундалкивирскими купальницами. Но, чтобы повидать некоторых друзей и выполнить кое-какие поручения, мне нужно было провести по меньшей мере три-четыре дня в древней столице мусульманских владык.

Едва я появился вновь в доминиканском монастыре, один из монахов, всегда живо интересовавшийся моими изысканиями о местонахождении Мунды, встретил меня с распростертыми объятиями, восклицая:

— Хвала создателю! Милости просим, дорогой мой друг. Мы все считали, что вас нет в живых, и я сам множество раз прочел Pater и Ave, о чем не жалею, за упокой вашей души. Так, значит, вас не убили; а что вас обокрали, это мы знаем!

— Как так? — спросил я его не без удивления.

— Ну да, вы же знаете эти прекрасные часы, которые вы в библиотеке ставили на бой, когда мы вам говорили, что пора идти в церковь. Так они нашлись, вам их вернут.

— То есть, — перебил я его смущенно, — я их потерял...

— Мошенник под замком, а так как известно, что он способен застрелить христианина из ружья, чтобы отобрать у него песету, то мы умирали от страха, что он вас убил. Я с вами схожу к коррехидору, и вам вернут ваши чудесные часы. А потом посмейте рассказывать дома, что в Испании правосудие не знает своего ремесла!

— Я должен сознаться, — сказал я ему, — что мне было бы приятнее остаться без часов, чем показывать против бедного малого, чтобы его потом повесили, особенно потому... потому...

— О, вам не о чем беспокоиться! Он достаточно себя зарекомендовал, и дважды его не повесят. Говоря — повесят, я не совсем точен. Этот ваш вор — идальго; поэтому его послезавтра без всякой пощады удавят¹. Вы видите, что одной кражей больше или меньше для него все равно. Добро бы он еще только воровал! Но он совершил несколько убийств, одно другого ужаснее.

— Как его зовут?

— Здесь он известен под именем Хосе Наварро; но у него есть еще баскское имя, которого нам с вами ни за

¹ В 1830 году дворянство еще пользовалось этой привилегией. Теперь, при конституционном строе, право на гарроту предоставлено и простому народу.

что не выговорить. Знаете, с ним можно повидаться, и вы, который интересуетесь местными особенностями, не должны упускать случая узнать, как в Испании мошенники управляют на тот свет. Он в часовне, и отец Мартинес вас проводит.

Мой доминиканец так настаивал, чтобы я взглянул на приготовления к «карошенький маленький пофешенья», что я не мог отказаться. Я отправился к узнику, захватив с собой пачку сигар, которые, я надеялся, оправдали бы в его глазах мою нескромность.

Меня впустили к дону Хосе, когда он обедал. Он довольно холодно кивнул мне головой и вежливо поблагодарил меня за принесенный подарок. Пересчитав сигары в пачке, которую я ему вручил, он отобрал несколько штук и вернул мне остальные, заметив, что так много ему не потребуется.

Я спросил его, не могу ли я с помощью денег или при содействии моих друзей добиться смягчения его участи. Сначала он пожал плечами, грустно улыбнувшись; потом, подумав, попросил меня отслужить обедню за упокой его души.

— Не могли ли бы вы, — добавил он застенчиво, — не могли ли бы вы отслужить еще и другую за одну особу, которая вас оскорбила?

— Разумеется, дорогой мой, — сказал я ему. — Но только, насколько я знаю, никто меня не оскорблял в этой стране.

Он взял мою руку и пожал ее с серьезным лицом. Помолчав, он продолжал:

— Могу я вас попросить еще об одной услуге?.. Возвращаясь на родину, вы, может быть, будете проезжать через Наварру; во всяком случае, вы будете в Витории, которая оттуда недалеко.

— Да, — отвечал я, — я, конечно, буду в Витории; но возможно, что заеду и в Памплону, а ради вас я, пожалуй, охотно сделаю этот крюк.

— Так вот, если вы заедете в Памплону, вы увидите много для вас интересного... Это красивый город... Я вам дам этот образок (он показал мне серебряный образок, висевший у него на шее), вы завернете его в бумагу... — он остановился, чтобы одолеть волнение, — и передадите его или велите передать одной женщине, адрес которой я вам скажу. Вы скажете, что я умер, но не скажете, как.

Я обещал исполнить его поручение. Я был у него на следующий день и провел с ним несколько часов. Из его уст я услышал печальную повесть, которую здесь приножу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Я родился, — сказал он, — в Элисондо, в Бас-танской долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа, и вы достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы сразу же заключить по моему имени, что я баск и чистокровный христианин. Если я называю себя *дон*, то это потому, что имею на то право, и, будь я в Элисондо, я бы вам показал мою родословную на пергаменте. Из меня хотели сделать священника и заставляли учиться, но преуспевал я плохо. Я слишком любил играть в мяч, это меня и погубило. Когда мы, наваррцы, играем в мяч, мы забываем все. Как-то раз, когда я выиграл, один алавский юнец затеял со мной ссору; мы взялись за *макилы*¹, и я опять его победил; но из-за этого мне пришлось уехать. Мне повстречались драгуны, и я поступил в Альманский кавалерийский полк. Наши горцы быстро выучиваются военному делу. Вскоре я сделался ефрейтором, и меня обещали произвести в вахмистры, но тут, на мою беду, меня назначили в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, вы, должно быть, видели это большое здание за городской стеной, над Гуадалкивиром. Я как сейчас вижу его ворота и кордегардию рядом. На карауле испанцы играют в карты или спят; я же, как истый наваррец, всегда старался быть чем-нибудь занят. Я делал из латунной проволоки цепочку для своего затравника. Вдруг товарищи говорят: «Вот и колокол звонит; сейчас девицы вернутся на работу». Вы, быть может, знаете, сеньор, что на фабрике работают по меньшей мере четыреста—пятьсот женщин. Это они крутят сигары в большой палате, куда мужчины не допускают без разрешения *вейнтикуатро*², потому что женщины, когда жарко, ходят там палегке, в особенности молодые. Когда работницы возвращаются на фабрику после обеда, множество молодых людей тол-

¹ Макилы — баскские палки с железными наконечниками.

² Вейнтикуатро — чиновник, ведающий городской полицией и благоустройством города.

лится на их пути и городит им всякую всячину. Редкая девица отказывается от гафтяной мантильи, и рыболовам стоит только нагнуться, чтобы поймать рыбку. Пока остальные глазели, я продолжал сидеть на скамье у ворот. Я был молод тогда; я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и спадающих на плечи кос¹. К тому же андалусок я боялся; я еще не привык к их повадке: вечные пасмешки, ни одного путного слова. Итак, я уткнулся носом в свою цепочку, как вдруг слышу, какие-то штатские говорят: «Вот цыганочка». Я поднял глаза и увидел ее. Это было в пятницу, и этого я никогда не забуду. Я увидел Кармен, которую вы знаете, у которой мы с вами встретились несколько месяцев тому назад.

На ней была очень короткая красная юбка, позволявшая видеть туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акации, заткнутый за вырез сорочки. В зубах у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода. У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились. В Севилье же всякий отпускал ей какой-нибудь бойкий комплимент по поводу ее внешности; она каждому отвечала, строя глазки и подбочась, бесстыдная, как только может быть цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу; но она, следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила.

— Кум! — обратилась она ко мне на андалусский лад. — Подари мне твою цепочку, чтобы я могла носить ключи от моего денежного сундука.

— Это для моей булавки, — отвечал я ей.

— Для твоей булавки! — воскликнула она, смеясь. — Видно, сеньор плетет кружева, раз он нуждается в булавках.

Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что краснею, и не нашелся, что ответить.

— Сердце мое! — продолжала она. — Сплети мне семь локтей черных кружев на мантилью, милый мой булавочник!

¹ Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций.

И, взяв цветок акации, который она держала в зубах, она бросила его мне щелчком прямо между глаз. Сеньор! Мне показалось, что в меня ударила пуля... Я не знал, куда деваться, и торчал на месте, как доска. Когда она прошла на фабрику, я заметил цветок акации, упавший наземь у моих ног; я не знаю, что на меня нашло, но только я его подобрал тайком от товарищей и бережно спрятал в карман куртки. Первая глупость!

Часа два-три спустя я все еще думал об этом, как вдруг в кордегардию вбежал сторож, тяжело дыша, с перепуганным лицом. Он нам сказал, что в большой сигарной палате убили женщину и что туда надо послать караул. Вахмистр велел мне взять двух людей и пойти посмотреть, в чем дело. Я беру людей и иду наверх. И вот, сеньор, входя в палату, я вижу прежде всего триста женщин в одних рубашках или вроде того, и все они кричат, вопят, машут руками и поднимают такой содом, что не расслышать и грома божьего. В стороне лежала одна, задрав копыта, вся в крови, с лицом, накрест исполосованным двумя взмахами ножа. Напротив раненой, вокруг которой хлопотали самые расторопные, я вижу Кармен, которую держат несколько кумушек. Раненая кричала: «Священника! Священника! Меня убили!» Кармен молчала: она стиснула зубы и вращала глазами, как хамелеон. «В чем дело?» — спросил я. Мне стоило немалого труда выяснить, что случилось, потому что все работницы говорили со мной разом. Раненая женщина, оказывается, похвасталась, будто у нее столько денег в кармане, что она может купить осла на трианском рынке. «Вот как! — заметила Кармен, у которой был острый язычок. — Так тебе мало метлы?» Та, задетая за живое, быть может, потому, что чувствовала себя небылковой по этой части, ответила, что в метлах она мало что смыслит, не имея чести быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита Карменсита скоро познакомится с ее ослом, когда господин коррехидор повезет ее на прогулку, приставив к ней сзади двух лакеев, чтобы отгонять от нее мух. «Ну, а я, — сказала Кармен, — устрою тебе мушиный водопой на щеках и распишу их, как шахматную доску»¹. И тут же — чик-

¹ *Pintar un javegue* — расписать шебеку. У испанских шебек борт по большей части бывает расписан красными и белыми квадратами.

чик! — ножом, которым она срезала сигарные кончики, она начинает чертить ей на лице андреевские кресты.

Дело было ясное; я взял Кармен за локоть. «Сестрица! — сказал я учтиво. — Идемте со мной». Она посмотрела на меня, как будто меня узнав, но покорно произнесла: «Идем. Где моя мантилья?» Она накинула ее на голову так, что был виден только один ее большой глаз, и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда мы явились в кордегардию, вахмистр заявил, что случай серьезный и что надо отвести ее в тюрьму. Вести ее должен был опять я. Я поместил ее меж двух драгун, а сам пошел сзади, как полагается при таких обстоятельствах ефрейтору. Мы двинулись в город. Сначала цыганка молчала; на Змеиной улице, — вы знаете ее, она вполне заслуживает это название своими заворотами, — на Змеиной улице она начинает с того, что роняет мантилью на плечи, чтобы я мог видеть ее обольстительное личико, и, оборачиваясь ко мне, насколько можно было, говорит: — Господин офицер! Куда вы меня ведете?

— В тюрьму, бедное мое дитя, — отвечал я ей возможно мягче, как хороший солдат должен говорить с арестантом, особенно с женщиной.

— Увы! Что со мной будет? Господин офицер! Пожалейте меня. Вы такой молодой, такой милый!.. — Потом, понизив голос: — Дайте мне убежать, — сказала она, — я вам дам кусочек *бар лачи*, и вас будут любить все женщины.

Бар лачи, сеньор, это магнитная руда, при помощи которой, по словам цыган, можно выделять всякие колдовства, если уметь ею пользоваться. Натрите щепотку и дайте выпить женщине в стакане белого вина, она не сможет устоять. Я ей ответил насколько можно серьезнее:

— Мы здесь не для того, чтобы говорить глупости, надо идти в тюрьму, таков приказ, и тут ничем помочь нельзя.

Мы, люди баскского племени, говорим с акцентом, по которому нас нетрудно отличить от испанцев; зато ни один из них ни за что не выучится говорить хотя бы *bai jaopa*¹. Поэтому Кармен догадалась без труда, что я родом из Провинций. Ведь вам известно, сеньор, что

¹ Да, господин.

цыгане, не принадлежа ни к какой стране, вечно кочуя, говорят на всех языках, и большинство их чувствует себя дома и в Португалии, и во Франции, и в Провинциях, и в Каталонии, всюду; даже с маврами и с англичанами — и то они объясняются. Кармен довольно хорошо говорила по-баскски.

— *Laguna ene bihotsarena*, товарищ моего сердца! — обратилась она ко мне вдруг. — Мы земляки?

Наша речь, сеньор, так прекрасна, что, когда мы ее слышим в чужих краях, нас охватывает трепет... Я бы хотел духовника из Провинций, — добавил, понижая голос, бандит.

Помолчав, он продолжал:

— Я из Элисондо, — отвечал я ей по-баскски, взволнованный тем, что она говорит на моем языке.

— А я из Этчалара, — сказала она. (Это от нас в четырех часах пути.) — Меня цыгане увели в Севилью. Я работала на фабрике, чтобы скопить, на что вернуться в Наварру к моей бедной матушке, у которой нет другой поддержки, кроме меня да маленького *barratcea*¹ с двумя десятками сидровых яблонов. Ах, если бы я была дома, под белой горой! Меня оскорбили, потому что я не из страны этих жуликов, продавцов тухлых апельсинов; и все эти шлюхи ополчились на меня, потому что я им сказала, что все их севильские *хаке*² и с ножами не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой. Товарищ, друг мой! Неужели вы ничего не сделаете для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Я не знаю, сказала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды; но, когда она говорила, я ей верил; это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, а я верил, что она наваррка; уже одни ее глаза, и рот, и цвет кожи говорили, что она цыганка. Я сошел с ума, я ничего уже не видел. Я думал о том, что, если бы испанцы посмели дурно отозваться о моей родине, я бы им искромсал лицо совершенно так же, как только что она своей товарке. Словом, я был как пьяный; я начал говорить глупости, я готов был их натворить.

— Если бы я вас толкнула и вы упали, земляк, —

¹ Сада.

² Хаке — задиры, хвастуны.

продолжала она по-баскски, — то не этим двум кастильским новобранцам меня поймать...

Честное слово, я забыл присягу и все и сказал ей:

— Ну, землячка милая, попытайтесь, и да поможет вам божья мать горная!

В эту минуту мы проходили мимо узкого переулочка, которых столько в Севилье. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно упал навзничь. Одним прыжком она перескакивает через меня и бросается бежать, показывая нам пару ног!.. Говорят — баскские ноги: таких ног, как у нее, надо было поискать... таких быстрых и стройных. Я тотчас же встаю, но беру пику¹ наперевес, загораживая улицу, так что мои товарищи, едва собравшись в погоню, оказались задержаны. Затем я сам побежал, и они за мной; но догнать ее нечего было и думать с нашими шпорами, саблями и пиками! Скорее, чем я вам рассказываю, наша пленница скрылась. Вдобавок все местные кумушки облегчали ей бегство, и потешались над нами, и указывали неверную дорогу. После нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось воротиться в кордегардию без расписки от начальника тюрьмы.

Мои люди, чтобы избежать наказания, заявили, что Кармен говорила со мной по-баскски; да и казалось довольно неестественным, по правде говоря, чтобы хрупкая девочка могла одним ударом кулака свалить такого молодца, как я. Все это показалось подозрительным, или, вернее, слишком ясным. Когда пришла смена караула, меня разжаловали и посадили на месяц в тюрьму. Это было мое первое взыскание по службе. Прощайте, вахмистерские галуны, которые я уже считал своими!

Мои первые тюремные дни прошли очень невесело. Поступая в солдаты, я воображал, что стану по меньшей мере офицером. Дослужились же до генерал-капитанов Лонга, Мина, мои соотечественники, Чапалангарра, «черный», как и Мина, и нашедший, как и он, убежище в вашей стране; Чапалангарра был полковником, а я сколько раз играл в мяч с его братом, таким же бедняком, как и я. А теперь я себе говорил: «Все то время, что ты служил безупречно, пропало даром. Теперь ты на дурном счету; чтобы снова добиться доверия начальст-

¹ Вся испанская кавалерия вооружена пиками.

на, тебе придется работать в десять раз больше, чем когда ты поступил новобранцем! И ради чего я навлек на себя наказание? Ради какой-то мошенницы-цыганки, которая насмеялась надо мной и сейчас ворует где-нибудь в городе». И все же я невольно думал о ней. Повериге ли, сеньор, ее дырявые чулки, которые она показывала снизу доверху, так и стояли у меня перед глазами. Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку и среди всех проходивших мимо женщин я не видел ни одной, которая бы стояла этой чертовой девки. И потом, против воли, нюхал цветок акации, которым она в меня бросила и который, даже и сухой, все так же благоухал... Если бывают на свете колдуньи, то эта женщина была колдунья.

Однажды входит тюремщик и подает мне алькалинский хлебец¹. «Нате,— сказал он, — это вам от вашей кухни». Я взял хлебец, но очень удивился, потому что никакой кухни у меня в Севилье не было. «Может быть, это ошибка», — думал я, рассматривая хлебец; но он был такой аппетитный, от него шел такой вкусный запах, что, не задумываясь над тем, откуда он и кому назначается, я решил его съесть. Когда я стал его резать, мой нож наткнулся на что-то твердое. Я смотрю и вижу маленький английский напильник, запеченный в тесто. Там оказался еще и золотой в два пиастра. Сомнений не могло быть, то был подарок от Кармен. Для людей ее племени свобода — все, и они готовы город спалить, лишь бы дня не просидеть в тюрьме. К тому же бабенка была хитра, и с этим хлебцем провести тюремщиков было нетрудно. За один час этим маленьким напильником можно было перепилить самый толстый прут; с двумя пиастрами я у первого старьевщика мог бы обменять свою форменную шинель на вольное платье. Вы сами понимаете, что человек, которому не раз случалось выкрадывать орляты из гнезд в наших скалах, не затруднился бы спуститься на улицу из окна, с высоты неполных тридцати футов; но я не хотел бежать. Во мне еще была воинская честь, и дезертировать казалось мне тяжким преступлением. Но все-таки я был тронут этим знаком

¹ Из Алькала де лос Панадерос, местечка в двух милях от Севильи, где пекут превкусные хлебцы. Говорят, что своими качествами они обязаны тамошней воде, и каждый день их во множестве привозят в Севилью.

памяти. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что где-то есть друг, которому ты не безразличен. Золотой меня немного стеснял, я был бы рад его вернуть; но где найти моего заимодавца? Это казалось мне нелегким делом.

После церемонии разжалования я считал, что все уже выстрадал; но мне предстояло проглотить еще одно унижение: это было по выходе моем из тюрьмы, когда меня назначили на дежурство и поставили на часы как простого солдата. Вы не можете себе представить, что в подобном случае испытывает человек с самолюбием. Мне кажется, я предпочел бы расстрел. По крайней мере, шагаешь один, впереди взвода; сознаешь, что ты что-то значишь; люди на тебя смотрят.

Я стоял на часах у дверей полковника. Это был богатый молодой человек, славный малый, любитель повеселиться. У него собрались все молодые офицеры и много штатских, были и женщины, говорили — актрисы. Мне же казалось, словно весь город съезжается к его дверям, чтобы на меня посмотреть. Вот подкатывает коляска полковника, с его камердинером на козлах. И что же я вижу, кто оттуда сходит?.. Моя цыганочка. На этот раз она была разукрашена как икона, разряжена в пух и прах, вся в золоте и лентах. Платье с блестками, голубые туфельки тоже с блестками, всюду цветы и шитье. В руке она держала бубен. С нею были еще две цыганки, молодая и старая. Их всегда сопровождает какая-нибудь старуха, а также старик с гитарой, тоже цыган, чтобы играть им для танцев. Вам известно, что цыганок часто приглашают в дома, и они там пляшут *ромалис* — это их танец — и нередко многое другое.

Кармен меня узнала, и мы обменялись взглядом. Не знаю, но в эту минуту я предпочел бы быть в ста футах под землей.

— *Agug laguna!*, — сказала она. — Господин офицер! Ты стоишь на карауле, как новобранец!

И не успел я найтись, что ответить, как она уже вошла в дом.

Все общество было в патио, и, несмотря на толпу, я мог через калитку видеть² более или менее все, что там

¹ Здравствуй, товарищ!

² У большей части сеvilских домов бывает внутренний двор, окруженный галереей. Там обыкновенно сидят летом. Двор этот на-

происходило. Я слышал кастаньеты, бубен, смех и крики «браво»; иногда мне видна была ее голова, когда она подпрыгивала со своим бубном. Слышал я также голоса офицеров, говоривших ей всякие глупости, от которых у меня кровь кидалась в лицо. Мне кажется, что именно с этого дня я полюбил ее по-настоящему, потому что три или четыре раза я готов был войти в патио и всадить саблю в живот всем этим ветрогонам, которые с ней любезничали. Моя пытка продолжалась добрый час; потом цыганки вышли, и коляска их увезла. Кармен на ходу еще раз взглянула на меня этими своими глазами и сказала мне совсем тихо:

— Земляк! Кто любит хорошо поджаренную рыбу, тот идет в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая как козочка, она вскочила в коляску, кучер стегнул своих мулов, и веселая компания покатила куда-то.

Вы сами догадываетесь, что, сменившись с караула, я отправился в Триану, но прежде побрился и причесался, как на парад. Кармен оказалась в съестной лавочке у Лильяса Пастьи, старого цыгана, черного как мавр, к которому многие горожане заходили поесть жареной рыбы, в особенности как будто с тех пор, как там обосновалась Кармен.

— Лильяс! — сказала она, как только меня увидела. — Сегодня я больше ничего не делаю. Успеется завтра!¹ Идем, земляк, идем гулять.

Под носом у него она накинула мантилью, и мы очутились на улице, а куда я иду — не знаю.

— Сеньорита! — сказал я ей. — Мне кажется, я должен вас поблагодарить за подарок, который вы мне прислали, когда я был в тюрьме. Хлебец я съел; напильник мне пригодится, чтобы точить пику, и я его сохраню на память о вас; но деньги — вот.

— Скажите! Он сберег деньги! — воскликнула она, хохоча. — Впрочем, тем лучше, потому что я сейчас не при капиталах; да что! Собака на ходу всегда найдется². Давай проедем все. Ты меня угощаешь.

крыт пологом, который днем поливают водой, а на ночь убирают. Ворота на улицу почти всегда открыты, а проход, который ведет во двор, *zagüín* перегороджен железной калиткой очень изящной работы.

¹ *Manana será otro día* — испанская пословица.

² *Chaguel sos pirela, cocal t'rela* — пес, который ходит, кость находит — цыганская пословица

Мы вернулись в Севилью. В начале Змеиной улицы она купила дюжину апельсинов и велела мне их завернуть в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы, бутылку мансанилья; наконец зашла в кондитерскую. Тут она швырнула на прилавок золотой, который я ей вернул, еще золотой, который у нее был в кармане, и немного серебра; потом потребовала у меня всю мою наличность. У меня оказались всего-навсего песета и несколько куарто, которые я ей дал, стыдясь, что больше у меня ничего нет. Я думал, она скупит всю лавку. Она выбрала все, что было самого лучшего и дорогого, *йемас*¹, *туррон*², засахаренные фрукты, на сколько хватило денег. Все это я опять должен был нести в бумажных мешочках. Вы, может быть, знаете улицу Канделихо, с головой короля дона Педро Справедливого³. Она должна была бы навести меня на размышления. На этой улице мы остановились у какого-то старого дома.

¹ Засахаренные желтки.

² Род нуги.

³ Король дон Педро, которого мы зовем Жестоким и которого Изабелла Католичка называла не иначе, как Справедливым, любил прогуливаться вечером по улицам Севильи в поисках приключений, подобно халифу Харуну аль Рашиду. Однажды ночью на глухой улице он затеял ссору с женщиной, дававшей своей даме серенаду. Они дрались, и король убил влюбленного кавалера. При звуке шпага в окно высунулась старуха и осветила эту сцену маленьким светильником, *candilejo*, бывшим у нее в руке. А надо знать, что король дон Педро, в общем ловкий и сильный, обладал странным недостатком в телосложении. Когда он шагал, его коленные чашки издавали громкий хруст. По этому хрусту старуха сразу его узнала. На следующий день дежурный *вейнтикуатро* явился к королю с докладом: «Ваше величество! Сегодня ночью на такой-то улице был поединок. Один из дравшихся убит». — «Нашли убийцу?» — «Да, ваше величество». — «Почему же он еще не наказан?» — «Ваше величество! Я ожидаю ваших приказаний». — «Исполните закон». А как раз незадолго перед тем король издал указ, гласивший, что всякий поединщик будет обезглавлен и что его голова будет выставлена на месте поединка. *Вейнтикуатро* нашел остроумный выход. Он велел отпилить голову у одной из королевских статуй и выставил ее в нише посреди улицы, на которой произошло убийство. Королю я всем севильянкам это очень понравилось. Улица была названа по светильнику старухи, единственной очевидицы этого случая. Таково народное предание. Суньига рассказывает об этом несколько иначе (см. *Anales de Sevilla*, т. II, стр. 136). Как бы там ни было, в Севилье все еще существует улица Кандилехо, а на этой улице — каменный бюст, который считается портретом дона Педро. К сожалению, бюст этот новый. Прежний очень обветшал в XVII веке, и тогдашний муниципалитет заменил его тем, который можно видеть сейчас.

Кармен вошла в узкий проход и постучала в дверь. Нам отворила цыганка, истинная прислужница сатаны. Кармен сказала ей что-то на *роммани*. Старуха было заворчала. Чтобы ее утихомирить, Кармен дала ей два апельсина и пригоршню конфет и позволила отведать вина. Потом она набросила ей на плечи плащ и вывела за дверь, которую и заперла деревянным засовом. Как только мы остались одни, она принялась танцевать и хохотать как сумасшедшая, напевая: «Ты мой *ром*, я твоя *роми*»¹. А я стоял посреди комнаты, нагруженный покупками и не зная, куда их девать. Она бросила все на пол и кинулась мне на шею, говоря: «Я плачу свои долги, я плачу свои долги! Таков закон у *калес*»². Ах, сеньор, этот день, этот день!.. Когда я его вспоминаю, я забываю про завтрашний.

Бандит умолк; потом, раскурив потухшую сигару, продолжал:

— Мы провели вместе целый день, ели, пили и все остальное. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, она стала пихать их пригоршнями в старухин кувшин с водой. «Это ей будет шербет», — говорила она. Она давила *йемас*, кидая их об стены. «Это чтобы нам не надоедали мухи», — говорила она... Каких только шалостей и глупостей она не придумывала! Я сказал ей, что мне хотелось бы посмотреть, как она танцует; но где взять кастаньеты? Она тут же берет единственную старухину тарелку, ломает ее на куски и отплясывает *ромалис*, щелкая фаянсовыми осколками не хуже, чем если бы это были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости. С этой женщиной нельзя было соскучиться, ручаюсь вам. Наступил вечер, и я услышал, как барабаны бьют зорю.

— Мне пора в казарму на перекличку, — сказал я ей.

— В казарму? — промолвила она презрительно. — Или ты негр, чтобы тебя водили на веревочке? Ты настоящая канарейка одеждой и нравом³. И сердце у тебя цыплячье.

Я остался, заранее мирясь с арестантской. Наутро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

¹ *Rom* — муж; *romi* — жена.

² *Calo*, женский род — *calli*, множественное число — *cales*. Дословно: черный — так называют себя цыгане на своем языке.

³ Испанские драгуны ходят в желтом.

— Послушай, Хосеито! — сказала она. — Ведь я с тобой расплатилась? По нашему закону, я тебе ничего не была должна, потому что ты *паильо*; но ты красивый малый, и ты мне понравился. Мы квиты. Будь здоров.

Я спросил ее, когда мы с ней увидимся.

— Когда ты чуточку поумнеешь, — отвечала она, смеясь. Потом, уже более серьезным тоном: — Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю. Но только это ненадолго. Собаке с волком не ужиться. Быть может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согласилась стать твоей *роми*. Но это глупости; этого не может быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дешево отделался. Ты повстречался с чертом, да, с чертом; не всегда он черен, и шею он тебе не сломал. Я ношу шерсть, но я не овечка¹. Поставь свечу своей *махари*², она это заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Карменсите, не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами³.

С этими словами она отодвинула засов, запиравший дверь, и, выйдя на улицу, закуталась в мантилью и повернулась ко мне спиной.

Она была права. Лучше мне было не думать о ней больше; но после этого дня на улице Кандилехо я ни о чем другом думать не мог. Я целыми днями бродил, надеясь ее встретить. Я справлялся о ней у старухи и у хозяйина съестной лавочки. Оба они отвечали, что она уехала в *Лалоро*⁴ — так они называют Португалию. Это, должно быть, Кармен велела им так говорить, но я вскоре убедился, что они лгут. Несколько недель спустя после моей побывки на улице Кандилехо я стоял на часах у городских ворот. Неподалеку от этих ворот в крепостной стене образовался пролом; днем его чинили, а на ночь к нему ставили часового, чтобы помешать контрабандистам. Днем я видел, как около кордегардии сновал Лильяс Пастья и заговаривал с некоторыми из моих товарищей; все были с ним знакомы, а с его рыбой и оладьями и подавно. Он подошел ко мне и спросил, не знаю ли я чего о Кармен.

¹ *Me dicas vriadá de jorпой bus ne sino braco* — цыганская поговорка.

² *Maјari* — святая; святая дева.

³ Виселица, вдова последнего повешенного.

⁴ Красная (земля).

— Нет, — отвечал я ему.

— Ну так узнаете, куманек.

Он не ошибся. На ночь я был наряжен стеречь пролом. Как только ефрейтор ушел, я увидел, что ко мне подходит какая-то женщина. Сердце мое подсказывало, что это Кармен. Однако я крикнул:

— Ступай прочь! Проходу нет!

— Ну, не будьте злым, — сказала она, давая себя узнать.

— Как? Это вы, Кармен?

— Да, земляк. И вот в чем дело. Хочешь заработать дуро? Тут пойдут люди с тисками; не мешай им.

— Нет, — отвечал я. — Я не могу их пропустить, таков приказ.

— Приказ! Приказ! На улице Кандилехо ты не думал о приказах.

— Ах! — отвечал я, сам не свой от одного этого воспоминания. — Тогда нетрудно было забыть всякие приказы; но я не желаю денег от контрабандистов.

— Ну хорошо, если ты не желаешь денег, хочешь, мы еще раз пообедаем у старой Доротен?

— Нет, — сказал я, чуть не задыхаясь от усилия. — Я не могу.

— Отлично. Раз ты такой несговорчивый, я знаю, к кому обратиться. Я предложу твоему ефрейтору сходить к Доротее. Он, кажется, славный малый и поставит часовым молодчика, который будет видеть только то, что полагается. Прощай, канарейка. Я уж посмеюсь, когда выйдет приказ тебя повесить.

Я имел малодушие ее окликнуть и обещал пропустить хотя бы всех цыган на свете, лишь бы мне досталась та единственная награда, о которой я мечтал. Она тут же поклялась, что завтра же исполнит обещанное, и побежала звать своих приятелей, которые оказались в двух шагах. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все основательно нагруженные английскими товарами. Кармен караулила. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как только заметит дозор, но этого не потребовалось. Контрабандисты управились мигом.

На следующий день я пошел на улицу Кандилехо. Кармен заставила себя ждать и пришла не в духе.

— Я не люблю людей, которых надо упрашивать, — сказала она. — Первый раз ты мне оказал услугу по-

важнее, хотя и не знал, выгадаешь ли что-нибудь на этом. А вчера ты со мной торговался. Я сама не знаю, зачем я пришла, потому что я не люблю тебя больше. Знаешь, уходи, вот тебе дура за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо, и мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не поколотить ее. Мы препирались целый час, и я ушел в бешенстве. Некоторое время я бродил по улицам, шагая, куда глаза глядят, как сумасшедший; наконец я зашел в церковь и, забившись в самый темный угол, заплакал горькими слезами. Вдруг я слышу голос:

— Драконьи слезы! Я сделаю из них приворотное зелье.

Я поднимаю глаза; передо мной Кармен.

— Ну что, земляк, вы все еще на меня сердитесь? — сказала она. — Видно, я вас все-таки люблю, несмотря ни на что, потому что с тех пор, как вы меня покинули, я сама не знаю, что со мной. Ну вот, теперь я сама тебя спрашиваю: хочешь, пойдем на улицу Кандилехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был вроде как погода в наших краях. У нас в горах гроза тем ближе, чем солнце ярче. Она мне обещала еще раз встретиться со мной у Доротеи и не пришла. И Доротея сказала мне опять, что она уехала в *Лалоро* по цыганским делам.

Зная уже по опыту, как к этому относиться, я искал Кармен повсюду, где мог рассчитывать ее встретить, и раз двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Как-то вечером я сидел у Доротеи, которую приручил, угощая ее время от времени рюмкой анисовки, как вдруг входит Кармен в сопровождении молодого человека, поручика нашего полка.

— Уходи, — быстро проговорила она мне по-баскски.

Я стоял ошеломленный, с яростью в сердце.

— Ты здесь что делаешь? — обратился ко мне поручик. — Проваливай вон отсюда!

Я не мог ступить шагу: у меня словно ноги отнялись. Офицер в гневе, видя, что я не уйду и даже не снимаю бескозырки, взял меня за шиворот и грубо потряхнул. Я не помню, что я ему сказал. Он обнажил саблю, я вынул свою. Старуха схватила меня за руку, и поручик нанес мне в лоб удар, след от которого у меня и до сих пор остался. Я подался назад и, двинув локтем, повалил

Доротею; потом, видя, что поручик на меня наступает, и ткнул его саблей и пронзил. Тогда Кармен погасила лампу и на своем языке велела Доротее удирать. Сам я выскочил на улицу и побежал наугад. Мне казалось, что за мной гонятся. Когда я пришел в себя, я увидел, что Кармен со мной.

— Глупая канарейка! — сказала она мне. — Ты умеешь делать только глупости. Я же говорила, что принесу тебе несчастье. Ничего, все можно исправить, когда дружишь с романской фламандкой¹. Прежде всего повяжи голову этим платком и брось портупею. Подожди меня в этом проходе. Я через две минуты вернусь.

Она исчезла и скоро явилась с полосатым плащом, который где-то раздобыла. Она велела мне снять мундир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком одеянии, с платком на голове, которым она повязала мою рану, я был похож на валенсийского крестьянина, из тех, кого можно встретить в Севилье, где они торгуют чуфовым оршадом². Потом она отвела меня в какой-то дом, вроде Доротеина, в глубине переулочка. Она и еще какая-то цыганка омыли и перевязали мне рану лучше любого полкового хирурга, напоили меня чем-то; наконец меня уложили на тюфяк, и я уснул.

Вероятно, эти женщины примешали мне в питье какое-то снотворное снадобье, как они умеют готовить, потому что на следующий день я проснулся очень поздно. У меня сильно болела голова и был небольшой жар. Я не сразу мог вспомнить ужасную сцену, в которой участвовал накануне. Перевязав мне рану, Кармен и ее приятельница, сидя на корточках возле моего тюфяка, о чем-то посовещались на *чипе кальц*, что было, по-видимому, врачебной консультацией. Затем они мне заявили, что я скоро поправляюсь, но что мне необходимо как можно скорее уехать из Севильи, потому что, если меня здесь поймут, я буду наверняка расстрелян.

— Мой мальчик! — сказала мне Кармен. — Тебе надо чем-нибудь заняться: раз король тебя уже не кор-

¹ *Flamenca de Roma* — жаргонный термин, обозначающий цыганку. *Roma* значит здесь не вечный город, а народ ромы или «женатых людей», как называют самих себя цыгане. Первые появившиеся в Испании цыгане пришли, вероятно, из Нидерландов, почему их стали звать «фламандцами».

² *Chufa* — клубневидный корень, из которого готовят довольно приятный напиток.

мил больше ни рисом, ни треской¹, тебе следует подумать о заработке. Ты слишком глуп, чтобы воровать *á pastesas*², но ты ловок и силен; если ты человек смелый, поезжай к морю и становись контрабандистом. Разве я не обещала, что приведу тебя на виселицу? Это лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты возьмешься за дело с толком, ты будешь жить по-царски, пока *миньоны*³ и береговая стража тебя не сцапают.

Вот в каких заманчивых выражениях эта чертова девушка описала мне новое поприще, которое она мне предназначала, единственное, по правде говоря, которое для меня еще оставалось, раз мне грозила смертная казнь. Сознаться вам, сеньор? Она меня уговорила без особого труда. Мне казалось, что эта беспокойная и мятежная жизнь теснее нас свяжет. Я думал, что отныне она всегда будет меня любить. Мне часто приходилось слышать о контрабандистах, которые путешествуют по Андалусии на добром копе, с мушкетопом в руке, посадив на круп свою возлюбленную. Я уже представлял себе, как я разъезжаю по горам и долам с моей хорошенькой цыганочкой за спиной. Когда я ей говорил об этом, она от хохота хваталась за бока и отвечала, что ничего не может быть лучше ночи, проведенной на биваке, когда каждый *ром* уходит со своей *роми* в маленькую палатку, устроенную из трех обручей, покрытых одеялом.

— Если мы уйдем с тобою в горы, — говорил я ей, — я буду за тебя спокоен! Там мне уже не придется делиться с поручиком.

— А, ты ревнуешь! — отвечала она. — Тем хуже для тебя. Неужели же ты настолько глуп? Разве ты не видишь, что я тебя люблю, если я ни разу не просила у тебя денег?

Когда она так говорила, мне хотелось ее задушить.

Словом, сеньор, Кармен достала мне вольное платье, в котором я и выбрался из Севильи, никем не узнанный. Я прибыл в Херес, получив от Пастьи письмо к одному торговцу анисовой, у которого собирались контрабандисты. Меня познакомили с этими людьми, и их начальник, по прозвищу Данкайре, принял меня в свою шай-

¹ Обычная пища испанского солдата.

² *Ustilar á pastesas* — воровать с ловкостью, похищать без насилия.

³ Род вольнонаемной милиции.

ку. Мы отправились в Гаусин, где я встретился с Кармен, назначившей мне там свидание. Во время экспедиций она служила нашим людям лазутчиком, и лучшего лазутчика на свете не было. Она приехала из Гибралтара, где успела условиться с одним судовладельцем относительно погрузки английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. Мы отправились ожидать их поблизости от Эстепоны, потом часть их спрятали в горах; нагрузившись остальным, мы двинулись в Ронду. Кармен поехала вперед. Опять-таки она дала нам знать, когда можно вступить в город. Это первое путешествие, а за ним и несколько других были удачны. Жизнь контрабандиста нравилась мне больше, чем солдатская жизнь; я делал Кармен подарки. У меня были деньги и возлюбленная. Раскаяние меня не мучило, потому что, как говорят цыгане, того, кто наслаждается, чесотка не грызет¹. Всюду нас встречали радушно; товарищи относились ко мне хорошо и даже выказывали уважение. Это потому, что я убил человека, а среди них не у всякого был на совести такой подвиг. Но что мне особенно нравилось в моей новой жизни, так это то, что я часто видел Кармен. Она была со мною ласковее, чем когда бы то ни было; однако перед товарищами она не признавалась, что она моя любовница, и даже велела мне поклясться всякими клятвами, что я им ничего про нее не скажу. Я был так малодушен перед этим созданием, что исполнял все ее прихоти. К тому же я впервые видел, что она держит себя как порядочная женщина, и в простоте своей думал, что она и в самом деле бросила прежние свои повадки.

Шайка наша, состоявшая из восьми или десяти человек, соединялась только в решительные минуты, обыкновенно же мы разбредались по двое, по трое по городам и селам. Каждый из нас для виду промышлял каким-нибудь ремеслом: один был медником, другой барышником; я же торговал мелким товаром, но в людных местах я избегал показываться из-за своей скверной сеvilьской истории. В один прекрасный день или, вернее, ночь все мы должны были сойтись под Вехером. Мы с Данкайре прибыли раньше других. Данкайре казался очень весел.

— У нас будет одним товарищем больше, — сказал

¹ *Sarapia sat pesguitai ne punzava.*

он мне. — Кармен только что выкинула одну из своих лучших штук. Она высвободила своего *рома* из Тарифской тюрьмы.

Я уже начинал осваиваться с цыганским языком, на котором говорили почти все мои товарищи, и при слове *ром* меня передернуло.

— Как? Своего мужа? Так, значит, она замужем? — спросил я главаря.

— Да, — отвечал тот, — за Гарсией Кривым, таким же хитрым цыганом, как она сама. Бедняга был на каторге. Кармен так опутала тюремного врача, что добилась освобождения для своего *рома*. Да, это золото, а не женщина! Целых два года она старалась его выручить. Ничто не помогало, пока не сменили врача. С этим она, по-видимому, быстро сумела договориться.

Судите сами, как приятно мне было узнать эту новость. Вскоре явился и Гарсия Кривой; противнее чудовище едва ли бывало среди цыган: черный кожей и еще чернее душой, это был худший из негодяев, которых я когда-либо в жизни встречал. Кармен пришла вместе с ним; и когда при мне она называла его своим *ромом*, надо было видеть, какие она мне строила глаза и какие выделявала гримасы, чуть только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и во всю ночь не сказал ей ни слова. Поутру мы уложились и двинулись в путь, как вдруг заметили, что за нами гонится дюжина конных. Андалусские хвастуны, на словах готовые все разнести, тотчас же струхнули. Все пустились наутек. Данкайре, Гарсия, красивый мальчик из Эсихи, по прозвищу Ремендадо, и Кармен не растерялись. Остальные побросали мулов и разбежались по оврагам, где всадники не могли их настигнуть. Нам пришлось пожертвовать караваном; мы поспешили снять наиболее ценный груз и, взвалив его себе на плечи, стали спускаться с утесов по самым крутым обрывам. Тюки мы кидали вниз, а сами пускались следом, скользя на корточках. Тем временем неприятель нас обстреливал; я в первый раз слышал, как свищут пули, и отнесся к этому спокойно. На глазах у женщины нет особой чести шутить со смертью, мы остались невредимы, кроме бедного Ремендадо, раненного в спину. Я хотел нести его дальше и бросил свой тюк.

— Дурак! — крикнул мне Гарсия. — На что нам падал? Прикончи его и не растеряй чулки.

— Брось его! — кричала мне Кармен.

От усталости мне пришлось положить его на минуту под скалой. Гарсия подошел и выстрелил ему в голову из мушкетона.

— Пусть теперь попробуют его узнать, — сказал он, глядя на его лицо, искромсанное двенадцатью пулями.

Вот, сеньор, какую милую жизнь я вел. К вечеру мы очутились в чаще, изнемогая от усталости, без еды и разоренные утратой мулов. Что же сделал этот адоев Гарсия? Он достал из кармана колоду карт и начал играть с Данкайре при свете костра, который они развели. Я в это время лежал, глядя на звезды, думая о Ремендадо и говоря себе, что охотно был бы теперь на его месте. Кармен сидела рядом со мной и по временам пощелкивала кастаньетами, напевая. Потом, наклоняясь, словно чтобы сказать мне что-то на ухо, целовала меня почти насильно, и так два или три раза.

— Ты дьявол, — говорил я ей.

— Да, — отвечала она.

Передохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, а наутро маленький козопас принес нам хлеба. Мы провели на месте целый день, а ночью подошли к Гаусину. Мы ждали вестей от Кармен. Ничего не было. Утром мы видим, идет погонщик, сопровождая хорошо одетую женщину с зонтиком и девочку, по-видимому ее служанку, Гарсия сказал:

— Вот два мула и две женщины, которых нам посылает Николай-угодник; я предпочел бы четырех мулов; да ничего, я устроюсь.

Он взял мушкетон и начал спускаться к дороге, прячась в кустах. Мы с Данкайре шли за ним на некотором расстоянии. Подойдя на выстрел, мы выскочили и закричали погонщику остановиться. Женщина, завидя нас, вместо того чтобы испугаться, — один наш костюм того стоил, — раздражается хохотом.

— Ах, эти *лильипенди* приняли меня за *эрани*!¹

Это была Кармен, но так искусно переряженная, что я бы ее не узнал, говори она на другом языке. Она спрыгнула с мула и стала о чем-то тихо беседовать с Данкайре и Гарсией, потом сказала мне:

¹ Эти дураки приняли меня за приличную женщину.

— Канарейка! Мы еще увидимся до того, как тебя повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро обо мне услышите.

Мы с ней расстались, причем она указала нам место, где мы могли найти приют на несколько дней. Для нашей шайки эта девушка была провидением. Вскоре она нам прислала немного денег и еще более ценное сведение, а именно: в такой-то день два английских милорда поедут из Гибралтара в Гранаду по такой-то дороге. Имеющий уши да слышит. У них было много звонких гиней. Гарсия хотел их убить, но мы с Данкайре этому воспротивились. Мы отобрали у них только деньги и часы, не считая рубашек, в которых весьма нуждались.

Сеньор! Становишься мазуриком, сам того не замечая. Красивая девушка сбивает вас с толку, из-за нее дерешься, случается несчастье, приходится жить в горах, и не успеешь опомниться, как из контрабандиста делаешься вором. Мы решили, что после истории с милордами нам неуютно в окрестностях Гибралтара, и углубились в сьерру Ронда. Вы мне говорили о Хосе Марии; как раз там я с ним и познакомился. В свои экспедиции он возил свою возлюбленную. Это была красивая девушка, тихая, скромная, милая в обращении; никогда ни одного дурного слова, и что за преданность!.. В награду за это он очень ее мучил. Он вечно волочился за девушками, обходился с нею дурно, а то вдруг принимался ревновать. Раз он ударил ее ножом. И что же? Она только еще больше его полюбила. Женщины так уж созданы, в особенности андалуски. Эта гордилась своим шрамом на руке и показывала его как лучшее украшение на свете. И вдобавок ко всему Хосе Мария был очень плохой товарищ!.. В одну из наших с ним экспедиций он устроил так, что ему достался весь барыш, а нам тумак и хлопоты. Но я продолжаю свой рассказ. О Кармен не было ни слуху, ни духу. Данкайре сказал:

— Кому-нибудь из нас нужно съездить в Гибралтар разузнать про нее, она, наверное, что-нибудь приготовила. Я бы поехал, да меня в Гибралтаре слишком хорошо знают.

Кривой сказал:

— Меня тоже знают, я там столько штук понастроил

ракам¹. А так как у меня всего один глаз, то меня легко узнать.

— Так, значит, мне придется ехать? — сказал я в восторге от одной мысли увидеть Кармен. — Ну-с, так что же я должен делать?

Те мне сказали:

— Постарайся пробраться морем или через Сан-Роке, как тебе покажется удобнее, и, когда будешь в Гибралтаре, спроси в порту, где живет шоколадница, по имени Рольона; когда ты ее разыщешь, она тебе расскажет, что там делается.

Было решено, что мы отправимся все трое в сьерру у Гаусина, там я расстанусь со своими спутниками и явлюсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. В Ронде один человек, у которого были с нами дела, раздобыл мне паспорт; в Гаусине мне дали осла; я его навьючил апельсинами и дынями и двинулся в путь. Когда я прибыл в Гибралтар, то оказалось, что Рольону там знают, но что она или умерла, или отправилась *finibus terrae*², и ее исчезновением, по-моему, и объяснялось, почему мы потеряли связь с Кармен. Я поставил осла в стойло, а сам, забрав апельсины, пошел ходить по городу, как бы ими торгуя, главным же образом, чтобы посмотреть, не встречу ли какое-нибудь знакомое лицо. Там множество проходимцев со всех концов света, и это настоящая Вавилонская башня, потому что там нельзя пройти десяти шагов по улице, не услышав столько же языков. Мне попадалось немало цыган, но я им не доверял; я их щупал, а они меня. Нам было ясно, что мы жулики; но важно было знать, одной ли мы шайки.

Проведя два дня в бесплодных скитаниях, я ничего не узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и уже собирался вернуться к товарищам, предварительно кое-что купив, как вдруг, идя по улице, на закате, я слышу из окна женский голос, который меня окликнул: «Апельсинщик!..» Я подымаю голову и вижу на балконе Кармен — стоит, облокотившись, рядом с каким-то офицером в красном, с золотыми эполетами, завитыми волосами и осанкой важного милорда. Она же была одета

¹ Прозвище, которое простой народ в Испании дал англичанам из-за цвета их мундиров.

² На каторгу или ко всем чертям.

роскошно: шаль на плечах, золотой гребень, вся в шелку; и мошеница, как всегда, хохотала до упаду. Англичанин на ломаном испанском языке крикнул, чтобы я шел наверх, что сеньора хочет апельсинов; а Кармен сказала мне по-баскски:

— Иди и не удивляйся ничему.

Действительно, с ней мне ничему не следовало удивляться. Не знаю, причинила ли мне встреча с нею больше радости или огорчения. Мне открыл дверь высокий лакей-англичанин, в пудре, и проводил меня в великолепную гостиную. Кармен сразу же заговорила со мной по-баскски:

— Ты ни слова не говоришь по-испански, ты со мной незнаком.

Потом, обращаясь к англичанину:

— Я же вам говорила, я с первого взгляда признала в нем баска; вы услышите, что это за диковинный язык. Не правда ли, какой у него глупый вид? Словно кошка, пойманная в кладовке.

— А у тебя, — сказал я ей на своем языке, — вид наглой мошеницы, и мне сильно хочется искромсать тебе лицо на глазах у твоего дружка.

— У моего дружка! — отвечала она. — Скажи: это ты сам додумался? И ты меня ревнуешь к этому болвану? Ты еще глупее, чем был до наших вечеров на улице Кандилехо. Разве ты не видишь, дурень ты этакий, что я сейчас занята цыганскими делами и веду их самым блестящим образом? Этот дом — мой, рабыни гинее будут мои; я вожу его за кончик носа и заведу в такое место, откуда ему уже не выбраться.

— А я, — сказал я ей, — если ты вздумаешь вести цыганские дела таким манером, устрою так, что у тебя пропадет охота.

— Вот еще! Или ты мой *ром*, чтобы мной командовать? Кривой это одобряет, а ты здесь при чем? Мало тебе того, что ты единственный, который может себя назвать *мсим минчоррб*?¹

— Что он говорит? — спросил англичанин.

— Он говорит, что ему хочется пить и что он не отказался бы от стаканчика, — отвечала Кармен.

И упала на диван, хохоча над своим переводом.

¹ Моим любовником, или, вернее, моей причудой.

Сеньор! Когда эта женщина смеялась, не было никакой возможности говорить толком. Все с ней смеялись. Дылда англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и велел, чтобы мне принесли напиток.

Пока я пил:

— Видишь перстень у него на пальце? — сказала она. — Если хочешь, я тебе его подарю.

Я отвечал:

— Я бы отдал палец, чтобы встретиться с твоим милордом в горах и чтобы у каждого из нас в руках была *макила*.

Англичанин подхватил это слово и спросил:

— *Макила*? Что это значит?

— *Макила*, — отвечала Кармен, все так же смеясь, — это апельсин. Не правда ли, какое смешное слово для апельсина? Он говорит, что ему хотелось бы угостить вас *макилой*.

— Вот как? — сказал англичанин. — Ну, так приходи опять завтра с *макилами*.

Пока мы разговаривали, вошел слуга и сказал, что обед подан. Тогда англичанин встал, дал мне пиастр и предложил Кармен руку, словно она не могла идти сама. Кармен, смеясь по-прежнему, сказала мне:

— Мой милый! Я не могу пригласить тебя к столу; но завтра, как только ты услышишь, что быют развод, приходи сюда с апельсинами. Ты увидишь компату, обставленную лучше, чем на улице Кандилехо, и посмотришь, прежняя ли я Карменсита. А потом мы поговорим о цыганских делах.

Я ничего не ответил, и до меня уже на улице донесся крик англичанина: «Приходите завтра с *макилами*!» — и хохот Кармен.

Я вышел, не зная, что мне делать, не спал ночь, а наутро был так зол на эту изменницу, что решил уехать из Гибралтара, не повидавшись с ней; но как только раздался барабанный бой, все мое мужество меня покинуло; я взял свою корзину с апельсинами и побежал к Кармен. Ее ставни были приотворены, и я увидел ее большой черный глаз, который меня высматривал. Пудренный лакей тотчас же проводил меня к ней; Кармен услала его с каким-то поручением и, как только мы остались одни, разразилась своим крокодиловым хохотом и бросилась мне на шею. Никогда еще я не видел ее такой красивой.

Разряженная как мадонна, надушенная... шелковая месье, вышитые занавеси... ах!.. а я — вор воров.

— *Минчоррб!* — говорила Кармен. — Мне хочется все здесь поломать, поджечь дом и убежать в сьерру.

И нежности!.. И смех!.. Она плясала, она рвала на себе свою фалбалу; никакая обезьяна не могла бы так скакать, так кривляться и куролесить. Угомонившись, она мне сказала:

— Послушай, теперь дело цыганское. Я прошу его съездить со мной в Ронду, где у меня сестра в монастыре... (Здесь опять хохот.) Мы проезжаем местом, которое я тебе укажу. Вы на него нападаете; грабите дочиста. Лучше всего было бы его укокошить; но только, — продолжала она с дьявольской улыбкой, которая у нее иногда бывала, и этой улыбке никому не было охоты вторить, — знаешь ли, что следовало бы сделать? Надо, чтобы Кривой выскочил первым. Вы держитесь немного позади, *как* бесстрашен и ловок; у него отличные пистолеты... Понимаешь?

Она снова разразилась хохотом, от которого я вздрогнул.

— Нет, — сказал я ей, — я ненавижу Гарсию, но он мой товарищ. Быть может, когда-нибудь я тебя от него избавлю, но мы сведем счеты по обычаю моей страны. Я только случайно цыган; а кое в чем я всегда останусь, как говорится, честным наваррцем¹.

Она продолжала:

— Ты дурак, безмозглый человек, настоящий *паилбо*. Ты как карлик, который считает, что он высокий, когда ему удалось далеко плюнуть². Ты меня не любишь, уходи.

Когда она мне говорила: «уходи», я не мог двинуться с места. Я обещал ей уехать, вернуться с товарищами и поджидать англичанина; со своей стороны, она мне обещала быть нездоровой до тех пор, пока не поедет из Гибралтара в Ронду. Я провел в Гибралтаре еще два дня. Она имела смелость прийти ко мне переряженной в гостиницу. Я уехал; у меня тоже был свой план. Я вернулся в условленное место, зная, где и когда должны проехать англичанин с Кармен. Данкайре и Гарсия

¹ *Navarro fino*.

² *Cr esorile de or narsickislé, sinchismar lachinguel* — цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть».

меня уже ждали. Мы заночевали в лесу у костра из сосновых шишек, который горел ярким пламенем. Я предложил Гарсии сыграть в карты. Он согласился. Когда мы играли вторую партию, я ему сказал, что он плутует; он расхохотался. Я швырнул ему карты в лицо. Он хотел схватить мушкетон; я наступил на него ногой и сказал:

— Говорят, ты владеешь ножом, как лучший малагский хват; хочешь попробовать со мной?

Данкайре пытался нас разнять. Я несколько раз ударил Гарсию кулаком. Злость сделала его храбрым; он вынул нож, я — свой. Мы сказали Данкайре посторопиться и не мешать нам. Он увидел, что нас не остановишь, и отошел. Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать, нож выставил вперед. Это их андалусский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинулся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед ним оказалось пустое место, а я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струею крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком, как бревно.

— Что ты сделал? — сказал мне Данкайре.

— Послушай, — сказал я ему. — Вместе мы жить не могли. Я люблю Кармен и хочу быть один. К тому же Гарсия был мерзавец, и я не забыл, как он поступил с бедным Ремендадо. Теперь нас только двое, но мы люди хорошие. Скажи: хочешь, будем друзьями на жизнь и на смерть?

Дайкайре пожал мне руку. Это был человек пятидесяти лет.

— Чертовы любовные истории! — воскликнул он. — Если бы ты попросил у него Кармен, он бы тебе продал ее за пиастр. Теперь нас только двое: как нам быть завтра?

— Положись на меня, — отвечал я ему. — Теперь мне весь свет нипочем.

Мы похоронили Гарсию и перенесли наш лагерь на двести шагов дальше. На следующий день подъехала

Кармен со своим англичанином в сопровождении двух погонщиков и слуги. Я сказал Данкайре:

— Я беру на себя англичанина. Припугни остальных, они без оружия,

Англичанин оказался храбр. Не толкни его Кармен под руку, он бы меня убил. Словом, в этот день я отвоевал Кармен и с первого слова сообщил ей, что она вдова. Когда она узнала, как это произошло:

— Ты всегда будешь *лильипенди!* — сказала она мне. — Гарсия наверное бы тебя убил. Твой наваррский прием — просто глупость, а он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Но, видно, пришел его час. Придет и твой.

— И твой, — ответил я, — если ты не будешь мне настоящей *ромии*.

— Ну что ж! — сказала она. — Я не раз видела в кофейной гуще, что мы кончим вместе. Ладно! Будь что будет.

И она шелкнула кастаньетами, как всегда, когда хотела прогнать какую-нибудь докучную мысль.

Когда говоришь о себе, забываешься. Вам, должно быть, скучно слушать все эти подробности, но я скоро кончу. Такую жизнь мы вели довольно долго. Мы с Данкайре завербовали несколько товарищей надежнее прежних и промышляли контрабандой, а также иной раз, надо сознаться, грабили на большой дороге, но только в последней крайности, когда иначе нельзя было. Впрочем, путешественников мы не трогали и только отбирали у них деньги. Первые месяцы я был доволен Кармен; она по-прежнему была нам полезна, указывая нам, что можно предпринять. Она жила то в Малаге, то в Кордове, то в Гранаде; но по первому моему знаку бросала все и приезжала ко мне то в какую-нибудь глухую вену, а то и бивак. Только раз, в Малаге, она меня встревожила. Я узнал, что она имеет виды на некоего весьма богатого негоцианта, с которым она, должно быть, собиралась повторить гибралтарскую шутку. Несмотря на уговоры Данкайре, я поехал и прибыл в Малагу среди дня. Я разыскал Кармен и тотчас же увез ее. У нас вышло крупное объяснение.

— Знаешь, — сказала она мне, — с тех пор как ты стал моим *ромом* по-настоящему, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим *минчоррб*. Я не хочу, чтобы

меня мучили, а главное, не хочу, чтобы мной командовали. Чего я хочу, так это быть свободной и делать, что мне вздумается. Смотри, не выводи меня из терпения. Если ты мне надоешь, я сыщу какого-нибудь молодчика, который поступит с тобой так же, как ты поступил с Кривым.

Данкайре нас помирил; но то, что мы друг другу говорили, легло нам на сердце, и что-то между нами изменилось. Вскоре затем с нами случилась беда. Нас настигли солдаты. Данкайре был убит, и с ним два моих товарища; двух других забрали. Я же был тяжело ранен и, если бы не мой добрый конь, попался бы в руки солдатам. Падая от усталости, с пулей в теле, я скрылся в лесу вдвоем с уцелевшим товарищем. Слезая с коня, я лишился чувств и думал уже, что подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ спес меня в знакомую нам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же приехала. Целых две недели она не отходила от меня ни на шаг. Она глаз не сомкнула; она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком. Как только я смог держаться на ногах, она в величайшей тайне отвезла меня в Гранаду. У цыганок всюду есть верные убежища, и я больше полутора месяцев прожил под самым боком у корредора, который меня разыскивал. Несколько раз, глядя сквозь ставни, я видел, как он идет по улице. Наконец я поправился; но я многое передумал на ложе болезни и решил переменить образ жизни. Я предложил Кармен покинуть Испанию и постараться зажить честно в Новом Свете. Она подняла меня на смех.

— Мы не созданы сажать капусту, — сказала она, — наш удел — жить за счет *паильо*. Кстати, я устроила одно дело с Натаном бен Юсуфом в Гибралтаре. У него есть бумажная материя, которая только тебя и ждет, чтобы переправиться. Он знает, что ты жив. Он на тебя рассчитывает. Что скажут наши гибралтарские корреспонденты, если ты изменишь своему слову?

Я дал себя увлечь и снова принялся за свой гадкий промысел.

Пока я прятался в Гранаде, там происходил бой быков, и Кармен на нем была. Вернувшись, она много говорила об одном очень ловком пикадоре, по имени

Лукас. Она знала, как зовут его лошадь и во что ему обошлась его расшитая куртка. Я не придавал этому значения. Несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, рассказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного торговца на Сакатине. Это нарушило мое спокойствие. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим пикадором.

— Это малый, с которым можно сделать дело, — отвечала она. — Если река шумит, то в ней либо вода, либо камни¹. Он заработал на боях тысячу двести реалов. Одно из двух: или эти деньги надо забрать, или же, так как это хороший всадник и человек смелый, его можно завербовать в нашу шайку. Такие-то умерли, тебе надо их заменить. Возьми его к себе.

— Я не желаю, — сказал я, — ни его денег, ни его самого и запрещаю тебе с ним разговаривать.

— Берегись, — отвечала она. — Когда меня дразнят, я делаю назло.

К счастью, пикадор уехал в Малагу, а я занялся переправкой бумажной материи бен Юсуфа. Эта экспедиция стоила мне немалых хлопот, Кармен тоже, и я забыл про Лукаса; возможно, что и она про него забыла, если и не совсем, то на время. В эту-то пору, сеньор, я и встретился с вами, сначала близ Монтильи, а потом в Кордове. Не буду говорить о последней нашей встрече. Вы об этом знаете, может быть, даже больше моего. Кармен украла у вас часы; она хотела еще и ваши деньги, и в особенности это кольцо, что у вас на руке; она говорила, что это волшебный перстень и что ей очень важно его получить. Мы сильно поспорили, и я ее ударил. Она побледнела и заплакала. Я в первый раз видел ее плачущей, и это произвело на меня ужасное впечатление. Я просил у нее прощения, но она дулась на меня целый день и, когда я опять уезжал в Монтилью, не захотела меня поцеловать. Мне было очень тяжело, но три дня спустя она вдруг ко мне приехала с радостным лицом и веселая, как птичка. Все было забыто, и нас можно было принять за влюбленных со вчерашнего дня. Прощаясь со мной, она сказала:

— В Кордове праздник, я хочу туда съездить, там узнаю, кто возвращается с деньгами, и скажу тебе.

¹ *Len sos sonsi abela, pari o reblendani terela* — цыганская поговорка.

Я ее отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом празднике и о перемене в настроении Кармен. «Она, вероятно, уже отомстила, — сказал я себе, — раз сама вернулась». От крестьянина я узнал, что в Кордове бой быков. Кровь во мне вскипает, я скачу как сумасшедший и направляюсь в цирк. Мне показали Лукаса, и на скамье у барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмотреть на нее минуту, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Когда вышел первый бык, Лукас, как я и предвидел, изобразил любезного кавалера. Он сорвал у быка кокарду¹ и поднес ее Кармен, а та тут же приколотла ее к волосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас вместе с лошадью свалился ничком, а бык на них. Я стал искать глазами Кармен, ее уже не было. Я был лишен возможности выбраться со своего места и должен был дожидаться окончания боя. Потом я отправился в тот дом, который вы знаете, и просидел там тихо весь вечер и часть ночи. Часам к двум утра вернулась Кармен и была немного удивлена, увидев меня.

— Ступай со мной, — сказал я ей.

— Что ж, едем! — отвечала она.

Я пошел за своим конем, посадил ее позади себя, и так мы ехали всю ночь, не сказав друг другу ни слова. К утру мы остановились в глухой венте, поблизости от небольшого скита. Тут я сказал Кармен:

— Послушай, я забуду все. Я ничего тебе не скажу; но обещаю тебе одно: уехать со мной в Америку и сидеть там спокойно.

— Нет, — отвечала она сердито, — я не хочу в Америку. Мне и здесь хорошо.

— Это потому, что здесь ты с Лукасом; но ты помни: если он поправится, то долго не протянет. Да, впрочем, охота мне возиться с ним! Мне надоело убивать твоих любовников; я убью тебя.

Она пристально посмотрела на меня своим диким взглядом и сказала:

— Я всегда думала, что ты меня убьешь. В тот день, когда я тебя в первый раз увидела, я как раз, выходя из дому, повстречалась со священником. А сегодня ночью, когда мы выезжали из Кордовы, ты ничего не за-

¹ *La divisa* — бант, цвет которого обозначает, с какого пастбища бык. Бант этот прикрепляется к шкуре быка крючком, и верхом галантности является сорвать его у живого зверя и поднести женщине.

метил? Заяц пробежал дорогу между копыт у твоей лошади. Это судьба.

— Карменсита! — спросил я ее. — Ты меня больше не любишь?

Она ничего не ответила. Она сидела, скрестив ноги, на рогоже и чертила пальцем по земле.

— Давай жить по-другому, Кармен, — сказал я ей умоляющим голосом. — Поселимся где-нибудь, где нас ничто уже не разлучит. Ты же знаешь, что у нас недалеко отсюда, под дубом, зарыто сто двадцать унций... Потом еще у еврея бен Юсуфа есть наши деньги.

Она улыбнулась и сказала:

— Сначала я, потом ты. Я знаю, что так должно случиться.

— Подумай, — продолжал я, — я теряю и терпение, и мужество; решайся, или я решу по-своему.

Я ушел от нее и направился в сторону скита. Отшельника я застал за молитвой. Я подождал, пока он кончит; я бы рад был молиться, но не мог. Когда он встал с колен, я подошел к нему.

— Отец мой! — обратился я к нему. — Не помолись ли вы за человека, который находится в большой опасности?

— Я молюсь за всех скорбящих, — сказал он.

— Не могли ли бы вы отслужить обедню о душе, которая, быть может, скоро предстанет перед своим создателем?

— Да, — ответил он, пристально глядя на меня.

И так как в лице у меня было, должно быть, что-то странное, ему хотелось, чтобы я разговорился.

— Я как будто вас где-то встречал, — сказал он.

Я положил ему на скамью пиастр.

— Когда вы будете служить обедню? — спросил я.

— Через полчаса. Сын соседнего трактирщика придет прислуживать. Скажите мне, молодой человек: нет ли у вас чего-нибудь на совести, что вас мучит? Не слушаете ли вы совета христианина?

Я готов был заплакать. Я сказал ему, что вернусь, и поспешил уйти. Я прилег на траву и лежал, пока не зазвонил колокол. Тогда я вернулся, но остался стоять возле часовни. Когда обедня кончилась, я пошел к венте. Я надеялся, что Кармен сбежит; она могла взять моего коня и ускакать... но она оказалась тут. Ей не

хотелось, чтобы могли подумать, будто она меня испугалась. Пока я уходил, она распоролла подол платья и вынула оттуда свинец. Теперь она сидела у стола и глядела в миску с водой, куда вылила растопленный свинец. Она была так поглощена своей ворожкой, что не заметила, как я вошел. Она то брала кусок свинца и с печальным видом поворачивала его во все стороны, то напевала какую-нибудь колдовскую песню, где они призывают Марию Падилью, возлюбленную дона Педро, которая, говорят, была *Бари Кральиса*, или великая цыганская царица¹.

— Кармен! — сказал я ей. — Вы идете со мной?

Она встала, бросила свою миску и накинула на голову мантилью, словно собиралась в путь. Мне подали коня, она села на круп, и мы поехали.

— Так, значит, моя Кармен, — сказал я ей, когда мы проехали немного, — ты хочешь быть со мною, да?

— Я буду с тобою до смерти, да, но жить с тобой я не буду.

Мы были в пустынном ущелье; я остановил коня.

— Это здесь? — сказала она и соскочила наземь. Она сняла мантилью, уронила ее к ногам и стояла неподвижно, подбочась кулаком и смотря на меня в упор.

— Ты хочешь меня убить, я это знаю, — сказала она. — Такова судьба, но я не уступлю.

— Я тебя прошу, — сказал я ей, — образумься! Послушай! Все прошлое позабыто. А между тем ты же знаешь, что ты меня погубила; ради тебя я стал вором и убийцей. Кармен! Моя Кармен! Дай мне спасти тебя и самому спастись с тобой.

— Хосе! — отвечала она. — Ты требуешь от меня невозможного. Я тебя больше не люблю; а ты меня еще любишь и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла опять солгать тебе; но мне лень это делать. Между нами все кончено. Как мой *ром*, ты вправе убить свою *роми*; но Кармен будет всегда свободна. *Кальи* она родилась и *кальи* умрет.

— Так ты любишь Лукаса? — спросил я ее.

¹ Марию Падилью обвинили в том, что она будто бы околдовала короля дона Педро. Народное предание повествует, будто она подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, показавшийся очарованным глазам короля живой змеей. Этим объясняется отвращение, которое он всегда питал к несчастной государыне.

— Да, я его любила, как и тебя, одну минуту; быть может, меньше, чем тебя. Теперь я никого больше не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя.

Я упал к ее ногам, я взял ее за руки, я орошал их слезами. Я говорил ей о всех тех счастливых минутах, что мы прожили вместе. Я предлагал ей, что останусь разбойником, если она этого хочет. Все, сеньор, все, я предлагал ей все, лишь бы она меня еще любила!

Она мне сказала:

— Еще любить тебя — я не могу. Жить с тобой — я не хочу.

Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась и просила пощады, но эта женщина была демон.

— В последний раз, — крикнул я, — останешься ты со мной?

— Нет! Нет! Нет! — сказала она, топая ногой, сняла с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула его в кусты.

Я ударил ее два раза. Это был нож Кривого, который я взял себе, сломав свой. После второго удара она упала, не крикнув. Я как сейчас вижу ее большой черный глаз, уставившийся на меня; потом он помутнел и закрылся. Я целый час просидел над этим трупом, уничтоженный. Потом я вспомнил, как Кармен мне говорила не раз, что хотела бы быть похороненной в лесу. Я вырыл ей могилу ножом и опустил ее туда. Я долго искал ее кольцо и наконец нашел. Я положил его в могилу рядом с ней, вместе с маленьким крестиком. Может быть, этого не следовало делать. Затем я сел на коня, поскакал в Кордову и у первой же кордегардии назвал себя. Я сказал, что убил Кармен, но не желал говорить, где ее тело. Отшельник был святой человек. Он помолился за нее. Он отслужил обедню за упокой ее души... Бедное дитя! Это *калес* виноваты в том, что воспитали ее так.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Испания принадлежит к тем странам, где в наши дни особенно часто встречаются эти рассеянные по всей Европе кочевники, известные под именем цыган, *bohémiens*, *gitanos*, *gypsies*, *zigeuner* и т. д. Большин-

ство обитает, или, вернее, ведет бродячую жизнь, в южных и восточных провинциях, в Андалусии, в Эстремадуре — в королевстве Мурсии; много их в Каталонии. Отсюда они нередко заходят во Францию. Их можно видеть на всех наших южных ярмарках. Мужчины обыкновенно промышляют барышничеством, коновальством, стрижкой мулов; занимаются также починкой медной посуды и инструментов, не говоря уже о контрабанде и других недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и торгуют всякого рода снабдьями, иногда безвредными, а иногда и нет.

Физические особенности цыган легче заметить, нежели описать, и если видел одного, то среди тысячи людей узнаешь представителей этой расы. Физиономия, выражение — вот что главным образом отличает их от других народов, населяющих ту же страну. Цвет кожи у них очень смуглый, всегда более темный, чем у народностей, меж которых они живут. Отсюда, имя *калес*, черные, которым они нередко себя обозначают¹. Глаза их, явно раскосые, с красивым вырезом, очень черные, осенены длинными и густыми ресницами. Взгляд их можно сравнить лишь со взглядом хищного зверя. В нем соединяются отвага и робость, и в этом отношении глаза их довольно верно отражают характер этой нации, хитрой, смелой, но «от природы боящейся побоев», как Панург. Мужчины по большей части хорошо сложены, стройны, подвижны; я не помню, чтобы когда-либо видел среди них хоть одного, который был бы тучен. В Германии цыганки часто очень красивы, среди испанских *хитан* красота — большая редкость. В ранней юности они еще могут сойти за приятных дурнушек; но, став матерями, они делаются отталкивающими. Нечистоплотность и мужчин и женщин невероятна, и кто не видел волос цыганской матроны, тому трудно себе их представить, даже рисуя себе самые жесткие, самые жирные и самые пыльные космы. Кое-где в больших городах Андалусии некоторые молодые девушки, милее остальных, проявляют больше внимания к своей внешности. Они танцуют за плату, исполняя танцы, весьма похожие на те, что у нас запрещаются на пуб-

¹ Я заметил, что немецкие цыгане, хоть и отлично понимают слово *калес*, не любят, когда их так называют. Сами себя они зовут *романе чаве*.

личных балах во время карнавала. Мистер Борроу, миссионер-англичанин, автор двух преинтересных сочинений об испанских цыганах, которых он задумал обратить в христианство на средства Библейского общества, утверждает, что не было случая, чтобы *хитана* была равнодушна к иноплеменнику. На мой взгляд, в его похвалах их целомудрию многое преувеличено. Во-первых, большинство из них находится в положении Овидиевой некрасивой женщины: *Casta guam nemo rogavit*¹. Что же касается красивых, то они, как все испанки, привередливы в выборе возлюбленных. Им нужно понравиться, их нужно заслужить. Мистер Борроу приводит в доказательство их добродетелей случай, делающий честь его собственной добродетели и прежде всего его наивности. Один его безнравственный знакомый тщетно предлагал, по его словам, несколько унций некоей красивой *хитане*. Андалусец, которому я рассказал этот анекдот, заметил, что этот безнравственный человек имел бы больше успеха, если бы показал два-три пиастра, и что предлагать цыганке золотые унции — столь же малоубедительный способ, как обещать миллион или два миллиона трактирной служанке. Как бы там ни было, несомненно то, что по отношению к своим мужьям *хитаны* проявляют необычайное самоотвержение. Нет такой опасности и таких лишений, на которые они бы не пошли, чтобы помочь им в нужде. Одно из имен, которым называют себя цыгане, *ромэ*, или «мужья», свидетельствует, по-моему, о том уважении, какое они питают к супружеству. В общем, можно сказать, что главное их достоинство — это патриотизм, если можно назвать патриотизмом верность, которую они соблюдают по отношению к своим единоплеменникам, их готовность помочь друг другу, нерушимость тайны, которой они связаны в компрометирующих делах. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех тайных и нелегальных обществах.

Несколько месяцев тому назад я побывал в цыганском таборе, расположившемся в Вогезах. У одной старухи, старейшины их племени, в шатре лежал при смерти чужой ее семье цыган. Этот человек выписался

¹ Девственница, которой никто не пожелал (лат.).

из больницы, где пользовался хорошим уходом, чтобы умереть среди соотечественников. Он уже тринадцать недель лежал у своих хозяев, и к нему относились с большим вниманием, нежели к сыновьям и зятям, жившим под тем же кровом. У него была мягкая постель из соломы и мха, с довольно чистым бельем, тогда как остальная семья, числом одиннадцать человек, спала на досках в три фута длиной. Вот каково их гостеприимство. Эта же старуха, такая человечная к своему гостю, говорила мне при больном: *Singo, singo, honte hi mulo* — «скоро, скоро ему придется умереть». В конце концов, жизнь этих людей так жалка, что весть о смерти не страшит их нисколько.

Примечательной чертой характера цыган является их равнодушие к вопросам веры. Не то, чтобы это были вольнодумцы или скептики. Безбожниками они никогда не были. Отнюдь; религию той страны, где они живут, они считают своей; но, меняя отечество, они меняют и ее. Суеверие, которое у неразвитых народов занимает место религиозного чувства, также им чуждо. Да и как могло бы существовать суеверие у людей, живущих большей частью за счет чужой легковёрности? Однако я замечал, что испанские цыгане до странности боятся прикоснуться к мертвому телу. Редкий из них согласился бы за деньги снести покойника на кладбище.

Я уже сказал, что большинство цыганок занимается гаданием. По этой части они мастерицы. Но что служит для них источником немалых выгод, так это торговля талисманами и приворотными зельями. У них не только имеются жабы лапы для удержания непостоянных сердец или толченая магнитная руда для пробуждения любви в бесчувственных; когда нужно, они прибегают к могущественным заговорам, заставляющим дьявола приходить им на помощь. В прошлом году одна испанка рассказала мне такой случай. Однажды она шла по улице Алькалá, грустная и озабоченная; сидевшая на тротуаре цыганка окликнула ее: «Красавица! Ваш милый вам изменил». Это была правда. «Хотите, я вам его верну?» Понятно, с какой радостью это предложение было принято и какое доверие должна была внушить к себе особа, умевшая угадывать с первого же взгляда сокровенные тайны сердца. Так как нельзя было приступить к магическим операциям на самой люд-

ной улице Мадрида, было назначено свидание на следующий день. «Нет ничего легче, чем вернуть неверного к вашим ногам, — сказала хитана. — Найдется у вас какой-нибудь платок, шарф, мантилья, которые он вам подарил?» Ей дали шелковую косынку. «Теперь зашейте малиновым шелком в угол косынки пиастр. В другой угол зашейте полпиастра; сюда — песету; сюда — монету в два реала. Потом в середину надо зашить золотой. Лучше всего дублон». Зашивают дублон и все прочее. «Теперь дайте мне косынку, я отнесу ее в полночь на Кампо-Санто. Идите со мной, если хотите видеть изрядную чертовщину. Я вам обещаю, что завтра же вы опять встретитесь с тем, кого любите». Цыганка отправилась на Кампо-Санто одна, потому что дама слишком боялась чертей, чтобы ее сопровождать. Я предоставляю вам догадываться, вернулись ли к несчастной покинутой любовнице ее косынка и ее неверный.

Несмотря на свою бедность и на какое-то отвращение, которое они внушают, цыгане все же пользуются известным уважением у необразованных людей и весьма этим гордятся. Они чувствуют свое умственное превосходство и искренне презирают народ, оказывающий им гостеприимство. «Язычники так глупы, — говорила мне одна вогезская цыганка, — что нег никакой заслуги в том, чтобы их надуть. Давеча на улице меня подзывает крестьянка, я захожу к ней. У нее дымит печь, и она просит меня поворожить, чтобы была тяга. Я велю подать себе сперва большой кусок сала. Потом начинаю бормотать на *романи*. «Ты дура, говорю, душой родилась, душой и умрешь...» Отойдя к двери, я ей сказала по-немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не дымила, — это ее не топить». И пустилась наутек».

История цыган все еще представляет загадку. Известно, правда, что первые их толпы, весьма немногочисленные, появились в Восточной Европе в начале XV столетия; но неизвестно, ни откуда они пришли, ни почему перекочевали в Европу; и, что еще удивительнее, никто не знает, каким образом они за короткое время так невероятно размножились в ряде весьма отдаленных друг от друга стран. У самих цыган не сохранилось никаких преданий об их происхождении, и если

большинство из них называет своей первоначальной родиной Египет, то это потому, что они переняли ходивший о них в давние времена вымысел.

Большинство востоковедов, изучавших язык цыган, полагает, что это выходцы из Индии. И действительно, многие корни и грамматические формы *роммани*, по-видимому, встречаются в наречиях, происшедших от санскрита. Естественно, что в своих долгих скитаниях цыгане усвоили много иностранных слов. Во всех диалектах *роммани* мы находим немало слов греческих. Например: *socal* — кость, от *kokkalon*; *petalli* — подкова, от *petalon*; *safi* — гвоздь, от *karfi*, и т. п. В настоящее время у цыган почти столько же различных диалектов, сколько существует отдельных орд их племени. На языке тех стран, где они живут, они изъясняются с большей легкостью, нежели на своем собственном, которым пользуются лишь для того, чтобы свободно разговаривать друг с другом при посторонних. Сравнивая диалекты немецких и испанских цыган, разобщенных на протяжении нескольких веков, мы обнаружим очень большое число общих слов; но первоначальный язык повсюду, хоть и в неодинаковой степени, видоизменился от соприкосновения с более культурными языками, которыми эти кочевники вынуждены были пользоваться. Немецкий, с одной стороны, испанский — с другой, настолько исказили основу *роммани*, что шварцвальский цыган не мог бы беседовать со своим андалусским собратом, хотя им достаточно было бы обменяться несколькими фразами, чтобы увидеть, что каждый из них говорит на наречии, происходящем от одного и того же языка. Несколько наиболее употребительных слов общие, мне кажется, всем диалектам; так, во всех словарях, какие мне приходилось видеть, *rapí* значит «вода», *mapgo* — «хлеб», *mâs* — «мясо», *lon* — «соль».

Числительные повсеместно почти одни и те же. Немецкий диалект представляется мне гораздо более чистым, нежели испанский, ибо он сохранил много первоначальных грамматических форм, тогда как испанские цыгане усвоили формы кастильского наречия. Однако некоторые слова составляют исключение, свидетельствуя о древней общности языка. В немецком диалекте прошедшее время образуется присоединением *iut* к повелительному наклонению, всегда являющемуся ос-

новой глагола. В испанском *роммани* все глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов первого спряжения. От неопределенного наклонения *jamar* — «есть» следовало бы, по общему правилу, образовать *jamé* — «я ел», от *lillar* — «брать» — *lillé* — «я взял». Однако некоторые старые цыгане говорят в виде исключения: *jaupon, lillon*. Я не знаю других глаголов, которые сохранили бы эту древнюю форму.

Шеголяя здесь своими скудными познаниями в языке *роммани*, я должен привести несколько слов из французского аргю, заимствованных нашими ворами у цыган. Из *Парижских тайн* порядочное общество узнало, что *chourin* означает «нож». Это чистый *роммани*; *chouri* является одним из тех слов, которые общи всем диалектам. Г-н Видок называет лошадь *grès*; это опять-таки цыганское *gras, gre, graste, gris*. Добавьте еще слово *romanichel*, что на парижском аргю означает «цыгане». Это искажение *rommani tchave* — «цыганские парни». Но чем я горжусь, так это словопроизводством *frimousse* — «лицо, личико» — слово, которое в ходу у всех школяров или, во всяком случае, было в ходу в мое время. Прежде всего заметьте, что Уден в своем любопытном словаре писал в 1640 году — *firlimousse*. А *firla, fila* на *роммани* значит «лицо»; *muí* имеет то же значение, оно вполне соответствует латинскому *os*. Цыган-пурист сразу понял сочетание *firllamui*, и я считаю, что оно в духе его языка.

Всего этого, думается мне, достаточно, чтобы дать читателям *Кармен* выгодное представление о моих исследованиях в области *роммани*. Я закончу пословицей, которая будет здесь кстати: *En retudi panda nasti abela masha* — «В рот, закрытый глухо, не залетит муха».

АББАТ ОБЕН

Незачем рассказывать, каким путем нижеследующие письма попали к нам в руки. Они показались нам любопытными, нравоучительными и назидательными. Мы их печатаем без всяких изменений, опуская лишь не-

которые собственные имена и несколько мест, не имеющих отношения к случаю с аббатом Обеном.

I

Г-жа де П. к г-же де Ж.

Нуармутье, ...ноября 1844

Я обещала тебе писать, моя дорогая Софи, и держу слово; да это и лучшее, чем я могла бы занять эти длинные вечера. Из моего последнего письма ты знаешь, как вдруг я убедилась одновременно, и что мне тридцать лет, и что я разорена. Первое из этих несчастий, увы, непоправимо. Со вторым мы миримся довольно плохо, но как-никак миримся. Чтобы привести в порядок наши дела, нам необходимо прожить по меньшей мере два года в этом мрачном замке, откуда я тебе пишу. Я была неподражаема. Как только мне стало известно положение наших финансов, я предложила Анри переселиться ради дешевизны в деревню, и через неделю мы были в Нуармутье. Я не стану тебе описывать наше путешествие. Уже много лет мне не приходилось бывать так долго наедине с мужем. Разумеется, оба мы были в довольно дурном расположении духа, но, так как я твердо решила ничем этого не обнаруживать, все обошлось хорошо. Ты знаешь мои «великие решения» и знаешь, умею ли я их выполнять. Вот мы и на новоселье. В отношении живописности Нуармутье не оставляет желать лучшего. Леса, скалы, море в четверти мили. У нас четыре толстые башни, со стенами в пятнадцать футов толщиной. В амбразуре одного из окон я устроила себе кабинет. Моя гостиная поистине великолепна, когда в ней горят восемь свечей: таково праздничное освещение. Я умираю от страха всякий раз, когда прохожу по ней после захода солнца. Все это, само собой разумеется, очень плохо обставлено. Двери не запираются, обшивка трещит, ветер свищет, и море шумит самым зловещим образом. Однако я начинаю привыкать. Я прибираюсь, чиню, сажаю; к холодам у меня будет сносный бивуак. Ты можешь быть уверена, что к весне твоя башня будет готова. Ах, если бы ты была уже в ней! Нуармутье хорош тем, что у нас нет

никаких соседей. Одиночество полное. Гостей у меня, слава богу, не бывает, кроме нашего кюре, аббата Обена. Это очень тихий молодой человек, хоть у него густые брови дугой и большие черные глаза, как у предателя из мелодрамы. Прошное воскресенье он говорил нам проповедь; для провинциальной проповеди — довольно недурно, и притом точно на заказ: что «несчастье является благодеянием промысла, очищающим наши души». Пусть так! В таком случае мы должны быть благодарны честному маклеру, который пожелал нас очистить, похищая у нас наше состояние. До свидания, моя дорогая. Привезли мой рояль и грудку ящиков. Иду получать их.

Р. S. Я распечатаваю письмо, чтобы поблагодарить тебя за подарок. Все это слишком роскошно, чересчур роскошно для Нуармутье. Серая шляпка мне очень нравится. Я узнаю твой вкус. Я надену ее в воскресенье к обеду: вдруг окажется какой-нибудь коммивояжер, который сможет ее оценить. Но за кого ты меня принимаешь, посылая мне романы? Я хочу быть особой серьезной, да я такая и есть. Разве у меня нет на то веских причин? Я буду учиться. К моему возвращению в Париж через три года (мне будет тридцать три года, боже правый!) я хочу быть Филаминтой. По правде говоря, я не знаю, каких книг у тебя попросить. Чем ты мне посоветуешь заняться? Немецким или латынью? Было бы очень приятно читать *Вильгельма Мейстера* в подлиннике или *Сказки Гофмана*. Нуармутье — самое подходящее место для фантастических сказок. Но как научиться немецкому в Нуармутье? Латынью я бы занялась охотно, потому что я нахожу несправедливым, что ее знают только одни мужчины. Мне хочется брать уроки у нашего кюре...

II

Она же к той же

Нуармутье, ...декабря 1844

Тебя это удивляет, но время идет быстрее, чем ты думаешь, быстрее, чем думала я сама. Что больше всего поддерживает мое мужество, так это малодушие мо-

его господина и повелителя. Право же, мужчины ниже нас. Его подавленность, его avvilitamento¹ переходят границы дозволенного. Он встает насколько может позже, уезжает верхом или на охоту, или же отправляется в гости к скучнейшим людям — нотариусам или королевским прокурорам, которые живут в городе, то есть в шести милях от нас. Надо его видеть, когда идет дождь! Вот уже неделя, как он начал *Мопра*, и все еще на первом томе. «Лучше хвалить себя, чем хулить других». Это одна из твоих пословиц. Поэтому я его оставлю и скажу о себе. Деревенский воздух полезен мне бесконечно. Чувствую я себя восхитительно, и когда гляжу на себя в зеркало (что за зеркало!), то нахожу, что мне нельзя дать тридцати лет; и потом я много гуляю. Вчера мне удалось свести Анри на берег моря. Пока он стрелял чаек, я читала песнь пиратов из *Гяура*. На берегу, у морских волн, эти прекрасные стихи кажутся еще прекраснее. Наше море не может сравниться с морем Греции, но в нем есть своя поэзия, как во всяком море. Знаешь, что меня поражает в лорде Байроне? Это то, что он видит и понимает природу. Он говорит о море не потому, что едал палтуса и устрицы. Он плавал; он видел бури. Все его описания дагерротипны. А у наших поэтов — прежде всего рифма, потом уже смысл, если в стихе хватит места. Пока я гуляла, читая, смотря и любясь, аббат Обен — я не помню, говорила ли я тебе о моем аббате, это наш сельский кюре — подошел ко мне. Это молодой священник, который мне очень нравится. Он образован и умеет «говорить с людьми». К тому же по его большим черным глазам и бледному, меланхолическому лицу я догадываюсь, что у него должна была быть интересная жизнь, и мне хочется, чтобы он мне ее рассказал. Мы говорили о море, о поэзии; и, что должно тебя удивить в кюре из какого-то Нуармутье, он хорошо говорит об этом. Потом он свел меня к развалинам старого аббатства на скале и показал мне большой портал, весь покрытый изваяниями очаровательных чудовищ. Ах, если бы у меня были деньги, как бы я все это восстановила! Затем, несмотря на возражения Анри, которому хотелось идти обедать, я настояла на том, чтобы зайти к священнику в дом, посмотреть любопытный ковчежец, который он нашел

¹Упадок духа (итал.).

у одного крестьянина. Это действительно очень красиво: ларчик из лиможской эмали, который был бы прелестной шкатулкой для драгоценностей. Но что за дом, боже праведный! А мы-то еще считаем, что мы бедны! Представь себе маленькую комнатку вровень с землей, с неровным кирпичным полом, выбеленную известью, где стоят стол, четыре стула и соломенное кресло с подушкой в виде блина, набитой какими-то персиковыми косточками и обтянутой холстиной в белую и красную клетку. На столе лежало несколько больших греческих и латинских фолиантов. Это отцы церкви, а под ними я нашла *Жослена*, как будто его спрятали. Аббат покраснел. Впрочем, он отлично принимал нас в своей жалкой лачуге: ни гордости, ни ложного стыда. Я и раньше подозревала, что у него должна была быть какая-то романтическая история. Теперь у меня есть тому доказательство. В византийском ларчике, который он нам показал, лежал увядший букет, которому по меньшей мере пять-шесть лет.

— Это святыня? — спросила я его.

— Нет, — ответил он, немного смутясь. — Я не знаю, как это сюда попало.

Он взял букет и бережно спрятал его в стол. Разве не ясно?.. Я вернулась в замок, полная печали и мужества; печали о той бедности, которую я видела; мужества на то, чтобы нести свою собственную бедность, которая для него была бы азиатской пышностью. Если бы ты видела его удивление, когда Анри передал ему двадцать франков для одной женщины, за которую он нас просил! Я должна ему сделать какой-нибудь подарок. Это соломенное кресло, в котором я сидела, слишком уж жестко. Я хочу ему подарить гибкое железное кресло, как то, которое я брала с собой в Италию. Ты мне выберешь такое и пришлешь возможно скорее...

III

Она же к той же

Нуармутье, ...февраля 1845

Я положительно не скучаю в Нуармутье. К тому же я нашла интересное занятие, и им я обязана своему аб-

бату. Мой аббат знает **решительно** все и вдобавок богачу. Мне вспомнились *Письма* Руссо, когда он при мне называл по-латыни жалкий лук, который, за неимением лучшего, я поставила на камин.

— Так вы знаете ботанику?

— Очень плохо, — отвечал он. — Но все же настолько, что могу указывать здешним жителям полезные для них лекарственные травы; а главное, надо сознаться, — в достаточной степени, чтобы находить некоторый интерес в моих одиноких прогулках.

Я тотчас же подумала, что было бы очень забавно собирать, гуляя, красивые цветы, сушить их и потом аккуратно раскладывать в «моем старом Плутархе для брыжей».

— Поучите меня ботанике, — сказала я ему.

Он хотел подождать до весны, потому что в это противное время года нет цветов.

— Но у вас есть засушенные цветы, — сказала я. — Я видела у вас.

Я, кажется, рассказывала тебе про некий бережно хранимый старый букет. Если бы ты видела его лицо!.. Несчастный бедняга! Я сразу же раскаялась, что позволила себе этот нескромный намек. Чтобы его загладить, я поспешила сказать аббату, что у него должна быть коллекция засушенных растений. Это называется гербарий. Он это тут же подтвердил и на следующий же день принес мне в кипе серой бумаги множество красивых растений, каждое с особым ярлычком. Курс ботаники начался; я сразу же сделала поразительные успехи. Но чего я не знала, так это безнравственности этой самой ботаники и как трудны первоначальные объяснения, в особенности для аббата.

Да будет тебе известно, моя дорогая, что растения выходят замуж совсем как мы, но у большинства из них бывает по многу мужей. Они называются «фанерогамами», если только я не путаю этого варварского слова. Это по-гречески и значит: заключивший брак публично, в муниципалитете. Потом имеются «криптогамы», тайные супружества. Грибы, которые ты ешь, живут в тайном браке.

Все это чрезвычайно скандально; но он очень недурно выпутывается, лучше, чем я, которая имела глупость громко расхохотаться раз или два в самых за-

труднительных местах. Но теперь я стала осторожнее и больше не задаю вопросов.

IV

Она же к той же

Нуармутье, ... февраля 1845

Ты непременно хочешь знать историю этого столь бережно хранимого букета; но, право же, я не решаюсь его спросить. Во-первых, более чем вероятно, что никакой истории и нет; а если и есть, то, может быть, он не захочет ее рассказывать. Что касается меня, то я совершенно уверена...

Но довольно! К чему притворяться! Ты же знаешь, что от тебя у меня не может быть секретов. Я знаю эту историю и расскажу ее тебе в двух словах; нет ничего проще.

— Как это вышло, господин аббат, — сказала я ему однажды, — что с вашим умом, с вашим образованием вы соглашаетесь быть кюре в маленькой деревушке?

Он грустно улыбнулся.

— Легче, — отвечал он, — быть пастырем бедных крестьян, чем пастырем горожан. Каждый должен браться за то, что ему по силам.

— Вот поэтому-то, — сказала я, — вы и должны были бы занимать лучшее место.

— Мне как-то говорили, — продолжал он, — что его преосвященство епископ N-ский, ваш дядя, соизволил подумать обо мне, желая дать мне приход святой Марии: это лучший приход в епархии. Так как в N. живет моя старая тетушка, единственная моя родственница, то говорили, что это очень удобное для меня назначение. Но мне хорошо и здесь, и я с удовольствием узнал, что его преосвященство остановился на другом лице. Что мне еще надо? Разве я не счастлив в Нуармутье? Если я тут приношу хоть какую-нибудь пользу, то мое место здесь; я не должен его покидать. К тому же город мне напоминает...

Он замолчал и смотрел мрачно и рассеянно; потом вдруг сказал:

— Мы не работаем. А наша ботаника?

Мне не хотелось и думать про старое сено, раскиданное по столу, и я продолжала расспрашивать:

— Давно вы приняли священство?

— Тому девять лет.

— Девять лет... но мне кажется, что вы должны были тогда уже быть в таком возрасте, когда занимаются какой-нибудь профессией? Признаться, мне всегда казалось, что вы стали священником не по юношескому призванию.

— Увы, нет, — сказал он, словно стыдясь. — Но если мое призвание и было поздним, если оно определялось причинами... причиной...

Он запнулся и не знал, как кончить. Я набралась храбрости.

— Держу пари, — сказала я, — что некий букет, который я видела, играл при этом известную роль.

Едва у меня вырвался этот дерзкий вопрос, как я прикусила язык, испугавшись сказанного; но было поздно.

— Да, сударыня, это правда; я вам все это расскажу, но не сегодня... в другой раз. Сейчас будут звонить к вечерне.

И он ушел, не дожидаясь, пока ударит колокол.

Я ждала какую-нибудь ужасную историю. Он пришел на следующий день и сам возобновил вчерашний разговор. Он мне признался, что любил одну молодую особу в N.; но у нее были кое-какие средства, а он, студент, ничего не имел, кроме собственной головы... Он ей сказал:

— Я еду в Париж, где надеюсь получить место; а вы, пока я буду работать день и ночь, чтобы стать достойным вас, — вы меня не забудете?

Молодой особе было лет шестнадцать — семнадцать, и у нее была весьма романтическая душа. В знак верности она дала ему свой букет. Через год он узнал, что она вышла замуж за N-ского нотариуса, как раз когда он должен был получить место учителя в коллеже. Это его сразило, он не стал держать конкурса. Он признался, что много лет он ни о чем другом не мог думать; и, вспоминая этот нехитрый случай, он был так взволнован, как будто все это с ним только что произошло. Потом, вынимая из кармана букет, он сказал:

— Хранить его — это ребячество; может быть, это даже нехорошо.

И он бросил его в огонь. Когда бедные цветы перестали трещать и гореть, он произнес уже спокойнее:

— Я вам благодарен за то, что вы заставили меня это рассказать. Вам я обязан тем, что расстался с воспоминанием, которое мне не подобало хранить.

Но он был грустен, и нетрудно было видеть, чего ему стоила эта жертва. Боже мой, что за жизнь у этих бедных священников! Самые невинные мысли для них запретны. Они обязаны изгонять из сердца все те чувства, которые составляют счастье остальных людей... вплоть до воспоминаний, привязывающих к жизни. Священники похожи на нас, на несчастных женщины: всякое живое чувство — преступление. Дозволено только страдать, да и то не показывая виду. Прощай, я упрекаю себя за свою любопытство, как за дурной поступок, но виной этому ты.

(Мы опускаем несколько писем, в которых ничего не говорится об аббате Обене.)

V

Она же к той же

Нуармутье, ...мая 1845

Давно уже я собираюсь тебе написать, моя дорогая Софи, но мне мешал какой-то ложный стыд. То, что я хочу тебе рассказать, так странно, так забавно и вместе с тем так печально, что я не знаю, тронет это тебя или рассмешит. Я и сама еще ничего не понимаю. Начну без всяких предисловий. Я тебе не раз говорила в моих письмах об аббате Обене, приходском священнике нашей деревни Нуармутье. Я даже описала тебе некий случай, определивший его призвание. В том одиночестве, в котором я живу, и при тех грустных мыслях, о которых ты знаешь, общество умилого, образованного, любезного человека было для меня чрезвычайно ценно. По-видимому, он заметил, что я им интересуюсь, и в скором времени стал у нас бывать как давнишний друг. Для меня, признаться, было совершенно новым удовольстви-

ем беседовать с незаурядным человеком, у которого изящество ума еще больше оттеняется отчужденностью от жизни. Быть может, также, — потому что я должна тебе все рассказать, и не от тебя я могла бы скрыть какой-либо недостаток моего характера, — быть, может, также «наивность» моего кокетства (это твое выражение), которой ты меня нередко попрекала, сказалась помимо моей воли. Я люблю нравиться людям, которые мне нравятся, я хочу, чтобы меня любили те, кого я люблю... Я вижу, как при таком вступлении ты широко раскрываешь глаза, и слышу, как ты говоришь: «Жюли!..» Будь спокойна, не мне в мои годы делать глупости. Но продолжаю. Между нами установилась своего рода близость, но при этом ни разу, спешу это отметить, он не сказал и не сделал ничего такого, что не подобало бы его священному сану. Ему было хорошо со мной. Мы часто беседовали об его юности, и я не раз, и напрасно, заводила речь о романтическом увлечении, которому он был обязан букетом (пепел его теперь в моем камине) и своим печальным одеянием. Вскоре я заметила, что он перестал думать о неверной. Однажды он встретил ее в городе и даже говорил с ней. Все это он мне рассказал по возвращении, спокойно добавив, что она счастлива и что у нее прелестные дети. Несколько раз ему привелось быть свидетелем вспышек Анри. Отсюда некоторые мои признания, в известной степени вынужденные, а с его стороны — еще большее внимание. Он знает моего мужа так, как если бы был знаком с ним десять лет. К тому же он был таким же хорошим советчиком, как и ты, и притом более беспристрастным, потому что, по-твоему, виноваты всегда обе стороны. Он всегда находил, что я права, но советовал вести себя осторожно и обдуманно. Словом, он выказывал себя преданным другом. В нем есть что-то женственное, что меня пленяет. Он напоминает мне тебя. Это характер восторженный и твердый, чувствительный и замкнутый, фанатический в вопросах долга... Я нанизываю фразы, чтобы оттянуть объяснение. Я не могу говорить откровенно; эта бумага меня смущает. Как бы я хотела сидеть у камина, работая с тобой вдвоем, вышивая одну и ту же портьеру! Но пора, пора, моя Софи, произнести это ужасное слово. Несчастный в меня влюбился. Тебе смешно или ты скандализována? Я бы

хотела тебя видеть в эту минуту. Он мне ничего не сказал, разумеется, но мы никогда не ошибаемся, и эти его большие черные глаза!.. Теперь ты, наверно, смеешься. Какой светский лев не пожелал бы иметь глаза с таким красноречивым взглядом! Я видела столько этих господ, которые старались говорить глазами, и говорили только глупости!.. Когда я убедилась, в каком состоянии больной, моя лукавая душа, признаюсь, сначала как будто даже обрадовалась. Победа в мои годы, и такая невинная победа!.. Что-нибудь да значит — внушить такую страсть, немыслимую любовью!.. Но нет, это нехорошее чувство у меня быстро прошло. «Вот порядочный человек, — сказала я себе, — которого мое легкомыслие может сделать несчастным. Это ужасно, этому необходимо положить конец». Я стала ломать голову над тем, как бы мне его удалить. Однажды мы с ним гуляли на берегу во время отлива. Он ничего не решался мне сказать, мне тоже трудно было говорить. Наступали убийственные паузы по пять минут, во время которых, чтобы скрыть смущение, я собирала ракушки. Наконец я ему сказала:

— Дорогой аббат! Вы непременно должны \получить приход лучше этого. Я напишу моему дяде, епископу; я к нему поеду, если нужно.

— Покинуть Нуармутье! — воскликнул он, всплеснув руками. — Но я же здесь так счастлив! Чего же мне желать с тех пор, как вы здесь? Вы осыпали меня благодеяниями, и мой скромный домик превратился в дворец.

— Нет, — продолжала я, — мой дядя очень стар; если случится такое несчастье, что я его лишусь, то я не буду знать, к кому обратиться, чтобы вы могли получить приличный приход.

— Увы, сударыня, мне будет так грустно расстаться с этой деревней!.. Кюре святой Марии умер... но меня успокаивает то, что его заменит аббат Ратон. Это достойнейший священник, и я этому очень рад; ведь если бы его преосвященство вспомнил обо мне...

— Кюре святой Марии умер! — воскликнула я. — Я сегодня же еду в N и говорю с дядей.

— Ах, нет, не надо! Аббат Ратон гораздо достойнее меня; и потом, покинуть Нуармутье...

— Господин аббат! — сказала я твердо. — *Это необходимо!*

При этих словах он опустил голову и не посмел больше спорить. Я чуть не бегом вернулась в замок. Он шел за мной следом, в двух шагах, бедняга, и был так взволнован, что не мог раскрыть рта. Он был убит. Я не стала терять ни минуты. В восемь часов я была у дяди. Оказалось, что он очень держится за своего Ратона; но он меня любит, и я знаю свое влияние. Словом, после долгих прений я добилась того, чего хотела. Ратон устранен, и аббат Обен — кюре св. Марии. Вот уже два дня, как он в городе. Бедняга понял мое «так надо». Он меня торжественно благодарил и говорил только о своей признательности. Я была довольна, что он не стал задерживаться в Нуармутье и даже сказал мне, будто торопится поблагодарить его преосвященство. Уезжая, он прислал мне свой красивый византийский ларчик и просил у меня позволения иногда писать мне. Ну что, моя милая? «Доволен ты, Куси?» Это урок. Я его не забуду, когда вернусь в свет. Но тогда мне будет тридцать три года, и мне нечего будет бояться, что меня могут полюбить... да еще такой любовью!.. Конечно, это невозможно. Все равно; от всего этого безумства у меня остались красивый ларчик и истинный друг. Когда мне будет сорок лет, когда я буду бабушкой, я начну интриговать, чтобы аббат Обен получил приход в Париже. Ты его увидишь, моя дорогая, и это он даст первое участие твоей дочери.

VI

*Аббат Обен к аббату Брюно,
профессору богословия в Сент-А****

Н., ...мая 1845

Дорогой учитель! Вам пишет уже не скромный сельский священник из Нуармутье, а кюре св. Марии. Я простился с болотами, и теперь я горожанин, живущий в прекрасном церковном доме на главной улице N.; кюре большого храма, хорошо построенного, хорошо содержимого, великолепной архитектуры, изображенного во всех альбомах с видами Франции. Когда я в первый

раз служил в нем литургию у мраморного алтаря, блистающего позолотой, мне казалось, что это не я. Но это сущая правда. Одно из моих удовольствий — это думать, что на ближайших каникулах Вы меня посетите, я смогу предоставить Вам хорошую комнату, хорошую постель, не говоря уже о некоем бордо, которое я называю «Нуармутье» и которое, смею утверждать, достойно Вас. Но, спросите Вы, как же это я попал из Нуармутье к св. Марии? Вы меня оставили у церковных дверей, а я вдруг оказываюсь на колокольне.

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit¹.

Дорогой учитель! Провидение послало в Нуармутье великосветскую даму из Парижа, которая в силу невзгод, каких мы с Вами никогда не претерпим, принуждена временно жить на десять тысяч экю в год. Это милая и добрая особа, к сожалению, немного испорченная легкомысленным чтением и обществом столичных вертопрахов. Смертельно скучая со своим мужем, которым она не очень-то может похвалиться, она сделала мне честь обратить на меня свое расподожение. То были бесконечные подарки, постоянные приглашения, и что ни день, то какой-нибудь новый проект, при котором я оказывался необходим. «Аббат! Я хочу учиться латыни... Аббат! Я хочу учиться ботанике». *Horresco referens*², она пожелала, чтобы я наставлял ее в богословии! Где Вы были, дорогой учитель! Словом, для этой жажды знаний потребовались бы все наши профессора из Сент-А. К счастью, ее причуды были скоротечны, и редкий курс доходил до третьего урока. Когда я ей сказал, что по-латыни rosa значит «роза», «но, аббат, — воскликнула она, — ведь вы же кладезь премудрости! Как это вы дали себя похоронить в Нуармутье?» Говоря Вам откровенно, дорогой учитель, эта милейшая дама, начитавшись скверных книжек, которые нынче фабрикуются, вбила себе в голову довольно странные идеи. Раз она дала мне одно сочинение, которое только что получила из Парижа и от которого пришла в восторг, — *Абеяра* г-на де Ремюза. Вы, наверное, читали его и, надо полагать, оценили ученые разыскания автора, к сожалению, отмеченные предосуди-

¹ О Мелибей, божество сотворило нам эти досуги (лат.).

² Повествуя, дрожу (лат.).

тельным духом. Я начал со второго тома, с *Философии Абеляра*, и, прочтя его с живейшим интересом, вернулся к первому, к жизни великого ересиарха. Разумеется, моя знатная дама только ее и соблаговолила прочесть. Дорогой учитель! Это открыло мне глаза. Я понял, что надлежит опасаться общества красавиц, столь влюбленных в науку. По части экзальтации эта особа дала бы Элоизе несколько очков вперед. Столь новое для меня положение весьма меня смущало, как вдруг она мне говорит: «Аббат! Я хочу, чтобы вы сделались кюре святой Марии; носитель этого звания умер. *Так надо!*» Она тотчас же садится в карету, едет к его преосвященству; проходит несколько дней — и я кюре св. Марии, немного сконфуженный тем, что получил это назначение по протекции, но, впрочем, в восторге, что избежал когтей столичной «львицы». «Львица», дорогой учитель, это на парижском наречии значит модная женщина.

O Zeu, gunaikon Ropasas genos¹.

Или надо было отказаться от счастья и мужественно встретить опасность? Это было бы глупо. Ведь св. Фома Кентерберийский принял замки в дар от Генриха II? До свидания, дорогой учитель, я надеюсь пофилософствовать с Вами через несколько месяцев, сидя в покойных креслах, за жирной пуляркой и бутылкой бордо, *more philosophorum. Vale et me ama².*

IL VICOLO DI MADAMA LUCREZIA³

Мне было двадцать три года, когда я отправился в Рим. Отец мой дал мне десяток рекомендательных писем, из которых одно, не менее чем на четырех страницах, было запечатано. На конверте было надписано: «Маркизе Альдобранди».

— Ты мне напишешь, — сказал мне отец, — по-прежнему ли маркиза красавица.

¹ Стих, взятый, кажется из *Семерых против Фив* Эсхила: «Зевс, что за племя нам послал ты в женщинах!» Аббат Обен и его учитель, аббат Брюно; хорошо знают древних авторов.

² По обычаю мудрецов. Будь здоров и люби меня (*лат.*).

³ Переулочек госпожи Лукреции (*итал.*).

Я с детства помнил висевшую над камином в его кабинете миниатюру, изображавшую очень красивую женщину с напудренными волосами, в венке из плюща, с тигровой шкурой через плечо. На фоне можно было прочесть: *Roma, 18...*¹. Наряд этой дамы казался мне странным, и я не раз спрашивал, кто она такая. Мне отвечали:

— Вакханка.

Но ответ этот меня не удовлетворял; я даже подозревал, что от меня что-то скрывают, так как при моем невинном вопросе матушка поджимала губы, а отец принимал серьезный вид.

На этот раз, передавая мне запечатанное письмо, он украдкой взглянул на портрет. Я невольно сделал то же самое, и мне пришло в голову, не является ли именно эта пудренная вакханка маркизой Альдобранди. Так как я уже начал кое-что понимать, то я сделал немаловажные выводы из гримасы моей матушки и взгляда, брошенного отцом.

По прибытии моем в Рим первым письмом, которое я доставил по адресу, было письмо к маркизе. Она жила в прекрасном палаццо поблизости от площади св. Марка.

Я передал письмо и визитную карточку слуге в желтой ливрее, и тот ввел меня в просторную гостиную, довольно плохо обставленную, темную и унылую. Но во всех палаццо Рима находятся картины больших мастеров. И в этой гостиной их было немало, причем несколько весьма замечательных.

Прежде всего я заметил женский портрет, как мне показалось, работы Леонардо да Винчи. По богатству рамы, по тому, что он стоял на подставке красного дерева, видно было, что это — украшение коллекции. Маркиза не появлялась, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть картину. Я даже поднес ее к окну, чтобы взглянуть на нее при более выгодном освещении. Это был, очевидно, портрет с натуры, а не фантазия, потому что такое лицо едва ли можно придумать: прекрасная женщина, с несколько полными губами, с почти сросшимися бровями, со взглядом одновременно надменным и ласковым. На заднем плане был изображен ее герб с герцогской короной. Но больше

¹ «Рим, 18...» (итал.).

всего меня поразила ее наряд: исключая пудру на волосах, он был совершенно такой же, как у вакханки моего отца.

Я еще держал портрет в руках, когда вошла маркиза.

— Совсем как отец! — воскликнула она, подходя ко мне. — Ах, эти французы! Не успел приехать, как уже завладел *госпожой Лукрецией*.

Я поспешил извиниться за свою нескромность и осыпал похвалами шедевр Леонардо, который я осмелился взять в руки.

— Это действительно Леонардо, — сказала маркиза. — Это портрет слишком знаменитой Лукреции Борджа. Из всех моих картин ваш отец больше всего восхищался этой... Но, боже мой, какое сходство! Я будто вижу вашего отца, каким он был двадцать пять лет тому назад. Как он поживает? Что поделявает? Не соберется ли он как-нибудь в Рим проведать нас?

Хотя на маркизе не было ни пудры, ни тигровой шкуры, я с первого же взгляда, силою озарения, узнал в ней вакханку моего отца. Двадцать пять лет, прошедшие с того времени, не могли уничтожить всех следов ее красоты. Только выражение лица изменилось, равно как и платье. Одета она была в черное, а тройной подбородок, важная улыбка, торжественный и просветленный вид ясно давали понять, что она ударилась в набожность.

Впрочем, она приняла меня как нельзя более радушно. Без лишних слов она предоставила в мое распоряжение свой дом, свой кошелек и своих друзей, в числе которых она назвала нескольких кардиналов.

— Смотрите на меня, — сказала она, — как на свою мать.

Она скромно опустила глаза.

— Ваш батюшка поручает мне присматривать за вами и давать вам советы.

И в доказательство того, что не считает свои обязанности синекурой, она тотчас же начала предостерегать меня от опасностей, какие могут встретиться в Риме на пути молодого человека моего возраста, и умоляла меня избегать их. Мне следовало остерегаться дурной компании, в особенности артистов, и водиться исключительно с людьми, которых она мне укажет. Од-

ним словом, я выслушал настоящую проповедь. Я отвечал почтительно, с подобающим лицемерием.

Когда я встал, чтобы уходить, она мне сказала:

— Я жалею, что мой сын, маркиз, в данный момент не здесь, а в Романье, в нашем имении, но я вас познакомлю со вторым моим сыном, Оттавио, который скоро будет монсеньором. Надеюсь, что он вам понравится и вы подружитесь, как тому и следует быть...

Она поспешила добавить:

— Потому что вы почти одного возраста, и он юноша тихий и благоразумный, вроде вас.

Она тотчас же послала за доном Оттавио. Я увидел высокого молодого человека, бледного, меланхолического, с опущенными глазами, — в нем сразу чувствовался святоша.

Не дав ему времени сказать что-либо, маркиза от его имени высказала готовность всегда и во всем служить мне. Он подтверждал глубокими поклонами каждую фразу своей матери, и мы условились, что завтра же он заедет за мною, чтобы показать город, а потом отвезет меня к матери, чтобы пообедать запросто в палаццо Альдобранди.

Не успел я пройти и двадцати шагов по улице, как позади меня раздался повелительный окрик:

— Куда это вы идете один в такой час, дон Оттавио?

Я обернулся и увидел толстого аббата, который, вытаращив глаза, осматривал меня с головы до ног.

— Я не дон Оттавио, — сказал я ему.

Аббат, поклонившись мне чуть не до земли, рассыпался в извинениях, и мгновение спустя я увидел, что он вошел в палаццо Альдобранди. Я продолжал свой путь, не особенно польщенный тем, что меня приняли за этого будущего монсеньора.

Несмотря на предупреждение маркизы, а может быть, как раз вследствие этого предупреждения, я поспешил разыскать квартиру одного знакомого мне художника и провел в его мастерской целый час, рассуждая о дозволенных и недозволенных средствах развлечения, которые мог бы мне доставить Рим. Я посвятил его и в свои отношения к семейству Альдобранди.

Маркиза, сообщил он мне, была когда-то очень легкомысленной женщиной, но потом, увидев, что время

побед для нее прошло, ударилась в ханжество. Старший сын ее — грубое существо; он только и делает, что охотится да собирает деньги с арендаторов в своих огромных поместьях. Теперь хотят задурить второго сына, дона Оттавио, — из него намереваются сделать кардинала. Пока что он предоставлен иезуитам. Он никогда не выходит из дому один. Ему запрещено смотреть на женщин и делать хоть один шаг без того, что по пятам за ним не следовал аббат, воспитавший его для служения богу. Аббат этот был прежде последним amico¹ маркизы, а теперь управляет всем в ее доме, пользуясь властью почти деспотической.

На следующий день дон Оттавио в сопровождении аббата Негрони — того самого, который накануне принял меня за своего воспитанника, — заехал за мною и предложил свои услуги в качестве чичероне.

Первым памятником, который мы осмотрели, была какая-то церковь. По примеру своего аббата дон Оттавио преклонил колени, ударил себя в грудь и принялся без конца креститься. Поднявшись, он показал мне фрески и статуи; рассказывая о них, он выказал осведомленность и хороший вкус. Это меня приятно удивило. Мы начали беседовать, и разговор его мне понравился. Некоторое время мы говорили по-итальянски. Вдруг он обратился ко мне по-французски:

— Мой наставник не понимает ни слова на вашем языке. Давайте говорить по-французски: так мы будем чувствовать себя свободнее.

От перемены языка молодой человек словно переродился. Ничто в его словах не напоминало больше священника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-нибудь нашим вольнодумцем из провинции. Но от меня не ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же монотонным голосом, часто до крайности не соответствовавшим живости его выражений. Очевидно, это был заученный прием, имевший целью обмануть Негрони, который время от времени просил объяснить ему, о чем мы говорим. Разумеется, наш перевод был чрезвычайно свободным.

Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых чулках.

— Вот, — сказал мне дон Оттавио, — наши нынешние

¹ Друг, здесь — возлюбленный (итал.).

патриции. Гнусная ливрея! Увы, через несколько месяцев и я ее надену.

Помолчав, он продолжал:

— Какое счастье жить в такой стране, как ваша! Будь я французом, может быть, я стал бы когда-нибудь депутатом!

Это благородное честолюбие страшно рассмешило меня. Аббат заметил это; я должен был объяснить ему, что разговор зашел у нас об ошибке одного археолога, принявшего за антик статую Бернини.

К обеду мы вернулись в палаццо Альдобранди. Почти сразу же после кофе маркиза попросила у меня извинения за сына, который должен был удалиться к себе в комнату для исполнения некоторых религиозных обязанностей. Я остался с нею и аббатом Негрони, который, развалившись в большом кресле, спал сном праведника.

Между тем маркиза стала подробнейшим образом расспрашивать меня об отце, о Париже, о моей прошлой жизни, о моих планах на будущее. Она показалась мне любезной и доброй, но слишком уж любопытной, а главное — слишком озабоченной спасением моей души. Впрочем, она превосходно говорила по-итальянски, и беседа с нею была для меня отличным уроком произношения, который я решил повторить.

Я часто заходил к ней. Почти ежедневно по утрам я осматривал древности вместе с ее сыном и неизбежным Негрони, а под вечер обедал у них в палаццо. Принимала у себя маркиза лишь очень немногих лиц, и то почти исключительно духовных.

Впрочем, однажды она познакомила меня с какой-то немкой, большой ее подругой, недавно обратившейся в католичество. Это была г-жа Штраленгейм, уже много лет жившая в Риме. Пока дамы беседовали между собою о каком-то знаменитом проповеднике, я рассматривал при свете лампы портрет Лукреции. Мне показалось уместным тоже вставить словечко.

— Что за глаза! — воскликнул я. — Можно подумать, что эти веки сейчас дрогнут.

При этой несколько претенциозной гиперболе, на которую я отважился, чтобы выставить себя знатоком в глазах г-жи Штраленгейм, она задрожала от ужаса и спрятала лицо в платок.

— Что с вами, дорогая? — спросила маркиза.

— Ничего... Но этот господин только что сказал...

Ее засыпали вопросами, и после того как она призналась, что моя фраза привела ей на память один страшный случай, ее заставили эту историю рассказать.

Вот она в двух словах.

У мужа г-жи Штраленгейм была сестра по имени Вильгельмина, просватанная за молодого человека из Вестфалии, Юлиуса Каценеленбогена, добровольца из дивизии генерала Клейста. Мне очень досадно, что приходится приводить такие варварские имена, но чудесные истории случаются только с людьми, имена которых трудно бывает произнести.

Юлиус был очаровательным юношей, преисполненным патриотизма и метафизики. Уходя на войну, он подарил Вильгельмине свой портрет, а Вильгельмина в обмен дала ему свой, который он всегда носил на груди. В Германии это очень принято.

13 сентября 1813 года, около пяти часов вечера, Вильгельмина, находившаяся в Касселе, вязала, сидя в гостиной вместе со своей матерью и будущей золовкой. Во время работы она поглядывала на портрет своего жениха, стоявший перед нею на маленьком рабочем столике. Вдруг она громко вскрикнула, схватила за сердце и упала в обморок. Большого труда стоило привести ее в сознание. Как только к ней вернулся дар речи, она воскликнула:

— Юлиус умер! Юлиус убит!

Она утверждала (ужас, изображавшийся в ее чертах, достаточно подтверждал ее уверенность в этом), что она видела, как портрет закрыл глаза и что в ту же минуту она почувствовала жгучую боль, словно раскаленное железо пронзило ей сердце.

Напрасно все старались ей доказать, что видение ее не имеет в себе ничего реального и что она не должна придавать ему никакого значения. Бедная девушка была безутешна; она провела ночь в слезах и на следующий день решила надеть траур, так как была уверена, что несчастье, ей возвещенное, уже произошло.

Два дня спустя было получено известие о кровопролитном сражении под Лейпцигом. Юлиус прислал своей невесте письмо, помеченное 13-м числом, тремя часами пополудни. Он не был ранен, отличился в бою и собирался вступить в Лейпциг, где рассчитывал провести

ночь в главной квартире, вдали от всякой опасности. Письмо это, несмотря на его утешительный характер, не могло успокоить Вильгельмину: заметив, что оно помечено тремя часами, она продолжала уверять, что в пять часов ее возлюбленный умер.

Нечастная не ошиблась. Вскоре узнали, что Юлиус, посланный с приказом, выехал из Лейпцига в половине пятого и в трех четвертях мили от города, по ту сторону Эльстера, был застрелен каким-то отставшим от неприятельской армии солдатом, спрятавшимся во рву. Пуля, попавшая ему в сердце, пробила портрет Вильгельмины.

— Что же стало с несчастной девушкой? — спросил я у г-жи Штраленгейм.

— О, она тяжело заболела! Теперь она замужем за советником юстиции фон Вернером, и, если вы попадете как-нибудь в Дессау, она покажет вам портрет Юлиуса.

— Все это козний дьявола, — произнес аббат, сквозь сон слушавший историю г-жи Штраленгейм. — Тот, кто заставлял вещать языческие оракулы, может, если ему заблагорассудится, привести в движение глаза на портрете. Всего двадцать лет тому назад в Тиволи одного англичанина задушила статуя.

— Статуя? — воскликнул я. — Как же это случилось?

— Некий милорд производил раскопки в Тиволи. Он нашел статую императрицы Агриппины, Мессалины... уж не помню, какой именно. Как бы то ни было, он велел доставить ее к себе в дом и все время глядел на нее, восхищался и в конце концов влюбился до безумия. Все эти господа протестанты и без того наполовину помешанные. Он звал ее своей женой, своей миледи, целовал ее, хотя она была мраморною. Он говорил, что статуя, чтобы доставить ему удовольствие, каждый вечер оживает. В одно прекрасное утро моего милорда нашли в постели мертвым. И поверите ли? Нашелся другой англичанин, который купил эту статую. Я бы ее пустил на известку.

Когда начинают говорить о сверхъестественном, трудно бывает остановиться. У каждого из нас нашлось что рассказать. Я тоже вложил свою долю в эту коллекцию страшных сказок. Неудивительно, что к тому времени, когда нужно было расходиться, мы все были порядочно взволнованы и прониклись уважением к нечистой силе.

Я отправился домой пешком, и, чтобы выйти на ули-

ну Корсо, свернул в извилистый переулок, по которому еще никогда не ходил. Прохожих не было видно. Тянулись ограды садов, кое-где стояли ветхие домики, из которых ни один не был освещен. Пробило полночь; небо было в тучах. Я шел довольно быстро и прошел уже с пол-улицы, как вдруг над головой у меня раздался шорох, тихое «Ш-ш!», и в ту же минуту к моим ногам упала роза. Я поднял глаза и, несмотря на темноту, разглядел у окна женщину в белом, протянувшую ко мне руку. Нам, французам, везет в чужих землях; отцы наши, покорители Европы, с детства воспитали нас в традициях, лестных для национальной гордости. Я свято верил, что стоит только немке, испанке или итальянке взглянуть на француза, чтобы тотчас в него влюбиться. Одним словом, в то время я всецело разделял предрассудки моей страны, к тому же роза служила явным тому доказательством.

— Сударыня! — сказал я тихо, поднимая розу. — Вы уронили цветок...

Но женщина уже исчезла, и окно закрылось без малейшего шума. Я поступил так, как поступил бы всякий на моем месте. Я отыскал ближайшую дверь (она была в двух шагах от окна) и стал дожидаться, когда ее откроют. Прошло пять минут; полная тишина. Я кашлянул, тихонько постучался; дверь не отворилась. Я стал ее рассматривать более внимательно, надеясь найти ключ или шеколду; к моему величайшему удивлению, я обнаружил на ней висячий замок.

«Ревнивец еще не вернулся домой!» — подумал я. Я поднял камешек и бросил его в окошко. Он стукнулся о деревянную ставню и упал к моим ногам. «Черт возьми! Что же, римские дамы воображают, что всякий носит с собою в кармане веревочную лестницу? Мне не говорили о таком обычае».

Я постоял еще несколько минут, все так же напрасно. Мне только почудилось раза два, что ставни слегка дрогнули, как будто изнутри хотели их приоткрыть, чтобы посмотреть на улицу. Через четверть часа мое терпение истощилось, я закурил сигару и пошел своей дорогой, постаравшись, однако, запомнить местоположение дома с замком на двери.

Обдумывая на другой день это приключение, я пришел к следующему выводу: какая-то молодая римлянка,

вероятно, очень красивая, заметив меня во время моих прогулок по городу, пленилась моими скромными достоинствами. То, что она выразила мне свой пыл только таинственным цветком, объяснялось либо тем, что ее удержала от большего честность и стыдливость, либо тем, что ей помешало присутствие какой-нибудь дуэньи, а может быть — проклятого опекуна, вроде Бартоло, приставленного к Розине. Я решил устроить форменную осаду дома, где обитала эта инфанта.

С этой благородной целью я, сделав себе лихую прическу, вышел из дому. Я надел новый сюртук и желтые перчатки. В таком наряде — шляпа набекрень, увядшая роза в петлице — я направился к улице, названия которой я еще не знал, но которую нашел без труда. Дощечка над мадонной гласила, что зовется она *il vicolo di madama Lucrezia*.

Такое название меня удивило. Я сразу же вспомнил портрет Леонардо да Винчи и истории с таинственными предчувствиями и всякой чертовщиной, которые накануне мы рассказывали у маркизы. Затем я подумал о том, что существует любовь, предопределенная небом. Почему бы предмету моей любви не зваться Лукрецией? Почему бы ей не походить на Лукрецию из галереи Альдобранди?

Было светло, я находился в двух шагах от очаровательной особы, и никакая мрачная мысль не примешивалась к чувствам, которые я испытывал.

Я стоял напротив того дома. На нем значился № 13. Плохое предзнаменование... Увы, дом этот нисколько не соответствовал представлению, которое я о нем себе составил, видя его ночью. Это отнюдь не было палаццо, совсем напротив. Я увидел ограду, потемневшую от времени и поросшую мхом, сквозь щели которой просовывались ветви запущенных плодовых деревьев. В углу сада возвышался маленький двухэтажный домик с двумя окнами на улицу; оба они были закрыты старыми ставнями, снабженными с наружной стороны множеством железных пластинок. На входной двери, очень низкой и украшенной стершимся гербом, висел, как и вчера, огромный замок с цепью. На двери было написано мелом: «Дом продается или отдается внаем».

Однако я не ошибался. Дома с этой стороны улицы были столь редки, что невозможно было смешать этот

дом с другим. Конечно, это был тот самый замок, и, что еще важнее, два лепестка розы, лежавшие на панели около самой двери, с точностью указывали то место, где накануне я получил от моей возлюбленной знак ее чувства, и в то же время свидетельствовали, что панель перед ее домом не подметалась.

Я обратился к каким-то беднякам, жившим по соседству, чтобы узнать, где обитает сторож этого таинственного жилища.

— Он здесь не живет, — был короткий ответ.

Мне показалось, что вопрос мой не понравился тем, кого я спрашивал, и это еще более подстрекнуло мое любопытство. Заходя по очереди во все двери, я наконец очутился в каком-то темном подвале, где сидела старуха, которую можно было принять за колдунью, так как около нее был черный кот и она что-то варила в котле.

— Вам угодно осмотреть дом госпожи Лукреции? — спросила она. — Ключ у меня.

— Отлично. Покажите мне дом.

— Что же, вы хотите его снять? — спросила она недоверчиво усмехаясь.

— Да, если он мне подойдет.

— Он не подойдет вам. Но, если вы мне дадите на чай, я вам его покажу, пожалуй.

— Охотно.

Заручившись моим обещанием, она проворно встала со скамейки, сняла со стены заржавленный ключ и повела меня к дому № 13.

— Почему дом этот называется домом госпожи Лукреции? — спросил я.

Старуха захихикала:

— Почему вы называетесь иностранцем? Не потому ли, что вы иностранец?

— Хорошо, но кто была эта госпожа Лукреция? Какая-нибудь римская матрона?

— Как! Вы приехали в Рим и никогда не слышали о госпоже Лукреции? Когда мы войдем, я вам расскажу ее историю. Но что еще за чертовщина с этим ключом? Я не знаю, что с ним, он не поворачивается. Попробуйте сами.

Действительно, надо полагать, что этот ключ и замок давненько не встречались между собой. Все же, после

того, как я выругался несколько раз и достаточно поскрипел зубами, мне удалось повернуть ключ. Но при этом я разорвал свои желтые перчатки и едва не вывихнул руку. Мы вошли в темный коридор, куда выходил ряд низеньких комнат.

Потолки, занятно разукрашенные, были покрыты паутиной, под которой с трудом можно было разобрать остатки позолоты. Запах плесени во всех комнатах ясно показывал, что в них давно никто не жил. Никакой мебели не было. Ключья старых кожаных обоев свисали с отсыревших стен. Судя по лепке некоторых консолей и по форме каминов, я решил, что дом был выстроен в XV веке и, надо думать, был когда-то обставлен с некоторым изяществом. Окна с мелким переплетом, в которых большая часть стекол была выбита, выходили в сад, где я заметил цветущий розовый куст, несколько плодовых деревьев и большое количество цветной капусты.

Обойдя все комнаты нижнего этажа, я стал подниматься во второй, где я увидел накануне свою незнакомку. Старуха пыталась меня удержать, уверяя, что там нечего смотреть и что лестница в плохом состоянии. Но, видя мое упорство, она пошла за мною следом с явным неудовольствием. Комнаты в этом этаже были очень похожи на нижние, только они были не такими сырыми; потолки и окна тоже были в лучшем состоянии. В последней из комнат, куда я зашел, стояло широкое кресло, обитое черной кожей, и, странное дело, оно не было покрыто пылью. Я сел в него и, найдя, что в нем достаточно удобно слушать, попросил старуху рассказать мне о г-же Лукреции. Но предварительно, чтобы освежить ее память, я дал ей несколько паоло. Она прокашлялась, высморкалась и начала так:

— В языческие времена был император Александр, у него была дочь, прекрасная, как ясный день, которую звали госпожа Лукреция. Да вот взгляните!..

Я быстро обернулся. Старуха показывала мне на консоль, поддерживавшую главную балку зала. Она изображала грубо вылепленную сирену.

— Да,— продолжала старуха,— она любила повеселиться. А так как отцу это могло бы не понравиться, то она выстроила себе вот этот домик, где мы с вами находимся.

Каждую ночь спускалась она с Квиринала и прихо-

дила сюда развлекаться. Садилась у этого окна и, когда по улице проходил какой-нибудь красивый кавалер, вроде вас, сударь, зазывала его. Можете себе представить, как его здесь принимали! Но мужчины болтливы, некоторые из них по крайней мере, и своей болтовней могли ей повредить. И она принимала свои меры. Когда она прощалась со своим милым, на лестнице, по которой мы с вами подымались, уже стояли ее прислужники. Они живо с ним расправлялись, а потом зарывали в этих грядках цветной капусты. Вы не поверите, сколько костей выкопали в этом саду!

Долго она забавлялась таким образом. Но вот как-то раз вечером проходит под окном брат ее, Сикст Тарквиний. Она не узнала его. Заывает к себе. Он подымается. Ночью ведь все кошки серы. И с ним случилось то же, что со всеми. Но он оставил у нее свой носовой платок, на котором было вышито его имя.

Как только узнала она, какое злое дело они совершили, ее охватило отчаяние. Она сняла подвязку и повесилась вот на той балке. Хороший пример для молодежи!

Покуда старуха путала таким образом все эпохи, соединяя Тарквиниев с Борджа, я не сводил глаз с поля. Я заметил на нем несколько совершенно свежих розовых лепестков, и они навели меня на размышления.

— А кто ходит за садом? — спросил я старуху.

— Мой сын, сударь, садовник господина Ванюцци, у которого сад рядом. Господин Ванюцци все время проводит в Мареммах и почти не бывает в Риме. Потому-то и сад немного запущен. Мой сын всегда с ним. Боюсь, не скоро они вернутся,— прибавила она со вздохом.

— Он очень занят у господина Ванюцци?

— Ах, господин Ванюцци странный человек! Не поймешь, чем они занимаются... Боюсь, что не обходится тут без темных дел... Бедный мой сын!

Она сделала шаг к выходу, словно желая прекратить разговор.

— Значит, здесь никто не живет? — спросил я, останавливая ее.

— Ни живой души.

— А почему?

Она пожала плечами.

— Послушайте,— сказал я, протягивая ей пиастр,— скажите правду. Сюда приходит женщина?

— Женщина? Помилуй бог!

— Да, я вчера вечером видел ее, даже разговаривал с ней.

— — Матерь божия! — воскликнула старуха, бросившись к лестнице. — Значит, это была госпожа Лукреция! Пойдемте скорей отсюда, мой добрый господин! Мне говорили, что она бродит тут по ночам, только я не хотела вам этого рассказывать, чтобы не повредить интересам моего хозяина; я думала, вы хотите снять этот дом.

Я не в силах был ее удержать. Старуха, по ее словам, спешила поставить свечку в ближайшей церкви.

Я тоже вышел и отпустил ее, потеряв надежду узнать от нее что-нибудь еще.

Само собой разумеется, в палатцу Альдобранди я ничего не рассказал о своем приключении: маркиза была слишком добродетельна для таких разговоров, а дон Оттавио настолько был занят политикой, что едва ли мог бы дать мне какой-нибудь совет в любовной интриге. Но я посетил своего приятеля художника, знавшего в Риме всю подноготную, и спросил его, что он обо всем этом думает.

— Я полагаю, — заметил он, — что вам явился призрак Лукреции Борджа. Какой ужасной опасности вы подвергались! Если она и при жизни была опасной женщиной, то какой же она стала после смерти! Страшно подумать!

— Нет, шулки в сторону, что бы это могло значить?

— Сразу видно, что вы атеист, философ и для вас нет ничего святого. Отлично. В таком случае, что вы скажете о следующей гипотезе? Предположим, что старуха предоставляет свой дом женщинам, способным зазывать к себе прохожих с улицы. Бывают такие безправственные старухи, которые занимаются подобным ремеслом.

— Отлично, — возразил я, — но почему же в таком случае старуха не предложила мне своих услуг? Неужели я похож на святошу? Это даже обидно. А потом, мой друг, вспомните, какая обстановка в этом доме. Надо дойти до последней крайности, чтобы удовлетвориться ею...

— Тогда это — привидение, не сомневайтесь в этом. Постойте, еще одна гипотеза: вы ошиблись домом. Черт возьми, дайте подумать: около сада? Маленькая низень-

кая дверь? Ну, так это моя добрая приятельница Розина. Года полтора тому назад, она была украшением этой улицы. Правда, она с тех пор окривела, но это пустяк... Она еще очень недурна в профиль.

Но ни одно из этих объяснений меня не удовлетворило. Когда наступил вечер, я медленно прошел мимо дома Лукреции. Никаких признаков жизни. Прошел еще раз — опять ничего. Три или четыре вечера подряд, возвращаясь на палаццо Альдобранди, я караулил под окнами моей незнакомки без всякого успеха. Я начал уже забывать таинственную обитательницу дома № 13, как вдруг, проходя однажды около полуночи по переулку, я явственно услышал женский смех за ставнями того окна, у которого появилась женщина, подарившая мне цветок. Я еще раз услышал женский смех и никак не мог подавить в себе чувство ужаса, когда в ту же минуту увидел, как в другом конце улицы показалась группа кающихся в капюшонах, со свечами в руках, провожавшая на кладбище покойника. Когда они прошли мимо, я снова занял свой сторожевой пост под окном, но ничего больше не услышал. Я пробовал бросать камешки, даже звал несколько раз вполне отчетливо, — никто не показывался. Разразившийся ливень заставил меня удалиться.

Мне стыдно признаться, сколько раз я останавливался около этого проклятого дома, не будучи в состоянии разрешить мучившую меня загадку. Случилось однажды так, что я проходил по переулку г-жи Лукреции с дон Оттавио и его неотлучным аббатом.

— Вот дом Лукреции, — сказал я.

Я заметил, что дон Оттавио изменился в лице.

— Да, — ответил он. — Согласно народному преданию, очень недостоверному, Лукреция Борджа избрала этот дом местом своих тайных развлечений. Если бы эти стены могли говорить, сколько ужасов они бы нам поведали! А между тем, друг мой, сравнивая тогдашние времена с нашими, я начинаю сожалеть о них. При Александре Шестом еще были римляне. Сейчас их больше нет. Цезарь Борджа был чудовище, но он был великий человек. Он хотел изгнать варваров из Италии, и, проживи его отец дольше, ему бы, может быть, удалось осуществить этот великий замысел. О, если бы небо послало нам тирана вроде Борджа и освободило нас от

этих мелких деспотов, которые превращают нас в тупых скотов!

Когда дон Оттавио пускался в область политики, остановить его было невозможно. Мы дошли до Пьяцца дель Пополо, а он еще не кончил своего панегирика просвещенному деспотизму. Про меня и мою Лукрецию не было уже и помину.

Однажды поздно вечером я пошел навестить маркизу. Она сказала мне, что ее сыну нездоровится, и попросила пройти к нему в комнату. Он лежал на кровати одетый и читал французскую газету, которую я утром переслал ему, тщательно запрятав ее в том «отцов церкви». С некоторых пор творения отцов церкви служили нам для подобных посылок, которые следовало скрывать от аббата и маркизы. В дни, когда приходила почта из Франции, мне присылали большой том ин-фоллио. Я отсылал в обмен другой, в который вкладывал газету, полученную от секретаря посольства. Это внушало самое высокое представление о моем благочестии маркизе и ее духовнику, который иногда пытался вызвать меня на богословские собеседования.

Поболтав некоторое время с допом Оттавио, я заметил, что он был очень взволнован и что даже политика не могла поглотить его внимание. Я посоветовал ему лечь в постель и попрощался с ним. Было холодно, а плаща я не захватил с собой. Дон Оттавио стал упрашивать меня взять его плащ. Я согласился, но попросил научить меня сложному искусству закутываться в плащ, как это делают истые римляне.

Завернувшись в плащ до самого носа, я вышел из палаццо Альдобранди. Не успел я сделать несколько шагов по тротуару площади св. Марка, как какой-то человек из простонародья, сидевший у ворот палаццо, подошел ко мне и сунул скомканную бумажку.

— Ради бога, прочтите,— сказал он.

Затем он пустился бежать со всех ног и скрылся.

Держа бумажку в руках, я стал искать место посветлее, чтобы прочитать ее. При свете лампадки, зажженной перед мадонной, я увидел, что это была записка, написанная карандашом и, очевидно, дрожащей рукой. Я с трудом разобрал следующее:

«Не приходи сегодня вечером, иначе мы погибли!

Известно все, кроме твоего имени: Ничто не сможет нас разлучить. Твоя Лукреция».

— Лукреция! — воскликнул я. — Опять Лукреция! Что за мистификация подо всем этим скрывается? «Не приходи». Но, милая моя, как найти к вам дорогу?

Погрузившись в глубокое раздумье по поводу этой записки, я машинально свернул в переулок г-жи Лукреции и вскоре очутился напротив дома № 13.

На улице, как и всегда, никого не было, и только звук моих шагов нарушал глубокую тишину, царившую кругом. Я остановился и посмотрел на окно, так хорошо мне знакомое. Нет, я не ошибался: ставня начала приоткрываться. Наконец окно распахнулось. Мне показалось, что на темном фоне комнаты обрисовалась человеческая фигура.

— Лукреция! Это вы? — спросил я вполголоса.

Мне не ответили, но я услышал какое-то щелканье, причины которого я сначала не понял.

— Лукреция! Это вы? — снова спросил я немного громче.

В то же мгновение меня что-то страшно ударило в грудь, раздался выстрел, и я упал на мостовую. Хриплый голос мне крикнул:

— Вот тебе от госпожи Лукреции!

И ставня бесшумно затворилась.

Я тотчас же, шатаясь, поднялся и прежде всего стал себя ощупывать, полагая, что найду большую дыру в животе. Плащ был пробит, платье тоже, но удар пули был ослаблен складками плаща, так что я отделался только контузией.

Мне пришло в голову, что за первым выстрелом может последовать второй, и я поскорей перебрался на ту сторону улицы, где находился негостеприимный дом, и начал красться вдоль стен, чтобы в меня не могли целиться.

Я шел как мог быстрее, едва переводя дух, но вдруг какой-то человек, который шел сзади, взял меня за руку и с участием осведомился, не ранен ли я.

По голосу я узнал дона Оттавио. Как ни сильно я был удивлен, увидев его одного в такой час ночи на улице, расспрашивать было не время. В двух словах я сообщил ему, что в меня стреляли из какого-то окна и что я только получил ушиб.

— Это было недоразумение! — воскликнул он. — Но я слышу — сюда идут люди. В состоянии ли вы идти? Я погиб, если нас с вами застанут вместе. Все-таки я не оставляю вас.

Он взял меня за руку и быстро повел. Мы шли, или, лучше сказать, бежали, покуда мне позволяли силы, но вскоре я вынужден был присесть на уличную тумбу, чтобы перевести дыхание.

К счастью, мы находились неподалеку от большого дома, где давали бал. У подъезда его стояло множество карет. Дон Оттавио договорился с кучером одной из них, усадил меня в карету и отвез в мою гостиницу. Выпив большой стакан воды, который меня окончательно привел в себя, я рассказал дону Оттавио во всех подробностях, что произошло со мной у этого рокового дома, начиная с подаренной розы и кончая свинцовой пулей.

Он слушал меня, опустив голову и полузакрыв лицо руками. Когда я показал ему полученную мной записку, он схватил ее, с жадностью прочел и снова воскликнул:

— Это — недоразумение, ужасное недоразумение!

— Согласитесь, мой друг, — сказал я, — что оно крайне неприятно для меня, да и для вас тоже. Меня едва не убили, а ваш прекрасный плащ продырявили в десяти или двенадцати местах. Черт возьми! И ревнивы же ваши соотечественники!

Дон Оттавио пожал мне руки с огорченным видом и еще раз перечел записку, ничего не отвечая.

— Объясните же мне, что тут происходит, — сказал я ему. — Черт бы меня побрал, если я хоть что-нибудь понимаю.

Он пожал плечами.

— Скажите по крайней мере, что мне делать? — продолжал я. — К кому я должен обратиться в вашем священном городе, чтобы привлечь к ответственности этого господина, который подстреливает прохожих, даже не справляясь об их имени? Признаться, я был бы очень рад послать его на виселицу.

— Боже вас упаси! — вскричал он. — Вы не знаете этой страны. Не говорите никому ни слова о том, что с вами случилось. Иначе вы себя подвергнете большой опасности.

— Как! Подвергну себя опасности? Ну нет! Я очень рассчитываю получить реванш. Если бы еще я оскорбил

этого негодая, тогда другое дело... Но только за то, что я поднял розу... По совести, я не заслуживал пули.

— Предоставьте действовать мне,— сказал дон Оттавио.— Может быть, мне удастся разъяснить эту тайну. Но я убедительно прошу вас, во имя вашей дружбы ко мне,— не говорите об этом ни одной живой душе! Обещаете?

У него был такой печальный вид, и он так меня умолял, что у меня не хватило духу отказать ему, и я обещал ему все, о чем он просил. Он горячо поблагодарил меня, сам положил мне на грудь компресс с одеколоном, пожал мне руку и простился.

— Кстати,— спросил я его, когда он уже отворил дверь, чтобы выйти,— объясните мне, пожалуйста, как вы очутились как раз там, чтобы прийти мне на помощь?

— Я услышал ружейный выстрел,— ответил он не без смущения,— и тотчас же выбежал из дому, испугавшись, не случилось ли с вами какого несчастья.

И он быстро ушел, еще раз попросив меня держать все в тайне.

Наутро меня посетил хирург, присланный, без сомнения, доном Оттавио. Он прописал мне припарку, но не спрашивал о причине того, что к лилейному цвету моего лица примешались фиалковые тона. В Риме принято быть скромным, и я решил не отступать от общего правила.

Прошло несколько дней, а я все никак не мог на свободе поговорить с доном Оттавио. Он был чем-то озабочен, еще более мрачен, чем обычно, а кроме того, казалось, избегал вопросов с моей стороны. В те редкие минуты, что я проводил с ним, он ни словом не обмолвился о странных обитателях *vicolo di madama Lucrezia*. Приближался срок его рукоположения, и я объяснял его меланхолию отвращением к профессии, которой он был вынужден отдаться.

Я готовился покинуть Рим и отправиться во Флоренцию. Когда я объявил о своем отъезде маркизе Альдобранди, дон Оттавио попросил меня под каким-то предлогом зайти к нему в комнату.

Там он взял меня за обе руки и сказал:

— Дорогой друг мой! Если вы не окажете мне услуги, о которой я вас попрошу, я непременно застрелюсь, потому что у меня нет другого способа выйти из тяжело-

го положения, в которое я попал. Я твердо решил никогда не облачаться в мерзкую одежду, которую меня заставляют надеть. Я хочу бежать из этой страны. Просьба моя к вам — взять меня с собою. Вы выдадите меня за вашего слугу. Достаточно простой приписки к вашему паспорту, чтобы облегчить мне бегство.

Сначала я пробовал отговорить его, указывая на то, какое огорчение он этим доставит матери, но так как он был непоколебим в своем решении, я в конце концов обещал взять его с собой, вписав его в мой паспорт.

— Это еще не все,— сказал он.— Мой отъезд зависит от успеха одного предприятия, в которое я замешан. Вы собираетесь ехать послезавтра. К этому дню, может быть, мне удастся успешно закончить мое дело, и тогда я буду к вашим услугам.

— Неужели вы настолько безумны,— спросил я не без некоторой тревоги,— что дали себя втянуть в какой-нибудь заговор?

— Нет,— ответил он,— дело идет о вопросе менее важном, чем судьба моей родины, однако достаточно важном для того, чтобы от успеха или неуспеха этого предприятия зависели моя жизнь и мое счастье. Сейчас я не могу вам больше ничего сказать. Через два дня вы все узнаете.

Я уже начал привыкать ко всяким тайнам и потому принял это безропотно. Мы условились, что выедем в три часа утра и остановимся не раньше, чем вступив на территорию Тосканы.

Решив, что не стоит ложиться спать, если мы задумали выехать так рано, я в последний вечер, который мне оставалось провести в Риме, посетил дома, где я был принят. Я зашел и к маркизе, чтобы проститься с нею и пожать официально, для проформы руку ее сыну. Я почувствовал, как его рука дрожала при рукопожатии. Он мне шепнул:

— В эту минуту моя жизнь разыгрывается в «орла или решку». В гостинице вас ждет письмо от меня. Если ровно в три часа меня у вас не будет, не ждите меня.

Меня поразило, как он осунулся, но я приписал это вполне понятному волнению в момент, когда он расстался, быть может, навсегда со своей семьей.

Около часа пополудни я пошел домой. Мне захотелось еще раз пройти по *vicolo di madama Lucrezia*. Что-

то белое свешивалось из окна, в котором предстали мне два столь различных видения. Я осторожно приблизился. Это была веревка с узлами. Означало ли это приглашение зайти проститься с синьорой? Похоже было на то, и искушение было сильное. Однако я не поддался ему, вспомнив обещание, данное дону Оттавио, а также, должен сказать, и нелюбезный прием, который несколько дней тому назад встретила гораздо менее дерзкая попытка с моей стороны.

Я прошел мимо, но удалялся очень медленно, сожалея, что теряю последний случай проникнуть в тайну дома № 13. После каждого шага я оборачивался, всякий раз надеясь увидеть фигуру, спускающуюся или поднимающуюся по веревке. Никто не показывался. Я дошел до конца переулочка и уже выходил на Корсо.

— Прощайте, госпожа Лукреция! — сказал я, снимая шляпу и кланяясь дому, который был еще виден. — Ищите кого-нибудь другого, кто бы отомстил ревнивцу за то, что он держит вас взаперти.

Пробило два часа, когда я вернулся в свою гостиницу. Карета была уже во дворе, нагруженная моими вещами. Один из лакеев гостиницы передал мне письмо. Оно было от донна Оттавио. Так как оно показалось мне длинным, я подумал, что лучше прочитать его у себя в комнате, и попросил лакея мне посветить.

— Сударь! — сказал он. — Ваш слуга, о котором вы нам говорили, тот, что должен с вами ехать...

— Так что же, он здесь?

— Нет еще...

— Он на почтовой станции, он пошел за лошадьми.

— Сударь! Только что пришла дама, которая желает поговорить с вашим слугою. Она захотела непременно пройти к вам и поручила мне передать вашему слуге, как только он явится, что госпожа Лукреция находится в вашей комнате.

— В моей комнате? — вскричал я, хватаясь за перила лестницы.

— Да, сударь. И, по-видимому, она тоже едет, так как передала мне небольшой сверток; я положил его на крышу кареты.

Сердце у меня сильно забилося. Какой-то суеверный страх, смешанный с любопытством, овладел мною. Я поднялся по лестнице, осторожно шагая по ступенькам.

На площадке второго этажа лакей, шедший впереди меня, оступись, и свеча, которую он нес в руке, упала и погасла. Он стал на все лады извиняться и пошел вниз, чтобы снова зажечь ее. Я между тем продолжал подыматься.

Уже я взялся за ручку моей двери. Я колебался. Какое новое видение предстанет мне? История «окровавленной монахини» не раз приходила мне на память, пока я шел в темноте. Может быть, и я нахожусь во власти дьявола, как дон Алонсо? Мне казалось, что лакей ужасно долго не идет.

Я открыл дверь. Слава богу! В моей спальне горел свет. Я быстро прошел маленькую гостиную перед спальней. С первого взгляда я убедился, что в спальне никого нет. Но сейчас же я услышал позади себя легкие шаги и шорох платья. Мне показалось, что у меня волосы встали дыбом. Я быстро обернулся.

Женщина, вся в белом, с черной мантилей на голове, приближалась ко мне с раскрытыми объятиями.

— Наконец-то, мой возлюбленный! — воскликнула она, хватая меня за руку.

Ее рука была холодна, как лед, а на лице — смертельная бледность. Я отступил к стене.

— Пресвятая дева! Это не он!.. Ах, сударь! Вы друг дона Оттавио?

Эти слова объяснили мне все. Молодая женщина, несмотря на свою бледность, отнюдь не походила на привидение. Она опускала глаза, чего привидения никогда не делают, и руки ее были сложены скромно у пояса. Я понял, что мой друг дон Оттавио не такой уж тонкий политик, каким я его считал. Короче сказать, пора было похитить Лукрецию, и, к несчастью, во всем этом приключении на мою долю выпала только роль наперсника.

Мгновенье спустя явился дон Оттавио; он был переодет. Привели лошадей, и мы двинулись в путь. У Лукреции не было паспорта, но женщина, да еще красивая, не внушает подозрений. Однако один из жандармов стал придирааться. Я сказал ему, что он храбрец и, наверно, служил при великом Наполеоне. Он подтвердил это. Я подарил ему портрет этого великого человека в золотой рамке и сказал, что имею привычку брать с собою в путешествие, чтобы не было скучно, какую-нибудь

lipica¹, но ввиду того, что я их меняю довольно часто, я считаю излишним прописывать их в своем паспорте.

— Эта,— прибавил я,— едет со мною до ближайшего города. Там, говорят, я могу найти другую, не хуже ее.

— Менять не стоит,— отвечал жандарм, почтительно закрывая дверцы кареты.

Если вам угодно знать, сударыня, негодный дон Оттавио познакомился с этой прелестной особой, сестрой некоего Ванощи, богатого земледельца, бывшего на плохом счету из-за его легких связей с либералами и очень серьезных — с контрабандистами. Дону Оттавио было отлично известно, что, если бы даже его семейство и не предназначало его для духовного поприща, оно никогда не позволило бы ему жениться на девушке столь неравного положения.

Любовь изобретательна. Ученику аббата Негрони удалось завязать тайные сношения со своей возлюбленной. Каждую ночь он ускользал из палатцы Альдобранди и, не уверенный в том, что сможет влезть с улицы через окно в дом Ванощи, виделся со своей милой в доме г-жи Лукреции, дурная слава которого обеспечивала им безопасность. Маленькая калитка, прикрытая фиговым деревом, соединяла оба сада. Будучи молоды и влюблены, Лукреция и Оттавио не жаловались на скудость мебелировки, которая, как я уже говорил, сводилась к одному старому кожаному креслу.

Однажды вечером, поджидая дону Оттавио, Лукреция приняла меня за него и бросила мне розу, о чем я уже рассказывал. Правда, ростом и фигурой я был похож на дону Оттавио, и сплетники, знавшие моего отца в Риме, говорили, что для этого были основания. Случилось, что брат, будь он проклят, узнал об этой интриге, но, несмотря на его угрозы, Лукреция не сказала ему имени ее соблазнителя. Вы уже знаете, какова была его месть и как я чуть было не расплатился за всех. Излишне также рассказывать о том, как влюбленные ускользнули каждый из своего дома.

Заключение. Мы все трое добрались до Флоренции. Дон Оттавио обвенчался с Лукрецией и тотчас же уехал с нею в Париж. Отец мой принял его так же, как я был принят маркизой. Он взялся примирить его с матерью, и

¹ Подругу (итал.).

ему, хоть и не без труда, удалось этого достигнуть. Маркиз Альдобранди весьма кстати заболел болотной лихорадкой и умер. Дон Оттавио унаследовал его титул и состояние, и я был крестным отцом его первенца.

ЛОКИС

(Рукопись профессора Виттенбаха)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Будьте добры, Теодор, — сказал профессор Виттенбах, — дайте мне тетрадку в пергаментном переплете со второй полки, над письменным столом, нет, не эту, а маленькую, в восьмушку. Я собрал в нее все заметки из своего дневника за 1866 год, по крайней мере все то, что относится к графу Шемету.

Профессор надел очки и среди глубокого молчания прочел следующее:

ЛОКИС

с литовской пословицей в качестве эпитафии:

Miszka su Lokiu
Abu du lokiu¹.

Когда в Лондоне появился первый перевод на литовский язык Священного писания, я поместил в *Кенигсбергской научно-литературной газете* статью, в которой, отдавая должное работе ученого переводчика и благочестивым намерениям Библейского общества, я счел долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а кроме того, указал, что перевод этот может быть пригоден для одной только части литовского народа. Действительно, диалект, который применил переводчик, с большим трудом понимают жители областей, говорящие на *жолантском* языке, в просторечии именуемом *жмудским*. Я имею в виду Самогитский палатинат, язык которого,

¹ Два сапога — пара; дословно: Мишка и Локис — одно и то же. Michaelium cum Lokide ambo(duc) insissimi. (Прим. автора.).

может быть, еще более приближается к санскриту, чем юрхнелитовский. Замечание это, несмотря на яростную критику со стороны одного весьма известного профессора Дерптского университета, открыло глаза почтенным членам совета Библейского общества, которое не замедлило прислать мне лестное предложение принять на себя руководство изданием Евангелия от Матфея на самогитском наречии. В то время я был так занят изысканиями в области зауральских языков, что предпринять работу в более широком масштабе, которая охватила бы все четыре Евангелия, я не мог. Итак, отложив женитьбу на моей невесте Гертруде Вебер, я отправился в Ковно с намерением собрать все лингвистические памятники жмудского языка, печатные и рукописные, какие только мне удалось бы достать, не пренебрегая, разумеется, также и народными песнями — *dainos*, равно как и сказками и легендами — *pasakos*. Все это должно было дать мне материалы для составления жмудского словаря — работа, которая неизбежно должна была предшествовать самому переводу.

Я имел с собой рекомендательное письмо к молодому графу Михаилу Шемету, отец которого, как меня уверяли, обладал знаменитым *Catechismus Samogiticus*, отца Лавицкого, книгой столь редкой, что самое существование ее оспаривалось упомянутым мною выше дерптским профессором. В его библиотеке, согласно собранным мною сведениям, находилось старинное собрание *dainos*, а также поэтических памятников на древнепрусском языке. Я написал письмо графу Шемету, чтобы объяснить цель моего посещения, и получил от него крайне любезное приглашение провести в его замке Мединтильтасе столько времени, сколько потребно будет для моих разысканий. Письмо свое он заканчивал уверением, изложенным в самой приветливой форме, что сам он может похвалиться умением говорить по-жмудски не хуже его крестьян и что он был бы счастлив присоединить и свои старания к моим в предприятии, которое он называл *великим* и увлекательным. Подобно некоторым другим наиболее богатым землевладельцам в Литве, он исповедовал евангелическое вероучение, священнослужителем которого я имею честь состоять. Меня предупреждали, что граф не лишен некоторых странностей, но, впрочем, весьма гостеприимный хозяин, любитель наук и искусств

и особенно внимателен к лицам, которые ими занимают-ся. Итак, я отправился в Медитилтас.

У подъезда замка меня встретил графский управитель и тотчас же проводил меня в приготовленную для меня комнату.

— Его сиятельство, — сказал он мне, — крайне со-жалеет, что не может сегодня отобедать вместе с госпо-дином профессором. У него один из приступов мигрени, которой он, к сожалению, часто болеет. Если господину профессору не угодно откушать у себя в комнате, он мо-жет пообедать с господином Фребером, доктором графини. Обед — через час; к столу не переодеваются. Если господину профессору что-нибудь понадобится, вот зво-нок.

И он удалился, отвесив глубокий поклон.

Моя комната была просторна, хорошо обставлена, украшена зеркалами и позолотой. С одной стороны окна выходили в замковый сад или, лучше сказать, парк, с другой — в широкий парадный двор. Несмотря на пре-дупреждение, что к столу не переодеваются, я счел не-обходимым вынуть из чемодана свой черный фрак. Оставшись в одном жилете, я занялся разборкой своего легкого багажа, как вдруг стук колес привлек меня к окну, выходящему во двор. Туда только что въехала пре-красная коляска. В ней сидели дама в черном, какой-то господин и еще одна женщина, одетая как литовская крестьянка, столь рослая и крупная на вид, что я сначала готов был принять ее за переодетого мужчину. Она вы-шла первой; две другие женщины, по виду не менее креп-кие, стояли уже на крыльце. Господин поклонился к даме в черном и, к крайнему моему удивлению, отстег-нул широкий ремеш, которым она была прикреплена к своему месту в коляске. Я заметил, что волосы у этой дамы, длинные и седые, были растрепаны, а широко рас-крытые глаза безжизненны: ее можно было принять за восковую фигуру. Отвязав свою спутницу, господин снял перед ней шляпу и весьма почтительно сказал ей не-сколько слов, но она, по-видимому, не обратила на них ни малейшего внимания. Тогда он повернулся к служан-кам и едва заметно кивнул им головой. Три женщины тотчас же схватили даму в черном и, несмотря на то, что она изо всех сил цеплялась за коляску, подняли ее,

как перышко, и внесли в дом. Кучка домовой челяди наблюдала эту сцену и, казалось, не видела в ней ничего необыкновенного.

Человек, руководивший всеми этими действиями, вынул часы и спросил, скоро ли будет обед.

— Через четверть часа, господин доктор, — ответили ему.

Мне нетрудно было догадаться, что передо мною был доктор Фребер, а дама в черном была графиня. По ее возрасту я заключил, что она приходится матерью графу Шемету, а предосторожности, принятые по отношению к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее был поврежден.

Через несколько минут доктор вошел в мою комнату.

— Графу нездоровится, — сказал он мне, — и потому я должен сам представиться господину профессору. Доктор Фребер, ваш покорный слуга. Мне чрезвычайно приятно лично познакомиться с ученым, заслуги которого известны всем читателям *Кенигсбергской научно-литературной газеты*. Угодно вам будет, чтобы подавали на стол?

Я ответил любезностью на любезность, прибавив, что, если время садиться за стол, я готов.

Когда мы вошли в столовую, дворецкий по северному обычаю поднес нам серебряный поднос, уставленный водками и солеными, очень острыми закусками для возбуждения аппетита.

— Разрешите мне в качестве врача, профессор, — обратился ко мне доктор, — рекомендовать вам стаканчик вот этой старки сорокалетней выдержки. Попробуйте: настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возьмите дронтхеймский анчоус; ничто так не прочищает и не расширяет пищевод, а ведь это один из важнейших органов нашего тела... А теперь — за стол. Отчего бы нам не разговаривать по-немецки? Вы из Кенигсберга, а я хоть и из Мемеля, но учился в Иене. Таким образом, мы не будем стеснены, так как прислуга, знающая только по-польски и по-русски, не будет нас понимать.

Сначала мы ели молча, но после первого стакана мадеры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются болезненные припадки, лишившие нас сегодня его общества.

— И да, и нет, — ответил доктор, — это зависит от того, куда он ездит.

— Как так?

— Если, например, он ездит по Россиенской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении.

— Мне случалось ездить в Россиены, и со мной ничего подобного не бывало.

— Это, профессор, объясняется тем, что вы не влюблены, — ответил мне доктор со смехом.

Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер.

— Значит, — сказал я, — невеста графа живет в Россиенах?

— Да, в окрестностях. Невеста?.. Не знаю, невеста ли. Злостная кокетка! Она доведет его до того, что он потеряет рассудок, как его мать.

— А в самом деле, кажется, графиня... не совсем здорова.

— Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшедшая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда.

— Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей рассудок.

Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке.

— Надо вам сказать, профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку. Под Севастополем нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не говорю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, где я ем и пью как нельзя лучше, живу как князь, а жалование мне платят, словно лейб-медику... Но свобода, мой дорогой профессор, — вот чего мне недостает. С этой чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе!

— И давно она на вашем попечении?

— Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей мере двадцать семь лет тому назад, еще до рождения графа. Разве вам не рассказывали об этом в Россиенах или в Ковно? Ну так послушайте. Это редкий случай. Я хочу поместить о нем статью в *Санкт-Петербургском медицинском журнале*. Она помешалась от страха...

— От страха? Как это могло быть?

— От страха, который она испытала. Она из рода

Кейстутов. О, в семье наших хозяев не терпят неравных браков! Как же, мы ведем свой род от Гедимина!... Так вот, профессор, через два или три дня после свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы с вами обедаем (ваше здоровье!), граф, отец нынешнего, отправился на охоту. Наши литовские дамы — амазонки, как вам известно. Графиня тоже едет на охоту... Опережает она ловчих или отстает от них, этого я вам не могу сказать наверное... Но только вдруг граф видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет двенадцати-четырнадцати. «Ваше сиятельство! — кричит он. — Медведь утащил графиню!» — «Где?» — спрашивает граф. «Вон там», — отвечает казачок. Все мчатся к указанному месту: графини нет! Тут лежит ее задушенная лошадь, там — шубка графини, разорванная в клочья. Ищут, обшаривают весь лес. Наконец кто-то из ловчих кричит: «Вон медведь!» И правда, через поляну шел медведь, волоча графиню. Наверное, он хотел затащить ее в чашу и там сожрать без помехи. Ведь эти животные — лакомки; они, как монахи, любят пообедать спокойно. Граф, всего два дня как повенчанный, поступил как рыцарь: он хотел броситься на медведя с охотничьим ножом, но, дорогой мой профессор, литовский медведь не олень, он не дастся простому ножу. К счастью, графский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напившийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил из своего карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля: в зверя или в женщину...

— И уложил медведя?

— Наповал. Только пьяницам удаются такие выстрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их по сходной цене... Графиня была вся покрыта ссадинами, без сознания, разумеется; одна нога у нее была сломана. Ее привезли домой, она пришла в себя, но рассудок ее покинул. Ее стезли в Санкт-Петербург. Созвали консультацию — четыре доктора, увешанные орденами. Они говорят: «Графиня — в положении; весьма вероятно, что разрешение от бремени повлечет за собою благоприятный перелом». Предписали свежий воздух, жизнь в деревне, сыворотку, коденн... Каждый получил по сто рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового

мальчика... Но где же благоприятный перелом? Как бы не так!.. Буйство ее усилилось. Граф показывает ей ребенка. Это всегда производит неотразимое впечатление... в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» — кричит она. Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуются то идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее привязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее. А между тем, профессор, благоволиите обратить внимание на следующее обстоятельство. Никакими угрозами я не мог добиться от нее повиновения; есть только одно средство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут волосы... Вероятно, в молодости у нее были чудные косы. Кокетство — вот единственное человеческое чувство, которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне предоставили право поступать с ней по моему благоусмотрению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее.

— Какое же?

— Побой. Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие — *кликушество*¹; одна начнет выкликать, за ней — другая, через три дня все бабы в деревне — *кликуши*. Только побоями я их и вылечил. (Возьмите рябчика, они очень нежны.) Граф так и не позволил мне попробовать.

— Как? Вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?

— Ну, ведь он почти не знает своей матери, а потом — это было бы для ее блага. Но признайтесь, профессор: вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума?

— Положение графини было ужасно... Очутиться в лапах такого свирепого зверя!

— А сын — не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и благодаря своему хладнокровию вышел из него невредимым.

— Из когтей медведя?

— Медведицы, притом такой огромной, каких давно не выдвали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут-то было; ударом лапы она откинула рогатину, схватила

¹ По-русски сумасшедших называют кликушами — от слова клик: вопль, вой. (Прим. автора.).

графа и повалила его на землю так же легко, как я опрокинул бы эту бутылку. Но, не будь глуп, он притворился мертвым... Медведица понюхала его, понюхала, а потом, вместо того чтобы растерзать, лизнула. У него хватило присутствия духа не шелохнуться — и она пошла прочь своей дорогой.

— Медведица приняла его за мертвого. Говорят, что эти звери не трогают трупов.

— Нужно этому верить на слово и воздерживаться от проверки на личном опыте. Но, кстати, о страхе, позвольте мне рассказать одну севастопольскую историю. Мы сидели впятером или вшестером за кувшином пива, позади походного лазарета славного пятого бастиона. Караульный кричит: «Бомба!» Все мы бросились плашмя наземь... впрочем, не все: один из нас по имени... ну, да не к чему его называть... один молодой офицер, только что к нам прибывший, остался на ногах, с полным стаканом в руке, как раз в тот момент, когда бомба разорвалась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному Андрею Сперанскому, славному малому, и разбила кувшин; к счастью, он был почти пуст. После взрыва мы поднялись и увидели в дыму нашего товарища, который допивал последний глоток пива как ни в чем не бывало. Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю капитана Гедеонова, только что выписавшегося из лазарета. Он говорит мне: «Я обедаю сегодня с вами и, чтобы отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампанское». Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. Около него откупоривают бутылку... Паф! Пробка летит прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался, а если продолжал тянуть пиво, вместо того, чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себе отчета. В самом деле, профессор, машина, называемая человеком...

— Господин доктор! — сказал вошедший в залу слуга. — Жданова говорит, что ее сиятельство не желают кушать.

— Черт бы ее подрал! — заворчал доктор. — Иду... Сейчас я накормлю мою чертовку, профессор, а потом,

если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыграть с вами в преферанс или в дурачка.

Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что не умею играть в карты; и когда он отправился к своей больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо мадемуазель Гертруде.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь была теплая, и я оставил открытым окно, выходящее в парк. Написав письмо и не чувствуя еще никакой охоты спать, я стал снова пересматривать литовские неправильные глаголы, стараясь в санскрите найти причины их различных неправильностей. Я с головой ушел в эту работу; как вдруг заметил, что кто-то с силой потряс одно из деревьев около моего окна. Послышался треск сухих веток, и мне почудилось, будто какое-то очень тяжелое животное пытается взобраться на дерево. Под живым впечатлением рассказов доктора о медведях я поднялся не без некоторой тревоги и в нескольких шагах от окна, в листве дерева, увидел человеческое лицо, ярко освещенное моей лампой. Явление это продолжалось один момент, но необыкновенный блеск глаз, с которыми встретился мой взгляд, поразил меня несказанно. Я невольно откинулся назад, потом подбежал к окну и строго спросил непрошеного гостя, что ему нужно. Но он тем временем уже начал торопливо спускаться с дерева; ухватившись за толстую ветку, он повиснул на мгновение в воздухе, затем соскочил на землю и тотчас же скрылся. Я позвонил; вошел слуга. Я рассказал ему о случившемся.

— Господину профессору, наверно, почудилось.

— Нет, я уверен в том, что говорю,— возразил я.— Боюсь, не забрался ли в парк вор.

— Этого не может быть, сударь.

— Тогда это кто-нибудь из обитателей замка?

Слуга широко раскрыл глаза и ничего не ответил. Наконец он спросил, не будет ли каких приказаний. Я велел ему затворить окно и лег в постель.

Спал я очень крепко и не видел во сне ни воров, ни медведей. Я заканчивал свой утренний туалет, когда в дверь постучали. Отворив дверь, я увидел перед собой

рослого и красивого молодого человека в бухарском халате, с длинной турецкой трубкой в руке.

— Я пришел извиниться, профессор, — сказал он, — за плохой прием, оказанный мною такому почтенному гостю. Я — граф Шемет.

Я поспешил ответить, что, напротив, могу только поблагодарить его почтительнейшим образом за его великодушное гостеприимство, и спросил, избавился ли он от своей мигрени.

— Почти что, — ответил он и прибавил с печальным выражением лица: — До следующего приступа. Прилично ли вас здесь устроили? Не забывайте, что вы находитесь в варварской стране. В Самогитии не приходится быть очень требовательным.

Я уверил его, что чувствую себя превосходно. Разговаривая с ним, я не мог удержаться, чтобы не рассматривать его с беззастенчивым любопытством. В его взгляде было что-то странное, невольно напомнившее мне взгляд человека, которого я накануне видел на дереве.

«Но может ли это быть, — думал я, — чтобы граф Шемет лазил ночью по деревьям?».

У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколько узкий лоб. Черты лица были совершенно правильны, только глаза были слишком близко посажены один к другому, так что, как мне казалось, между их слезными железами не поместился бы еще один глаз, как того требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был пронизательный. Наши глаза помимо нашей воли несколько раз встречались, и мы оба неизменно отводили их в сторону с некоторым смущением. Вдруг граф, расхохотавшись, воскликнул:

— Да, вы меня узнали!

— Узнал?

— Конечно! Вчера вы поймали меня на большой шалости.

— О, граф!

— Целый день я сидел, не выходя, у себя в кабинете с головною болью. Вечером мне стало лучше, и я вышел пройтись по саду. Я увидел свет в ваших окнах и не мог сдержать своего любопытства... Конечно, я должен был бы сказать, кто я, и представиться вам, но положение было такое смешное... Мне стало стыдно, и я удрал... Вы не сердитесь, что я помешал вам работать?

Своим словам он хотел придать шутливый характер, но он краснел, и, очевидно, ему было неловко. Я постарался, как мог, убедить его, что не сохранил ни малейшего неприятного впечатления от этой первой нашей встречи, и, чтобы переменить разговор, спросил, правда ли, что у него есть *Самогитский катехизис* отца Лавицкого.

— Возможно. По правде сказать, я не очень хорошо знаю отцовскую библиотеку. Он любил старинные книги и всякие редкости. А я читаю только современные произведения. Но мы поищем, профессор. Итак, вы хотите, чтобы мы читали Евангелие по-жмудски?

— А разве вы не находите, граф, что перевод Священного писания на местный язык крайне желателен?

— Разумеется. Однако разрешите мне маленькое замечание: среди людей, знающих только жмудский язык, не найдется ни одного грамотного.

— Может быть, но позвольте возразить вам, ваше сиятельство, что главным препятствием к распространению грамотности является именно отсутствие книг. Когда у самогитских крестьян будет печатная книга, они захотят ее прочесть и научатся грамоте. Это уже случилось со многими дикими народами... я, конечно, отнюдь не хочу применять это наименование к здешним жителям... К тому же,— добавил я,— разве не прискорбно, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после себя никаких следов? Вот уже тридцать лет, как прусский язык стал мертвым языком. А недавно умер последний человек, говоривший по-корнийски...

— Печально! — прервал меня граф. — Александр Гумбольдт рассказывал моему отцу, что он видел в Америке попугая, который один только знал несколько слов на языке племени, ныне поголовно вымершего от оспы. Вы разрешите подать чай сюда?

Пока мы пили чай, разговор шел о жмудском языке.

Граф не одобрял способа, каким немцы напечатали литовские книги. И он был прав.

— Ваш алфавит,— говорил он,— не подходит для нашего языка. У вас нет ни нашего ж, ни нашего л, ни нашего ы, ни нашего ё. У меня есть собрание дайн, напечатанных в прошлом году в Кенигсберге, и я с большим трудом угадываю слова — так странно они изображены.

— Ваше сиятельство, конечно, имеет в виду дайны, изданные Лесснером?

— Да. Довольно посредственная поэзия, не правда ли?

— Пожалуй, он мог бы найти что-нибудь и получше. Согласен, что сборник этот, в том виде как он есть, представляет интерес чисто филологический. Но я уверен, что если хорошенько поискать, то можно найти и более благоуханные цветы вашей народной поэзии.

— Увы, я очень сомневаюсь в этом, несмотря на весь мой патриотизм.

— Несколько недель тому назад я достал в Вильне действительно превосходную балладу, притом исторического содержания... Ее поэтические достоинства замечательны!.. Вы разрешите мне ее прочесть вам? Она при мне.

— Пожалуйста.

Он попросил у меня позволения курить и глубже уселся в кресло.

— Я чувствую поэзию, только когда курю,— сказал он.

— Баллада называется *Три сына Будрыса*.

— *Три сына Будрыса*? — переспросил граф с некоторым удивлением.

— Да, ваше сиятельство знает лучше меня, что Будрыс — лицо историческое.

Граф пристально посмотрел на меня своим странным взглядом. В нем было что-то непередаваемое, какая-то смесь робости и дикости, производившая на человека непривычного почти тягостное впечатление. Чтобы избежать его, я поспешил начать чтение.

ТРИ СЫНА БУДРЫСА

Старый Будрыс на дворе своего замка кличет трюх сыновей своих, кровных литовцев, как и он. Говорит им:

— Дети! Давайте корм вашим боевым коням, седла готовьте, точите сабли да копыя.

Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солнца. Ольгерд пойдет на русских. Скиргелло — на соседей наших, поляков. Кейстут ударит на тевтонов¹.

Вы молоды, сильны и смелы: идите воевать. Да хранят вас литовские боги! На этот раз я не пойду на войну, но дам вам совет: трое вас, и три перед вами дороги.

Один из вас пусть идет с Ольгердом на Русь, к Ильмену-озеру,

¹ Рыцарей тевтонского ордена. (Прим. автора).

под стены Новгорода. Там полным-полно горностаевых шкур и узорных тканей. Рублей у купцов — что льду на реке

Второй пусть идет с Кейстутовой конною ратью. Кроши крестоносцев-разбойников! Янтаря там — что морского песку, сукна там горят и блестят, других таких не найти. У попов на ризах рубины.

Третий за Неман пусть отправляется вместе с Скиргелло. На том берегу жалкие сохи да плуги. Зато наберет он там добрых коней, крепких щитов и сноху привезет мне. Польские девичьи, детки, краше все полонянок. Резвы, как кошки, белы, как сметана, под темною бровью блестят звездами очи.

Когда я был молод, полвека назад, я вывез из Польши красивую полоняночку, и сделалась она мне женою. Давно ее уж нет, а я все не могу посмотреть в ту сторону, не вспоминая о ней!

Благословил он молодцов, а те уже в седлах, с оружием в руках. Тронулись в путь. Осень приходит, следом за нею зима. Они все не возвращаются. Старый Будрыс уже думает, что они погнбли.

Закрутились снежные вихри. Всадник приближается, черной буркой прикрывает драгоценную поклажу.

— Там мешок у тебя? — говорит Будрыс. — Полон, наверно, новгородскими рублями?

— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

В снежном облаке приближается всадник, бурка у него топорщится от драгоценной поклажи.

— Что это, сынок? Немецкий янтарь?

— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

Разыгралась снежная буря. Всадник скачет, под буркой драгоценную хоронит поклажу... Но еще не показал он добычи, как Будрыс уже гостей созывает на третью свадьбу.

— Bravo, профессор! — воскликнул граф. — Вы отлично произносите по-жмудски. Но кто вам сообщил эту прелестную дайну?

— Одна девица, с которой я имел честь познакомиться в Вильне у княгини Катажины Пац.

— А как зовут ее?

— Панна Ивинская.

— Панна Юлька! — воскликнул граф. — Ах, проказница! Как я сразу не догадался? Дорогой профессор! Вы знаете жмудский и всякие ученые языки, вы читали все старые книги, но вас провела девочка, читавшая одни только романы. Она перевела нам на жмудский язык, и довольно правильно, одну из прелестных баллад Мицкевича, которой вы не читали, потому что она не старше меня. Если угодно, я могу показать вам ее польски, а если вы предпочитаете великолепный русский перевод, я вам дам Пушкина.

Признаться, я растерялся. Представляю себе радость дерптского профессора, напечатать я как подлинную дайну эту балладу о сыновьях Будрыса.

Вместо того, чтобы позабавиться моим смущением, граф с изысканной любезностью поспешил переменить тему разговора.

— Так что вы знакомы с панной Юлькой? — спросил он.

— Я имел честь быть ей представленным.

— Что вы о ней думаете? Говорите откровенно.

— Чрезвычайно милая барышня.

— Вы говорите это из любезности.

— Очень хорошенькая.

— Гм...

— Ну конечно! Какие у нее чудесные глаза!

— Н-да!

— И кожа необыкновенной белизны!.. Я вспоминаю персидскую газель, где влюбленный воспевает нежную кожу своей возлюбленной. «Когда она пьет красное вино, — говорит он, — видно, как оно струится в ее горле». Когда я смотрел на панну Ивинскую, мне пришли на память эти стихи.

— Может быть, панна Юлька и представляет собою подобный феномен, но я не слишком уверен, есть ли у нее кровь в жилах... У нее нет сердца!.. Она бела как снег — и как снег холодна!

Он встал и молча принялся ходить по комнате — как мне показалось, для того, чтобы скрыть свое волнение. Вдруг он остановился.

— Простите, — сказал он, — мы говорили, кажется, о народной поэзии...

— Совершенно верно, граф.

— Нужно согласиться все-таки, что она очень мило перевела Мицкевича... «Резва, как кошка... бела, как сметана... блестят звездами очи...» Это ее собственный портрет. Вы согласны?

— Вполне согласен, граф.

— Что же касается до этой проделки... совершенно неуместной, разумеется... то ведь бедная девочка ужасно скучает у своей старой тетки. Она живет как в монастыре.

— В Вильне она выезжала в свет. Я видел ее на полковом балу.

— Да, молодые офицеры — вот подходящее для нее общество. Посмеяться с одним, позлословить с другим,

кокетничать со всеми... Не угодно ли вам посмотреть библиотеку моего отца, профессор?

Я последовал за ним в большую галерею, где находилось много книг в прекрасных переплетах, но, судя по пыли, покрывавшей их обрезы, открывались они редко. Можете судить о моем восторге, когда одним из первых томов, вынутых мною из шкафа, оказался *Catechismus Samogiticus*! Я не мог сдержаться и испустил радостный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таинственная сила притяжения, которую мы сами не сознаем... Граф взял книгу, небрежно перелистал ее и надписал на переднем чистом листе: «Профессору Виттенбаху от Михаила Шемета». Не могу выразить словами, как я был восхищен и тронут подарком; я мысленно дал обещание, что после моей смерти драгоценная книга эта послужит украшением библиотеки университета, где я обучался.

— Смотрите на эту библиотеку как на ваш рабочий кабинет,— сказал мне граф,— здесь вам никто не будет мешать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующий день после завтрака граф предложил мне прогуляться. Он собирался посетить со мной один *капас* (так называют литовцы могильные холмы, известные в России под названием курганов), весьма известный в округе, так как в древности у него сходились в некоторых торжественных случаях поэты и колдуны (это было тогда одно и то же).

— Могу предложить вам очень спокойную лошадь,— сказал граф.— К сожалению, туда нельзя проехать в коляске: дорога такая, что ее не выдержит ни один экипаж.

Я бы предпочел остаться в библиотеке и делать выписки, но, не считая себя вправе противоречить желаниям моего гостеприимного хозяина, согласился. Лошади ждали нас у крыльца. Во дворе слуга держал собаку на сворке. Граф остановился на минуту и, обернувшись ко мне, спросил:

— Вы знаете толк в собаках, профессор?

— Очень мало, ваше сиятельство.

— Зоранский староста — у меня есть там земля —

прислал мне этого спаньеля, о котором он рассказывает чудеса. Разрешите мне посмотреть его?

Он кликнул слугу, и тот подвел собаку. Это было великолепное животное. Собака уже привыкла к слуге и весело прыгала, живая, как огонь. Но в нескольких шагах от графа она вдруг поджала хвост и стала пятиться, словно на нее напал внезапный страх. Граф погладил собаку — она жалобно завывала. Посмотрев на нее с минуту глазом знатока, граф сказал:

— Думаю, будет хорошая собака. Взять ее на псарню!

И он вскочил на коня.

— Профессор! — обратился ко мне граф, когда мы выехали на въездную аллею замка. — Вы, конечно, заметили, как испугалась меня собака. Я хотел, чтобы вы это видели своими глазами... В качестве ученого вы должны уметь разгадывать загадки. Почему животные меня боятся?

— Вы, граф, оказываете мне много чести, принимая меня за Эдипа. Я просто скромный профессор сравнительного языкознания. Быть может...

— Заметьте, — прервал он меня, — что я никогда не бью ни лошадей, ни собак. Меня бы мучила совесть, если бы я ударил хлыстом бедное животное, не сознающее своих проступков. А между тем, вы не поверите, какое отвращение внушаю я лошадям и собакам. Чтобы приручить их, мне требуется вдвое больше труда и времени, чем кому-либо другому. Например, вот эта лошадь, на которой вы едете, — сколько времени бился я с ней, чтобы ее объездить! А теперь она кротка, как ягненок.

— Мне думается, граф, что животные — хорошие физиономисты и что они сразу замечают, любит их человек, которого они видят в первый раз, или нет. Я подозреваю, что вы цените животных только за ту пользу, которую можно извлечь из них. Между тем есть люди, от природы имеющие пристрастие к определенным животным, и те это сейчас же замечают. У меня, например, с детства какая-то инстинктивная любовь к кошкам. Редко бывает, чтобы кошка убежала, когда я хочу приласкать ее, и еще ни разу ни одна кошка меня не оцарапала.

— Весьма возможно, — сказал граф. — Действительно, у меня нет того, что называется пристрастием к

животным... Они не лучше людей... Я вас везу в лес, где сейчас в полном расцвете звериное царство, в *маточник*, великое лоно, великое горнило жизни. По нашим народным преданиям, никто еще не изведал его глубин, никто не мог проникнуть в сердцевину этих лесов и болот, исключая, конечно, господ поэтов и колдунов, которым нет преград. Там республика зверей или конституционная монархия — не сумею сказать, что именно. Львы, медведи, лоси, зубры (наши бизоны) — все это зверье мирно живет вместе. Мамонт, сохранившийся там, пользуется особенным уважением. Кажется, он у них председатель сейма. У них строжайший полицейский надзор, и если кто-нибудь провинится, его судят и подвергают изгнанию. Виновное животное попадает тогда из огня да в полымя. Оно принуждено бежать в человеческие области. И не многие это выносят¹.

— Прелюбопытное сказание! — воскликнул я. — Но вы упомянули о зубре. Действительно ли это благородное животное, которое описано Цезарем в его *Записках* и на которое охотились меровингские короли в Компьенском лесу, еще водится, как я слышал, в Литве?

— Безусловно. Отец мой собственноручно убил одного зубра, конечно, с разрешения правительства. Вы могли видеть его голову в большом зале. Сам я не встречал зубров ни разу; думаю, что они чрезвычайно редки. Зато у нас тут полным-полно волков и медведей. Предвидя возможность встретиться с одним из этих господ, я взял с собой этот инструмент (он указал на ружье в черкесском чехле, висевшее у него за плечами), а у моего конюшего за седлом двустволка.

Мы начали углубляться в чащу. Вскоре узкая тропинка, по которой мы ехали, пропала. Ежеминутно приходилось объезжать огромные деревья, низкие ветви которых преграждали нам путь. Некоторые из них, засохшие от старости, свалились на землю, образовав словно вал с колючими заграждениями, переправиться через который не представлялось возможности. Местами нам попадались глубокие болота, покрытые водяными лилиями и ряской. Дальше встречались лужайки, где трава сверкала, как изумруд. Но горе тому, кто ступил бы на них: богатая и обманчивая растительность их обыкновенно

¹ См.: *Пан Тадеуш* Мицкевича и *Плененная Польша* Шарля Эдмона. (Прим автора.).

прикрывает топи, готовые поглотить навеки и коня и всадника. Из-за трудной дороги мы должны были прервать беседу. Я изо всех сил старался не отставать от графа и удивлялся, с какою безошибочной точностью, без компаса, держал он правильное направление, которого следовало держаться, чтобы добраться до *капаса*. Очевидно, он с давних пор охотился в этих дебрях.

Наконец мы увидели холм посреди обширной поляны. Он был довольно высок, окружен рвом, который еще можно было явственно различить, несмотря на кустарники и обвалы. По-видимому, здесь уже производились раскопки. На вершине я заметил остатки каменного строения; некоторые камни были обожжены. Большое количество золы, перемешанной с углем, и валявшиеся там и сям осколки грубой глиняной посуды свидетельствовали, что на вершине кургана в течение долгого времени поддерживали огонь. Если верить народным преданиям, некогда на *капасах* происходили человеческие жертвоприношения. Но ведь любой из угасших религий приписывают эти ужасные обряды, и я сомневаюсь, чтобы подобное мнение о древних литовцах можно было подтвердить историческими свидетельствами.

Мы уже спускались с холма и собирались сесть на наших лошадей, которых оставили по ту сторону рва, как вдруг увидели, что навстречу нам идет какая-то старуха с клюкой и с корзиной на руке.

— Добрые господа! — сказала она, поравнявшись с нами. — Подайте милостыньку, Христа ради. Подайте на шкалик, чтобы согреть мое старое тело.

Граф бросил ей серебряную монету и спросил, что она делает в лесу, так далеко от жилья. Вместо ответа она указала на корзину, полную грибов. Хотя мои познания в ботанике весьма ограничены, все же мне показалось, что большая часть этих грибов была ядовитой породы.

— Надеюсь, матушка, — сказал я, — вы не собираетесь их есть?

— Эх, барин! — отвечала старуха с печальной улыбкой. — Бедные люди едят, что бог пошлет.

— Вы не знаете наших литовских желудков, — заметил граф, — они луженые. Наши крестьяне едят все грибы, какие им попадаются, и чувствуют себя отлично.

— Скажите ей, чтобы она не ела хоть этого *agaricus*

песатор¹, который я вижу у нее в корзине! — воскликнул я.

И я протянул руку, чтобы выбросить один из самых ядовитых грибов, но старуха проворно отдернула корзину.

— Берегись! — сказала она голосом, полным ужаса. — Они у меня под охраной... Пиркунс! Пиркунс!

Надо вам сказать, что «Пиркунс» — самогитское название божества, которое русские почитали под именем Перуна; это славянский Юпитер-громовержец. Меня удивило, что старуха призывает языческого бога, но еще больше изумился я, увидев, что грибы начали приподниматься. Черная змеиная голова показалась из-под них и высунулась из корзины по крайней мере на фут. Я отскочил в сторону, а граф сплюнул через плечо по суеверному обычаю славян, которые, подобно древним римлянам, верят, что таким способом можно отвратить влияние колдовских сил. Старуха поставила корзину на землю, присела около нее на корточки и, протянув руку к змее, произнесла несколько непонятных слов, похожих на заклинание. С минуту змея оставалась недвижимой, затем обвилась вокруг костлявой руки старухи и исчезла в рукаве бараньего полушубка, который вместе с дырявой рубашкой составлял, по-видимому, весь костюм этой литовской Цирцен. Старуха посмотрела на нас с торжествующей усмешкой, как фокусник, которому удалась ловкая проделка. Лицо ее выражало и хитрость и тупость, что нередко встречается у так называемых колдунов, по большей части одновременно и простофиль и плутов.

— Вот, — сказал мне граф по-немецки, — образчик *местного колорита*: колдунья зачаровывает змею у подножия кургана в присутствии ученого профессора и невежественного литовского дворянина. Это могло бы послужить неплохим сюжетом для жанровой картины вашему соотечественнику Кнаусу... Хотите, чтобы она вам погадала? Прекрасный случай.

Я ответил, что ни под каким видом не стану поощрять подобное занятие.

— Лучше я спрошу ее, — сказал я, — не может ли она что-либо рассказать относительно любопытного поверья,

¹ Смертоносный агарик (лат.) — одна из пород ядовитых грибов.

о котором вы мне только что сообщили. Матушка! — обратился я к старухе. — Не слыхала ли ты чего насчет уголка этого леса, где звери будто бы живут дружной семьей, не зная людской власти?

Старуха утвердительно кивнула головой и ответила со смехом, простодушным и вместе с тем лукавым:

— Я как раз оттуда иду. Звери лишились царя. *Нобль*, лев, помер; они будут выбирать нового царя. Поди, попробуй, — может, тебя выберут.

— Что ты, матушка, городишь? — воскликнул со смехом граф. — Знаешь ли ты, с кем говоришь? Ведь барин (как бы это сказать по-жмудски: «профессор»?)... барин великий ученый, мудрец, *вайделот*¹.

Старуха внимательно на него посмотрела.

— Ошиблась, — сказала она, — это тебе надо идти туда. Тебя выберут царем, не его. Ты большой, здоровый, у тебя есть когти и зубы...

— Как вам нравятся эпиграммы, которыми она нас осыпает? — обратился ко мне граф. — А дорогу туда ты знаешь, бабушка? — спросил он у нее.

Она показала рукой куда-то в сторону леса.

— Вот как? — воскликнул граф. — А болота? Как же ты через них перебралась? Должен сказать вам, профессор, что в тех местах, куда она указывает, находится непролазное болото, целое озеро жидкой грязи, покрытое зеленой травой. В прошлом году раненный мною олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она медленно засасывала его... Минуты через две от него были видны только рога, а вскоре и они исчезли, да еще две мои собаки в придачу.

— Я ведь не тяжелая, — сказала старуха, хихикая.

— Тебе, я думаю, не стоит никакого труда перебраться через болота — верхом на помеле.

Злобный огонек мелькнул в глазах старухи.

— Добрый барин! — снова заговорила она тягучим и гнусавым голосом нищенки. — Не дашь ли табачку покурить бедной старушке? Лучше бы тебе, — добавила она, понизив голос, — в болоте броду искать, чем ездить в Довгеллы.

— В Довгеллы? — вскричал граф, краснея. — Что ты хочешь сказать?

¹ Дурной перевод слова «профессор». Вайделоты были литовскими бардами. (Прим. автора.).

Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайное действие. Он явно смутился, опустил голову и, чтобы скрыть свое замешательство, долго возился, открывая кисёт, привязанный к рукоятке охотничьего ножа.

— Нет, не ездите в Довгеллы,— повторила старуха.— Голубка белая не для тебя. Верно я говорю, Пиркунс?

В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученная, без сомнения, таким штукам, гадина зашевелила челюстями, будто шептала что-то.

— Он говорит, что моя правда,— добавила старуха.

Граф сунул ей в руку горсть табаку.

— Ты знаешь, кто я такой? — спросил он.

— Нет, добрый барин.

— Я помещик из Мединтильтаса. Приходи ко мне на днях. Я дам тебе табак и водки.

Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задумчивым; он то завязывал, то развязывал шнурки своего кисета и не отдавал себе отчета в том, что делает.

— Вы будете надо мной смеяться, профессор,— начал он после долгого молчания.— Эта подлая старуха гораздо лучше знает меня, чем она уверяет, и дорога, которую она мне только что показала... В конце концов тут нечему удивляться. Меня в этих краях решительно все знают. Мошенница не раз видела меня по дороге к замку Довгеллы... Там есть девушка-невеста; она и заключила, что я влюблен в нее... Ну, а потом, какой-нибудь красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне несчастье... Это совершенно очевидно. И все-таки... ее слова, помимо моей воли, меня волнуют. Они почти пугают меня... Вы смеетесь, и вы правы... Дело в том, что я хотел поехать в замок Довгеллы к обеду, а теперь я колеблюсь... Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор. Ехать нам или не ехать?

— Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение,— ответил я со смехом.— В брачных делах я плохой советчик.

Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводья, воскликнул:

— Пусть лошадь за нас решает!

Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой

тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы.

На стук копыт наших лошадей хорошенькая белокурая головка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича.

— Добро пожаловать,— сказала она.— Вы приехали как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая я в нем красивая.

Занавески задернулись. Подумавшись на крыльцо, граф пробормотал сквозь зубы:

— Уверен, что эту обновку она надевает не для меня...

Он представил меня г-же Довгелло, тетке панны Ивинской; она приняла меня чрезвычайно любезно и завела разговор о моих последних статьях в *Кенигсбергской научно-литературной газете*.

— Профессор приехал пожаловаться вам на панну Юлиану, сыгравшую с ним очень злую шутку,— сказал граф.

— Она еще ребенок, профессор; вы должны ее простить. Часто она приводит меня в отчаяние своими шалостями. Я в шестнадцать лет была рассудительнее, чем она в двадцать. Но в сущности она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасная музыкантша, чудесно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски... Вышивает...

— И пишет стихи по-жмудски! — добавил со смехом граф.

— На это она не способна! — воскликнула г-жа Довгелло.

Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы.

Г-жа Довгелло была образованна и знала древности своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, время пролетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская, но графу Шемету оно показалось очень длинным; он то вставал, то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальцами по стеклу, как человек, теряющий терпение.

Наконец, через три четверти часа в сопровождении

гувернантки-француженки появилась панна Юлиана. В своем новом платье, описание которого потребовало бы специальных знаний, каковыми я не обладаю, она выступала с грацией и с некоторой гордостью.

— Ну что, разве я не хороша? — спросила она графа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со всех сторон.

Сама она не глядела ни на графа, ни на меня; она глядела только на свое платье.

— Что это значит, Юлька? — сказала г-жа Довгелло. — Ты не здороваешься с профессором? А ведь он на тебя жалуется!

— Ах, профессор, — воскликнула девушка с очаровательной гримаской, — что же я такое сделала! Вы хотите наложить на меня епитимью?

— Мы сами на себя наложили бы епитимью, если бы лишили себя вашего общества, — ответил я ей. — Я совсем не собираюсь жаловаться на вас; напротив, я в восторге оттого, что благодаря вам узнал о новом и блестящем возрождении литовской музыки.

Она склонила голову и закрыла лицо руками, стараясь, однако, не испортить прическу.

— Простите, я больше не буду! — проговорила она тоном ребенка, который тайком полакомился вареньем.

— Нет, я не прошу вас, дорогая панна, — сказал я ей, — пока вы не исполните одного обещания, данного мне в Вильне у княгини Катажины Пац.

— Какого обещания? — спросила она, поднимая голову со смехом.

— Вы уже позабыли? Вы мне обещали, что, если мы встретимся в Самогитии, вы мне покажете какой-то народный танец, который вы очень расхваливали.

— А, *русалку*? Я чудесно ее танцую, и вот как раз подходящий кавалер.

Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитр фортепьяно и обратилась к своей гувернантке:

— Душенька, сыграйте это! *Allegro presto*¹.

Не присаживаясь, она сама проиграла ригурнель, чтобы дать темп.

— Пойдите сюда, граф Михаил; как истый литовец,

¹ В быстром темпе (*итал.*).

вы должны хорошо плясать *русалку*... Но только, слышите: извольте плясать ее по-деревенски!

Г-жа Довгелло пыталась протестовать, но напрасно. Граф и я, мы оба настаивали. У него были на то свои причины, так как его роль в этом танце, как вы сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав несколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень странным. Панна Ивинская, отодвинув стулья и стол, чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за воротник и потащила на середину залы.

— Имейте в виду, профессор, что я, с вашего позволения, изображаю русалку.

Она низко присела.

— Русалка — это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко, не то вынырнет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там уж наверно загрызет вас...

— Да это настоящая сирена! — воскликнул я.

— Он, — продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета, — молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцуя вокруг него... Да, но чтобы все было по правилам, мне нужен *сарафан*! Какая досада!.. Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм, без местного колорита... Вдобавок еще я в туфельках! Невозможно танцевать *русалку* в туфельках... да еще на каблуках.

Она приподняла платье и, весьма грациозно тряхнув красивой маленькой ножкой, не без риска показать икру, отправила одну из туфелек в дальний угол гостиной. За первой туфлей последовала вторая, и панна Ивинская осталась на паркете в шелковых чулках.

— Готово, — сказала она гувернантке.

И танец начался.

Русалка носится вокруг своего кавалера. Он простирает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ними и ускользает. Все это прелестно, музыка полна движения и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, что, когда кавалер думает уже схватить русалку и поцеловать, она, сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он падает к ее ногам как мертвый... Но граф придумал

другой конец, он сжал проказницу в своих объятиях и поцеловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила легкий крик, густо покраснела и упала на диван, надувши губки и жалобно восклицая, что он сжал ее, как настоящий медведь, а он, мол, такой и есть. Я заметил, что такое сравнение не понравилось графу, так как напоминало ему о семейном несчастье; чело его омрачилось. Зато я от души поблагодарил панну Ивинскую и расхвалил ее танец, — на мой взгляд, танец был в античном вкусе и напоминал греческие священные пляски. Моею речь прервало появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вельяминовых. Панна Ивинская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно сунула в них ножки и побежала встречать княгиню, сделав перед гостьей один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что при каждом из них она ловко опарывала туфельки на ногах.

Генерал привез с собой двух адъютантов, и, подобно нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что во всякой другой стране хозяйка дома была бы немного смущена неожиданным посещением шести проголодавшихся гостей, но запасливость и гостеприимство в литовских семьях таковы, что наш обед не запоздал, кажется, и на полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких пирогов, и горячих и холодных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам чрезвычайно интересные подробности относительно кавказских языков, из коих одни принадлежат к *арийской*, а другие к *туранской* группе, хотя между различными тамошними народностями существует значительное сходство в нравах и обычаях. Да и меня самого заставили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духовное лицо, ни профессора, которые столь легко могли бы перенести такой большой путь, какой мы проделали сегодня. Я должен был объяснить, что, имея поручение от Библейского общества изучить наречие *чарруа*, я провел три с половиной года в Уругвайской республике, почти не слезая с лошади и живя в пампасах среди индейцев.

Между прочим, пришлось мне упомянуть и о том, как, проплутав однажды трое суток в бесконечных степях, не имея чем утолить голод и жажду, я должен был последовать примеру сопровождавших меня *гаучо*, а именно — вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь.

Все дамы вскрикнули от ужаса. Генерал заметил, что калмыки в подобных крайностях поступают так же. Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток.

— Морально, — ответил я, — он вызвал во мне глубокое отвращение, но физически он мне очень помог, и ему я обязан тем, что имею честь обедать сегодня здесь. Многие европейцы (я хочу сказать — белые), которые долго жили среди индейцев, к нему привыкают и даже входят во вкус. Мой дорогой друг, дон Фруктуосо Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как однажды, направляясь в полной парадной форме на конгресс, он проезжал мимо *ранчо*, где пускали кровь жеребенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил *чупон*, то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей.

— Ваш президент — мерзкое чудовище! — воскликнула панна Ивинская.

— Простите, дорогая панна, — возразил я ей, — это человек отлично воспитанный и выдающегося ума. Он превосходно владеет несколькими индейскими наречиями, чрезвычайно трудными; в особенности это касается языка *чарруа*, в котором глагол имеет бесчисленное количество форм в зависимости от переходного или непереходного его употребления и даже в зависимости от общественного положения разговаривающих.

Я собирался привести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке *чарруа*, но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее кровь.

— Ради бога, дорогой мой профессор, — воскликнула с притворным ужасом панна Ивинская, — не говорите ему! Он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съесть нас.

После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. Мы все хотели пойти вместе с ним, но нам было

объявлено, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодисменты.

— Панна Юлька проказит,— заметил граф.

Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова аплодисменты. Затем наступил мой черед. Когда я вошел в гостиную, я увидел на всех лицах серьезное выражение, не предвещавшее ничего хорошего. Я приготовился к какой-нибудь каверзе.

— Профессор! — обратился ко мне генерал самым официальным тоном. — Наши дамы находят, что мы оказали слишком большое внимание шампанскому, и соглашаются допустить нас в свое общество не иначе, как подвергнув предварительно некоторому испытанию. Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными глазами с середины комнаты до этой стены и дотронуться до нее пальцем. Задача, как видите, несложная, надо только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по прямой линии?

— Думаю, что да, генерал.

Панна Ивинская тотчас накинула мне на глаза носовой платок и крепко-накрепко завязала его на затылке.

— Вы стоите посреди гостиной,— сказала она.— Протяните руку... Так! Бьюсь об заклад, что вам не дотронуться до стенки.

— Шагом марш! — скомандовал генерал.

Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, державшую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стенки. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с большим успехом, чем я.

Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно

резвилась. Насмешливая, проказливая, она избирала жертвой своих шуток то одного из нас, то другого. Я все же заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, который, надо сказать, нисколько на это не обижался и, казалось, находил даже удовольствие в том, что она его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала на одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как глаза его загорались мрачным огнем, в котором действительно было что-то наводящее страх. «Резва, как кошка, бела, как сметана». Мне казалось, что этими словами Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Разошлись мы поздно. Во многих знатных литовских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но не найдете, как в нашей милой Германии, хорошего пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бедняк, дворянин или крестьянин, славянин отлично может уснуть и на голых досках. Поместье Довгеллы не составляло исключения из общего правила. В комнате, которую отвели нам с графом, стояло только два кожаных дивана. Меня это не испугало, так как во время моих странствий мне нередко приходилось спать на голой земле, и воркотня графа насчет недостаточной цивилизованности его соотечественников меня даже позабавила. Слуга стащил с нас сапоги и подал халаты и туфли. Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по комнате, потом остановился перед диваном, на котором я уже растянулся, и спросил:

- Как вам понравилась Юлька?
- Очаровательна.
- Да, но какая кокетка!.. Как, по-вашему, ей действительно нравится тот блондинчик-капитан?
- Адъютант?.. Откуда мне знать?
- Он фат... и потому должен нравиться женщинам.
- Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я вам скажу правду? Панна Ивинская гораздо больше хочет нравиться графу Шемету, чем всем адъютантам, вместе взятым.

Он покраснел и ничего не ответил, но мне казалось, что слова мои были ему очень приятны. Он еще немно-

го походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и сказал:

— Ну, надо ложиться. Уже поздно.

Он взял свое ружье и охотничий нож, который принесли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вынул ключ.

— Пожалуйста, спрячьте его,— сказал он, к величайшему моему удивлению, протягивая мне ключ,—я могу позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня.

— Лучшее средство не забыть оружия,— заметил я,— это положить его на стол возле вашего дивана.

— Нет... Говоря откровенно, я не люблю иметь подле себя оружие, когда я сплю... И вот почему. Когда я служил в гродненских гусарах, мне как-то пришлось ночевать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, и пуля пролетела в двух вершках от головы моего товарища... Я так и не мог вспомнить, что мне пригрезилось.

Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не получу пулю в голову, в этом я был уверен; но, глядя на высокий рост и геркулесовское сложение моего спутника, на его мускулистые, поросшие черными волосами руки, я должен был признать, что ему ничего не стоило бы задушить меня этими руками, если ему пригрезится что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, поставив свечку на стул возле моего дивана, стал читать *Катехизис* Лавицкого, который захватил с собою. Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись раз пять или шесть с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал, хотя принял такую позу, как поминаемый у Горация спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен:

Turpi clausus in arca,
Contracium genibus tangas caput¹.

Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он избрал, засыпая. Так прошло, может быть, с час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я

¹ Запертый в позорный сундук, где колени моя соприкасались с втянутой в плечи головой (лат.).

улегся поудобнее, как вдруг странный смех моего соседа заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых уст вырывались невнятные слова:

— Свежа!.. Бела!.. Профессор сам не знает, что говорит... Лошадь никуда не годится... Вот лакомый кусочек!

Тут он принялся грызть подушку, на которой лежала его голова, и в то же время так громко зарычал, что сам проснулся.

Я не двигался на своем диване и притворился спящим. Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер глаза, печально вздохнул и почти целый час не менял позы, погруженный, по-видимому, в раздумье. Мне было очень не по себе, и я решил, что никогда не буду ночевать в одной комнате с графом. В конце концов усталость все же превозмогла мое беспокойство, и когда утром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После завтрака мы вернулись в Мединтильтас. Оставшись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что считаю графа больным, что у него бывают кошмары, что он, быть может, лунатик и в этом состоянии может оказаться небезопасным.

— Я все это заметил,— отвечал мне доктор.— При своем атлетическом телосложении он нервен, как хорошенькая женщина. Может статься, это у него от матери... Утром она была чертовски зла... Я не очень-то верю рассказам об испугах и капризах беременных женщин, но достоверно, что графиня страдает манией, а маниакальность может передаваться по наследству...

— Но граф в полном рассудке,— возразил я.— У него здравые суждения, он образован, признаюсь, гораздо более, чем я ожидал; он любит читать...

— Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями сидит запершись у себя в комнате; нередко бродит по ночам, читает какие-то невероятные книги... немецкую метафизику... физиологию... бог знает что. Еще вчера ему прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря начистоту, Геркулес нуждается в Гебе. Тут есть очень хорошенькие

крестьянки... В субботу вечером, побывавши в бане, они сойдут за принцесс... Любая из них не отказалась бы развлечь барина. В его годы да чтоб я, черт возьми!.. Но у него нет любовницы, и он женится... Напрасно! Ему необходима «разрядка».

Грубый материализм доктора оскорблял меня до последней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, что от всей души желаю графу Шемету найти достойную его супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от доктора о склонности графа к философским занятиям. Чтобы этот гусарский офицер и страстный охотник интересовался метафизикой и физиологией — это никак не укладывалось у меня в голове. А между тем доктор говорил правду, и я в тот же день имел случай убедиться в этом.

— Как вы объясняете, профессор,— вдруг спросил меня граф к концу обеда,— да, как вы объясняете *дуализм*, или *двойственность*, нашей природы?

Видя, что я не совсем понимаю его вопрос, он продолжал:

— Не случалось ли вам, оказавшись на вершине башни или на краю пропасти, испытывать одновременно искушение броситься вниз и совершенно противоположное этому чувство страха?..

— Это можно объяснить чисто физическими причинами,— сказал доктор.— Во-первых, утомление, которое вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к мозгу, который...

— Оставим кровь в покое, доктор,— нетерпеливо вскричал граф,— возьмем другой пример. У вас в руках заряженное ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысль об убийстве вызывает в вас величайший ужас, а между тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в голову в продолжение одного часа... я думаю, что если бы записать все наши мысли, профессор,— а я вас считаю мудрецом,— то они составили бы целый фолиант, на основании которого, быть может, любой адвокат добился бы опеки над вами, а любой судья засадил вас в тюрьму или же в сумасшедший дом.

— Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над та-

инственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени. Но если бы случайно мне в это время пришла в голову другая мысль, в чем заключалась бы моя вина? Я не более ответствен за свои мысли, чем за те внешние обстоятельства, которые их вызывают. Из того, что у меня возникает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее осуществлять или хотя бы принял такое решение. Мне никогда не приходила в голову мысль убить человека, но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, чтобы отогнать ее!

— Вы так уверенно говорите о разуме! Но разве он всегда, как вы утверждаете, на страже, чтобы руководить нашими поступками? Для того чтобы разум заговорил в нас и заставил себе повиноваться, нужно поразмыслить, — следовательно, необходимы время и спокойствие духа. А всегда ли вы располагаете тем и другим? В сражении я вижу, что на меня летит ядро; я отстраняюсь и этим открываю своего друга, за которого я охотно отдал бы свою жизнь, будь у меня время для размышления...

Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях человека и христианина, о долге нашем подражать воину из Священного писания, всегда готовому к бою; наконец, я ему указал, что, непрестанно борясь со своими страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его.

Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побывали в Довгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, пánна Ивинская резвилась и вела себя балованным ребенком. Графа она завораживала, и я не сомневался, что он влюблен в нее по уши. Вместе с тем он вполне сознавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко всему, что не составляло для нее предмета забавы. Часто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душевное страдание, но стоило ей проявить к нему малейшую ласку, как он все забывал, его лицо озарялось, и он сиял от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в последний раз съездить с ним в Довгеллы — может быть, потому, что я занимал разговором тетку, пока он гулял по саду с племянницей. Но у меня было еще много

работы, и, как он ни настаивал, я должен был, извинившись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настроении. Время от времени брови его сдвигались, и глаза приобретали злобное выражение. Когда доктор оставил нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной в мою комнату и высказал все, что было у него на душе.

— Я очень жалею, — говорил он, — что покинул вас и поехал к этой сумасбродке, — она смеется надо мной и интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено; мне все это глубоко опротивело, и я больше не буду с ней встречаться.

Он по привычке походил некоторое время назад и вперед по комнате, затем продолжал:

— Вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? Доктор, дурак, уверен в этом. Нет, я никогда не любил ее. Меня занимало ее смеющееся личико... Я любовался ее белой кожей... Вот и все, что есть в ней хорошего... особенно кожа... Ума — никакого. Я никогда не видел в ней ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно смотреть, когда скучно и нет под рукой новой книги... Конечно, ее можно назвать красавицей... Кожа у нее чудесная... А скажите, профессор, кровь, что течет под этой кожей, наверно, будет лучше лошадиной крови? Как вы думаете?

И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не по себе.

На следующий день я распрощался с ним и отправился продолжать свои изыскания в северной части палатина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Занятия мои продолжались около двух месяцев, и могу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где я бы не побывал и не собрал каких-нибудь материалов. Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и поблагодарить жителей этой области, в особенности духовных лиц, за то поистине заботливое содействие, которое они оказали моим исследованиям, и за

те превосходные добавления, которыми они обогатили мой словарь.

После недельного пребывания в Шавлях я намеревался отправиться в Клайпеду (порт, который мы называем Мемелем), чтобы оттуда морем вернуться домой, как вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, доставленное мне его егерем:

Господин профессор!

Разрешите мне написать Вам по-немецки. Я бы наделал еще больше ошибок, если бы стал писать Вам по-жмудски, и Вы потеряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли Вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я собираюсь Вам сообщить, вряд ли его увеличит. Без дальних слов — я женюсь, и Вы догадываетесь, на ком. «Юпитер смеется над клятвами влюбленных». Так же поступает и Пиркунс, наш самогитский Юпитер. Итак, я женюсь 8-го числа ближайшего месяца на панине Юлиане Ивишской. Вы будете любезнейшим из смертных, если приедете к нам на свадьбу. Все крестьяне из Мединтильтаса и окрестных деревень соберутся на праздник и будут до отвала наедаться говядиной и свиной, а когда напьются, то будут танцевать на лужке справа от известной Вам аллен. Вы увидите костюмы и обычаи, достойные Вашего внимания. Своим приездом Вы доставите мне громадное удовольствие и Юлиане тоже. Добавлю, что Ваш отказ поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как Вам известно, мы с моей невестой исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в тридцати милях отсюда, прикован к месту подагрой. Смее надеяться, что Вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверения, дорогой профессор, в искренней моей преданности.

Михаил Шемет.

В конце письма в виде постскриптума было прибавлено довольно изящным женским почерком по-жмудски:

Я, литовская муза, пишу по-жмудски. Со стороны Миханла было дерзостью сомневаться в том, что Вы одобрите его выбор. И правда, нужно быть такой безрассудной, как я, чтобы согласиться выйти за него. 8-го числа ближайшего месяца, господин профессор, Вы увидите довольно *шикарную* новобрачную. Это уже не по-жмудски, а по-французски. Только не будьте рассеяны во время церемонии.

Ни письмо, ни постскрипtum мне не понравились. Я находил, что жених и невеста выказывают непростительное легкомыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого количества дворян, которые съедутся в замок Мединтильтас, я встречу людей образованных, которые снабдят меня полезными сведениями. Мой жмудский словарь был уже достаточно бо-

гат, но значение многих слов, которые я слышал от простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне ясным.

Всех этих соображений, взятых вместе, было достаточно, чтобы заставить меня принять приглашение графа, и я ответил ему, что утром 8-го числа прибуду в Мединтильтас. И как же мне пришлось в этом раскаяться!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Подъезжая к замку, я заметил множество дам и господ в утренних туалетах; некоторые расположились на террасе около крыльца, некоторые разгуливали по аллеям парка. Двор был полон крестьян в воскресных нарядах. Вид у замка был праздничный: всюду цветы, гирлянды зелени, флаги, венки. Управляющий провел меня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не может предложить мне лучшей. В замок наехало столько гостей, что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимал в мой первый приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна: она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешил облачиться, чтобы обвенчать жениха и невесту. Но ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Им уже давно пора было приехать, но туалет невесты — дело не такое простое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда, а те, кто боится проголодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у специально устроенного буфета, уставленного всякими пирогами и крепкими напитками. Когда люди долго чего-нибудь ждут, они непременно начинают злословить. Две мамыши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, изощрялись в насмешках над невестой.

Было уже за полдень, когда приветственный залп холостых ружейных выстрелов возвестил о ее прибытии, и вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкою великолепных лошадей. Лошади были в мыле; нетрудно было догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, г-жа Довгелло и граф. Он сошел и подал руку

г-же Довгелло. Панна Ивинская сделала движение, полное грации и детского кокетства, будто она хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устремленных на нее со всех сторон. Тем не менее она привсталала в коляске и хотела опереться на руку графа, как вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дождем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или вдруг почувствовав ужас, который граф Шемет внушал животным, заржали и встали на дыбы; колесо задело за камень у крыльца; казалось, что несчастье неотвратимо. Панна Ивинская слегка вскрикнула... И вдруг все успокоилось. Схватив ее на руки, граф взбежал с ней на крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все аплодировали его ловкости и рыцарской галантности. Крестьяне бешено кричали «Виват!», а невеста, вся зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей его толпе...

Внезапно на крыльце показалась высокая, бледная, исхудавшая женщина; одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Никто не заметил, откуда она появилась.

— Медведь!..— пронзительно закричала она.— Медведь! Хватайте ружье!.. Он тащит женщину! Убейте его! Стреляйте! Стреляйте!

То была графиня. Приезд молодой привлек всех на крыльцо, во двор, к окнам замка. Даже женщины, присматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязанностях; оставшись без присмотра, она проскользнула на крыльцо и явилась никем не замеченная среди нас. Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмотря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не знали об ее болезни. Пришлось им объяснять. Гости долго еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. «Дурной знак»,— говорили люди суеверные, а таких в Литве немало.

Между тем панна Ивинская попросила себе пять минут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату,— процедура эта длилась добрый час. За это время лица, не знавшие о болезни графини, успели расспросить людей, осведомленных о причине и всех подробностях ее недуга.

Наконец невеста появилась в великолепном уборе,

осыпанная бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим. Когда же наступило время идти в церковь, вдруг, к моему великому изумлению, г-жа Довгелло в присутствии всего общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те, внимание которых в эту минуту было отвлечено, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления; только какой-то человек, одетый в черное, записал что-то на принесенном им листе бумаге, а некоторые из присутствующих с видом полнейшего равнодушия дали свою подпись. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие означало. Если бы я знал об этом заранее, я не преминул бы возвысить свой голос священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода на том основании, что будто бы бракосочетание состоялось лишь вследствие физического принуждения, примененного к одной из сочетающихся сторон.

Совершив обряд, я счел своим долгом обратиться с несколькими словами к юной чете с целью вразумить их относительно всей важности и святости соединивших их обязательств, и так как я еще не мог забыть неуместного постскриптума панны Ивинской, я напомнил ей, что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не забавы и радости юношеских лет, но важные обязанности и серьезные испытания. Мне показалось, что эта часть моего обращения произвела на молодую и на всех тех, кто понимал по-немецки, большое впечатление.

Ружейные залпы и радостные крики встретили свадебный кортеж при выходе его из церкви. Затем все двинулось в столовую. Завтрак был превосходный, гости изрядно проголодались, и сначала не было слышно ничего, кроме стука ножей и вилок. Но вскоре шампанское и венгерское развязали языки, раздался смех, даже крики. Тост за здоровье молодой был принят с шумным восторгом. Только что опять все уселось, как поднялся старый пан с седыми усами и заговорил громовым голосом:

— С прискорбием вижу я, что наши старинные обычаи забываются. Никогда наши отцы не стали бы пить за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы пили за здоровье молодой из ее тувельки и даже из ее

сапожка, потому что в мое время дамы носили сапожки из красного сафьяна. Покажем же, друзья, что мы еще истые литвины. А ты, сударыня, соблаговоли мне дать твою туфельку.

Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех:

— Возьми ее сам, пан... Но в ответ пить из твоего сапога не согласна.

Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и быстро и ловко выпил, пролив себе на платье не больше половины. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее, не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе как драгоценную реликвию, а г-жа Довгелло приказала горничной возместить изъян в туалете ее племянницы.

За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я счел не совсем удобным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из-за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драк и разбитых голов. На лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника весьма напоминал поле битвы. Мне любопытно было посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузданные цыганки, и я счел для себя неприличным находиться в этой кутерьме. Итак, я вернулся в свою комнату, почитал немного, разделся и вскоре заснул.

Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь была светлая, хотя луна была подернута легкою дымкою. Я пытался опять заснуть, но безуспешно. Как всегда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позаняться, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление было, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из наших пьяниц вывалился из окна. Я открыл окно и посмотрел в сад, но ничего не увидел. Я зажег свечку и, улегшись снова в постель, стал просматривать свой словарь, покуда мне не подали утренний чай.

Около одиннадцати я вышел в гостиную. У многих были подпухшие глаза и помятые физиономии; я узнал, что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни граф, ни молодая графиня еще не появлялись. Гости отпускали шуточки, но к половине двенадцатого начали перешептываться, сначала тихо, потом все громче и громче. Доктор Фребер решился наконец послать камердинера постучать графу в дверь. Через четверть часа вернулся взволнованный слуга и сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. Г-жа Довгелло, я и доктор стали совещаться, как поступить. Беспокойство лакея передалось и мне. Мы втроем направились к комнате графа. У дверей мы застали перепуганную горничную молодой графини, уверявшую, что случилась беда, так как окно госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Никакого ответа. Наконец лакей принес лом, и мы взломали дверь... Нет, у меня не хватает духу описать зрелище, которое нам предстало! Молодая графиня лежала мертвая на своей постели; ее лицо было растерзано, а открытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор никто больше его не видел.

Доктор осмотрел ужасную рану молодой женщины.

— Эта рана нанесена не лезвием! — вскричал он. — Это укусы!..

Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть в огонь.

— И это все? — спросила Аделаида.

— Все! — отвечал мрачно профессор.

— Почему же вы называли эту повесть *Локис*? — продолжала она. — Ни одно из действующих лиц не носит этого имени.

— Это не имя человека, — сказал профессор. — А ну-ка, Теодор, вам понятно, что значит *локис*?

— Совершенно непонятно.

— Если бы вы постигли законы перехода санскрита в литовский язык, вы бы признали в слове *локис* санскритское *arkcha* или *gikscha*. В Литве *локисом* называется зверь, которого греки именовали *arktos*, римляне — *ursus*, а немцы — *Bär*. Теперь вы поймете и мой эпиграф:

Miszka su Lokiū
Abu du tokiū.

Известно, что в *Романе о Лисе* медведь называется Damp Brun. Славяне зовут его Михаилом, по-литовски Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя *локис*. Подобным же образом французы забыли свое неолатинское слово *goupil* или *gorpil* заменив его именем *renard*¹. Я мог бы привести вам много других примеров...

Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись.

ГОЛУБАЯ КОМНАТА

Госпоже де Ларюн

Молодой человек в волнении ходил по вокзальному залу. У него были синие очки, и, хотя он не был простужен, он поминутно подносил платок к носу. В левой руке он держал маленький черный саквояж, в котором находились, как я потом узнал, шелковый халат и шальвары.

Время от времени он подходил к выходной двери, вынимал карманные часы и проверял их по вокзальным. Поезд уходил только через час, но есть люди, которые всегда боятся опоздать. На таких поездах не ездят деловые люди: вагонов первого класса было мало. Час был не тот, когда биржевые маклеры, окончившие дела, едут обедать на дачу. Парижанин без труда узнал бы в пассажирах, которые начали собираться, фермеров или пригородных лавочников. Тем не менее всякий раз, как кто-нибудь входил в вокзал или экипаж останавливался перед входной дверью, у молодого человека в синих очках сердце расширялось, как пузырь, колени начинали дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки сваливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели совсем криво.

Но стало еще хуже, когда после долгого ожидания из боковой двери, единственного места, за которым он

¹ Лис (франц.).

не наблюдал, показалась женщина, вся в черном, с густой вуалью на лице, держа в руках темный сафьяновый саквояж, в котором, как я впоследствии установил, находились чудесный капот и голубые атласные туфли. Женщина и молодой человек пошли друг другу навстречу, смотря направо и налево, но не прямо перед собой. Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли, задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, за которое я отдал бы сто лет жизни философа.

Когда они обрели дар слова, молодая женщина (я забыл сказать, что она была молода и красива) произнесла:

— Леон, Леон, какое счастье! Я никогда бы вас не узнала в этих синих очках!

— Какое счастье! — ответил Леон. — Я бы никогда не узнал вас под этой черной вуалью.

— Какое счастье! — повторила она. — Займем скорее места. Вдруг поезд уйдет без нас! (Она крепко сжала ему руку). Никто ничего не подозревает. В настоящее время я с Кларой и ее мужем еду к ним на дачу, где *завтра* должна с ними проститься. И вот уже час, как они уехали, — прибавила она, смеясь и опуская голову, — а завтра... *проведа последний вечер* с нею (она снова сжала его руку)... завтра утром она отвезет меня на станцию, где я встречу Урсулу, которую я послала вперед к тетке... О, у меня все предусмотрено! Возьмем билеты... Узнать нас невозможно! Ах! А вдруг в гостинице спросят наши фамилии? Я уже забыла...

— Господин и госпожа Дюрю.

— Ах, нет! Только не Дюрю! В пансионе был сапожник по фамилии Дюрю.

— Ну, тогда Домон?..

— Домон.

— Превосходно. Все равно никто у нас ничего не спросит.

Раздался звонок, двери зала открылись, и молодая женщина, не поднимая вуали, устремилась со своим спутником к вагону первого класса. Второй звонок — и дверца купе захлопнулась за ними.

— Мы одни! — радостно закричали они.

Но почти в то же мгновение человек лет пятидесяти, одетый в черное, со скучающим и важным видом вошел

в купе и расположился в углу. Паровоз дал свисток, и поезд тронулся.

Молодая пара, сев как можно дальше от неприятного своего соседа, начала говорить вполголоса, да еще вдобавок, из предосторожности, по-английски.

— Судары! — проговорил их спутник на том же языке, но с более чистым британским акцентом. — Если у вас есть секреты, вам лучше было бы не говорить их при мне по-английски. Я англичанин. Мне очень жаль, что я вас стесняю, но в другом купе сидит только один мужчина, а у меня правило — никогда в дороге не садиться с одиноким мужчиной. А у него еще физиономия Иуды. Вот это могло бы его соблазнить. (Он указал на чемодан, брошенный им на подушку). Впрочем, если я не засну, то буду читать.

Действительно, он честно постарался заснуть. Он открыл чемодан, вынул оттуда дорожную шапочку, надел ее на голову и просидел несколько минут с закрытыми глазами. Потом с недовольным видом открыл их, отыскал в чемодане очки и греческую книгу и принялся внимательно читать. Чтобы достать книгу, пришлось перебрать в чемодане множество мелких предметов, уложенных в беспорядке. Среди других вещей он извлек из недр чемодана довольно толстую пачку английских банковых билетов, положил их на диван перед собою и, прежде чем обратно уложить их, показал молодому человеку, спросив, сможет ли он разменять их в N.

— По всей вероятности. Ведь это на пути в Англию.

N. было место, куда ехала молодая пара. В N. есть довольно чистенькая гостиница, где останавливаются только по субботам вечером. Говорят, что там хорошие номера. Хозяин и прислуга нелюбопытные: они живут не так уж далеко от Парижа, чтобы страдать этим провинциальным недостатком. Молодой человек, которого я уже назвал Леоном, присмотрел эту гостиницу несколько дней тому назад, когда приезжал без синих очков, и его описание вызвало у его подруги желание побывать там.

А в тот день она находилась в таком настроении, что даже тюремные стены показались бы ей полными прелести, если бы ее туда заключили вместе с Леоном.

Между тем поезд все шел; англичанин читал свою греческую книгу, не оборачиваясь к спутникам, которые

разговаривали так тихо, как умеют шептаться только любовники. Читатель, быть может, не особенно удивится, если я ему открою, что они и были любовниками в полном смысле этого слова. Прискорбно то, что они не были повенчаны, но к этому имелись серьезные препятствия.

Поезд подошел к N. Англичанин вышел первым. Покуда Леон помогал своей спутнице выйти из вагона так, чтобы не видно было ее ножек, какой-то человек выскочил на платформу из соседнего купе. Он был бледен, даже желт, с впалыми, налитыми кровью глазами, плохо выбрит — признак, по которому часто можно узнать большого преступника. Платье у него было чистое, но крайне изношенное. Его сюртук, когда-то черный, а теперь серый на спине и на локтях, был застегнут до самого верха, вероятно, для того, чтобы не видно было жилета, еще более вытертого. Он подошел к англичанину и смиренно начал:

— Uncle!..¹.

— Leave me alone you wretch!²— закричал англичанин, и серые глаза его загорелись гневом.

Он направился к выходу.

— Don't drive me to despair³,— продолжал другой голосом жалобным и в то же время почти угрожающим.

— Присмотрите, пожалуйста, одну минуту за моими вещами,— сказал старик англичанин, бросая к ногам Леона свой чемодан.

Затем он схватил за руку человека, который к нему обратился, отвел или, вернее, толкнул его в угол, где, по его расчетам, их нельзя было слышать, и стал что-то говорить ему, казалось, очень резким тоном. Потом он вынул из кармана несколько бумажек, скомкал их и сунул в руку человека, который называл его дядей. Тот взял бумажки, не поблагодарив, и почти сейчас же исчез.

В N. только одна гостиница, и потому нет ничего удивительного, что через несколько минут туда сошлись все действующие лица этой правдивой истории. Во Франции всякий путешественник, который имеет счастье идти под руку с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что во

¹ Дядюшка! (англ.).

² Оставь меня в покое, негодяй! (англ.).

³ Не доводите меня до отчаяния (англ.).

всех гостиницах ему отведут лучшую комнату; недаром всеми признано, что мы самый учтивый народ в Европе.

Если комната, отведенная Леону, была лучшей в гостинице, то это не значит, что она была вполне хороша. Здесь стояла широкая кровать орехового дерева с ситцевым пологом, на котором лиловой краской была изображена трагическая история Пирама и Фисбы. Стены были оклеены обоями с видом Неаполя и множеством фигур; к сожалению, шутники-постояльцы от нечего делать пририсовали усы и трубки всем мужским и женским фигурам, а небо и море были исписаны множеством глупостей в стихах и в прозе. На этом фоне висело несколько гравюр: *Луи-Филипп присягает конституции 1830 года*, *Первая встреча Жюли и Сен-Прё*, *Ожидание счастья* и *Сожаление* с картин Дюбюфа. Комната эта называлась голубой, так как два кресла, стоявшие по правую и по левую сторону камина, были обиты голубым утрехтским бархатом, но в течение уже многих лет на них были надеты коленкоровые серые чехлы с малиновыми кантиками.

Пока служанки хлопотали около вновь прибывшей дамы, предлагая ей свои услуги, Леон, сохранивший здравый смысл, несмотря на всю свою влюбленность, пошел на кухню заказать обед. Потребовалось все его красноречие и даже подкуп, чтобы добиться обещания, что обед им подадут в комнату. Но представьте себе его ужас, когда он узнал, что в общей столовой, находившейся рядом с его комнатой, господа офицеры 3-го гусарского полка, пришедшие в Н. на смену господам офицерам 3-го егерского, собираются сегодня объединиться с этими последними за прощальным обедом, где будет царить полная непринужденность. Хозяин клялся всеми святыми, что, не считая природной веселости, свойственной французским военным, господа гусары и господа егеря известны всему городу как люди весьма благоразумные и добродетельные и что их соседство несколько не потревожит вновь приехавшую даму, ибо господа офицеры имеют обыкновение вставать из-за стола еще до полуночи.

Когда Леон, весьма смущенный этим сообщением, несмотря на уверения хозяина, возвращался в голубую комнату, он обратил внимание на то, что англичанин занял соседнюю с ним комнату. Дверь была открыта. Анг-

личанин сидел за столом, на котором стояли стакан и бутылка, и смотрел на потолок с таким вниманием, будто считал разгуливающих там мух.

«Какое нам дело до соседей? — подумал Леон. — Англичанин скоро напьется, а гусары разойдутся до полуночи».

Войдя в голубую комнату, он первым делом проверил, есть ли задвижки и хорошо ли заперты двери, сообщающиеся с соседними комнатами. Со стороны англичанина дверь была двойная, а стена капитальная. Со стороны гусар стена была тоньше, но дверь запиралась на ключ и задвижку. В конце концов, это была более надежная защита от любопытных, чем каретные занавески. А ведь сколько людей, сидя в фиакре, считают себя отделенными от всего мира!

Положительно, самое пылкое воображение не может представить себе более полного счастья, чем блаженство двух молодых влюбленных, после долгого ожидания оказавшихся наедине, вдали от ревнивцев и любопытных, и получивших возможность досыта наговориться о перенесенных ими страданиях и вкусить наслаждение полной близости. Но дьявол всегда находит способ влить каплю горечи в чашу счастья. Джонсон сказал, — хотя и не первый, ибо он заимствовал эту мысль у одного греческого писателя, — что никто не может сказать: «Сегодня я буду счастлив». Истина эта, признанная в столь отдаленные времена величайшими философами, до сих пор неизвестна большому количеству смертных, в особенности большинству влюбленных.

Во время довольно посредственного обеда в своей голубой комнате, состоявшего из нескольких блюд, похищенных со стола гусар и егерей, Леон и его спутница очень страдали от разговоров, которые вели между собой военные в соседнем зале. Там говорили не о стратегии и не о тактике, и я не стану передавать содержание этой беседы.

Это был ряд нелепых историй, почти сплошь вольного содержания, и сопровождалась они громким смехом, к которому иногда трудно было не присоединиться и нашим влюбленным. Подруга Леона не была чересчур чопорной, но есть вещи, которые неприятно слышать даже наедине с любимым человеком. Положение делалось все более затруднительным, и, когда настало время пода-

вать господам офицерам десерт, Леон счел нужным спуститься на кухню и попросить хозяина передать обедающим, что в соседней комнате находится больная женщина, которая надеется, что учтивость побудит их шуметь не так сильно.

Метрдотель, как всегда при парадных обедах, совсем захлопотался и не знал, кому отвечать. В ту минуту, когда Леон давал ему поручение к офицерам, лакей требовал от него бутылку шампанского для гусар, а горничная — портвейну для англичанина.

— Я ему сказала, что у нас нет портвейна, — прибавила она.

— Дура! У нас есть все вина. Я найду ему портвейн! Принеси мне бутылку сладкой настойки, бутылку красного за пятнадцать су и графин водки.

Сфабриковав в одну минуту портвейн, хозяин вошел в общий зал и исполнил поручение Леона. В первое мгновение его слова вызвали страшную бурю. Наконец, какой-то бас, покрывавший все голоса, спросил, какого рода женщина находится по соседству. Наступило молчание. Хозяин отвечал:

— Право, не знаю, как вам сказать. Она очень мила и застенчива. Мари-Жанна говорит, что у нее обручальное кольцо на пальце. Очень может быть, что это новобрачная совершает свадебную поездку, как это часто случается.

— Новобрачная! — закричали сразу сорок голосов. — Пусть она придет чокнуться с нами! Мы выпьем за ее здоровье и поучим молодого его супружеским обязанностям.

При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши влюбленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату возьмут приступом. Но вдруг раздался голос, водворивший тишину. Очевидно, говорил начальник. Он упрекнул офицеров в недостатке вежливости и приказал им занять свои места, выражаться прилично и не кричать. Он еще что-то прибавил, но так тихо, что в голубой комнате не было слышно. Слова его были выслушаны почтительно, но вызвали сдержанный смех. С этой минуты в зале воцарилась относительная тишина, и наши любовники, благословляя спасительную власть дисциплины, начали беседовать более непринужденно. Но после стольких тревожений требовалось известное время, чтобы

вновь обрести в себе те нежные чувства, которые были заметно нарушены тревогою, дорожными неудобствами и особенно грубым весельем соседей. Однако в их возрасте этого нетрудно достичь, и вскоре они забыли о всех невзгодах своего рискованного путешествия и все мысли устремили к главной его цели.

Они считали, что с гусарами заключен мир; увы, это было только перемирие! В ту минуту, когда они меньше всего ожидали этого, когда они были за тысячу миль от подлунного мира, вдруг двадцать четыре трубы в сопровождении нескольких тромбонов заиграли известную песню французских солдат: *Победа за нами!* Кто бы выдержал подобную бурю? Бедных любовников очень стоило пожалеть.

Однако жалеть их особенно не стоило, так как в конце концов офицеры покинули столовую и, продефилировав мимо голубой комнаты, один за другим, с громким бряцанием сабель и шпор, прокричали по очереди:

— Доброй ночи, молодая!

Потом шум затих. Впрочем, я ошибаюсь. Англичанин вышел в коридор и крикнул:

— Человек, принесите мне еще бутылку такого же портвейна!

В гостинице городка N. водворилось спокойствие. Ночь была теплая, светила полная луна. С незапамятных времен любовники с удовольствием смотрят на спутницу нашей планеты. Леон и его подруга растворили окно, выходившее в маленький садик, и некоторое время наслаждались свежим воздухом, напоенным запахом клематисов. Но недолго им пришлось посидеть у окна. Какой-то человек ходил по саду взад и вперед, опустив голову, скрестив руки, с сигарой во рту. Леону показалось, что это племянник англичанина, любителя портвейна.

Я не люблю вдаваться в излишние подробности и не считаю себя обязанным рассказывать читателю то, что он легко может вообразить; поэтому я не стану излагать час за часом все, что произошло в гостинице городка N. Скажу только, что свечка, поставленная на нетопленном камине в голубой комнате, наполовину выгорела, когда в комнате англичанина, где до сих пор было тихо,

раздался странный звук, какой мог бы произвести тяжелый предмет при падении. За этим звуком последовал не менее странный треск, затем заглушенный крик и несколько неразборчивых слов, похожих на проклятие. Юные постояльцы голубой комнаты вздрогнули. Может быть, это их внезапно разбудило. На них обоих звук этот, который они не могли себе объяснить, произвел почти зловещее впечатление.

— Это наш англичанин во сне,— сказал Леон, пытаясь улыбнуться.

Он хотел успокоить свою спутницу, но на него тоже напала невольная дрожь. Через две или три минуты кто-то открыл дверь в коридор, казалось, с большой осторожностью, потом она тихонько снова закрылась. Кто-то шел медленным, неуверенным шагом, словно хотел скрыться незамеченным.

— Проклятая гостиница! — воскликнул Леон.

— Здесь как в раю! — ответила молодая женщина, кладя голову на его плечо.— Я смертельно хочу спать!..

Она вздохнула и почти тотчас снова погрузилась в сон.

Один знаменитый моралист сказал, что люди перестают болтать, когда им не о чем больше просить. Поэтому нет ничего удивительного, что Леон не стал делать никаких попыток возобновить разговор или рассуждать относительно звуков в гостинице городка N. Но, помимо воли, все это его тревожило, а в памяти возникало много такое, на что в другом состоянии духа он не обратил бы ни малейшего внимания. Ему вспомнилась зловещая фигура племянника англичанина. Какая ненависть была у него во взгляде, когда он смотрел на дядю, меж тем как разговаривал он с ним подобострастно, вероятно, потому что просил денег!

«Что может быть легче для молодого и крепкого человека, доведенного к тому же до отчаяния, чем влезть из сада в окно? К тому же он, видимо, тоже остановился в этой гостинице, раз ночью прогуливался по саду. Может быть... даже наверно... несомненно, ему было известно, что в черном чемодане находится толстая пачка банковых билетов... А этот глухой удар, похожий на удар дубины по лысому черепу!.. Этот заглушенный крик!.. Это ужасное проклятие! И затем шаги! У племянника — лицо убийцы... Но как можно совершить убийство в гости-

нице, полной офицеров? Конечно, дверь у этого англичанина, как у человека осторожного, была заперта на задвижку; ведь он знал, что этот негодяй находится поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хотел разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан... Но зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуты полного счастья?».

Вот что проносилось у Леона в голове. Будучи во власти этих мыслей, в которых я не стану разбираться подробнее,— для него самого они были смутными, как сонные видения,— он машинально остановил свой взгляд на двери, соединяющей голубую комнату с комнатой англичанина.

Во Франции двери закрываются неплотно. В голубой комнате между дверью и полом была щель, по крайней мере, в два сантиметра. Вдруг в этой щели, едва освещенной отблеском паркета, показалось что-то темное, плоское, похожее на лезвие ножа, так как край, озаренный светом свечи, представлял собою тонкую, ярко блестящую линию. Оно медленно ползло по направлению к голубой атласной туфельке, небрежно брошенной неподалеку от этой двери. Может быть, это какое-нибудь насекомое, вроде сороконожки?.. Нет, это не насекомое. Оно не имело определенной формы... Две-три темные полосы с блестящими краями проникли в комнату. Движение их ускоряется вследствие покатости пола... Они подвигаются все быстрее, сейчас они доберутся до туфельки. Сомнений быть не может! Это — жидкость, и жидкость эта (теперь при свечке ясно виден ее цвет) не что иное, как кровь. И покуда Леон испуганно, не шевелясь, смотрел на эти ужасные струйки, молодая женщина продолжала спокойно спать, и ровное дыхание ее согревало шею и плечо ее любовника.

Из того, что Леон сейчас же по приезде в гостиницу города N. позаботился заказать обед, можно заключить, что он был достаточно рассудителен, умен и даже предусмотрителен. И на этот раз он не опровергнул представления, которое можно было бы о нем составить. Он не пошевелился, но напряг все силы своего ума, чтобы предотвратить страшное несчастье, которое ему угрожало.

Боюсь, что большинство моих читателей и особенно

читательниц, исполненных героических чувств, осудит такое поведение, такое бездействие Леона при данных обстоятельствах. Мне скажут, что он должен был броситься в комнату англичанина и задержать убийцу или, по крайней мере, поднять трезвон, чтобы разбудить прислугу гостиницы. На это я прежде всего отвечу, что во французских гостиницах шнурок от звонка служит исключительно для украшения комнаты и не связан ни с каким металлическим аппаратом. Почтительно, но твердо добавлю, что если нехорошо предоставить англичанину умирать по соседству с вами, то не особенно похвально и жертвовать для него женщиной, которая спит, положив голову вам на плечо. Что бы произошло, если бы Леон поднял шум и разбудил всю гостиницу? Сейчас же появились бы жандармы и прокурор со своим писцом. Люди эти по своей профессии настолько любопытны, что, прежде чем приступить к расследованию дела, они задали бы Леону ряд вопросов: «Как ваша фамилия? Ваши документы? Кто эта женщина? Почему вы оказались с нею в голубой комнате? Вы должны явиться в суд, чтобы показать, что такого-то числа такого-то месяца в такой-то час ночи вы были свидетелем такого-то происшествия».

Именно эта мысль о прокуроре и жандармах прежде всего пришла в голову Леону. В жизни бывают иногда случаи, когда не знаешь, как тебе следует поступить. Что лучше: оставить без помощи незнакомого тебе путешественника, которого режут, или покрыть позором и потерять любимую женщину? Неприятно, когда приходится разрешать подобную задачу. Бьюсь об заклад, что она любого поставит в тупик.

Леон поступил так, как, вероятно, большинство людей поступило бы на его месте: он не шевельнулся. Но, отводя глаза от голубой туфли и красного ручейка, который почти касался ее, он долго пребывал в каком-то оцепенении, его виски покрылись холодным потом, а сердце билось так сильно, что готово было разорваться. Вихрь мыслей, образов, причудливых и грозных, преследовал его, а внутренний голос твердил непрестанно: «Через час все откроется, и это — твоя вина».

Но, неотступно повторяя: «Как выйти из этой переделки?» — в конце концов находишь луч надежды. Леон подумал: «Если мы уедем из этой проклятой гостиницы

до того, как станет известно, что произошло в соседней комнате, мы можем, пожалуй, замести наш след. Здесь нас никто не знает; меня видели только в синих очках, а ее — только под вуалью. Мы в двух шагах от вокзала, и через час мы будем очень далеко от Н.». Перед тем как предпринять эту поездку, он внимательно изучил расписание поездов и теперь вспомнил, что есть восьми-часовой поезд на Париж. А там они сразу затеряются в этом огромном городе, где скрывается столько преступников. Кто же там найдет двух невиновных? Но, может быть, кто-нибудь войдет в комнату англичанина раньше восьми часов? Вот в чем вопрос.

Убедившись, что другого выхода нет, он сделал отчаянное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, в котором он так долго пребывал, но как только он пошевелился, его юная спутница проснулась и страстно его поцеловала. Прикоснувшись к его ледяной щеке, она вскрикнула:

— Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор!

— Ничего, — ответил он неуверенно, — мне показалось, что в соседней комнате какой-то шум...

Он высвободился из ее объятий и прежде всего отодвинул голубую туфлю и заставил креслом дверь в соседнюю комнату, чтобы скрыть от своей подруги ужасную жидкость, которая перестала течь и образовала довольно большую лужу на полу. Потом приоткрыл дверь в коридор, прислушался, решился даже подойти к двери англичанина. Она была заперта. В гостинице уже началось движение. Рассветало. Конюхи на дворе чистили лошадей; с третьего этажа по лестнице спускался какой-то офицер, звеня шпорами: он шел наблюдать за интересной операцией, которую лошади любят больше, чем люди, и для которой существует специальное название: «засыпать корм».

Леон вернулся в голубую комнату и со всеми предосторожностями, которые может подсказать любовь, прибегая к массе обиняков и смягченных выражений, изложил своей спутнице положение, в каком они очутились.

Опасно оставаться, опасно и слишком поспешно уезжать. Но еще опаснее дожидаться в гостинице, пока раскроется катастрофа в соседней комнате. Нечего и говорить, что сообщение это произвело ужасное впечатление. Слезы, нелепейшие планы; сколько раз несчастные

бросались друг другу в объятия со словами: «Прости меня, прости меня!» Каждый считал себя главным виновником. Они поклялись умереть вместе, так как молодой человек не сомневался, что правосудие признает их виновными в убийстве англичанина. И так как они не были уверены, что им позволят поцеловаться на эшафоте, они стали целоваться наперед, сжимая друг друга в объятиях и заливаясь слезами.

Наконец, наговорив множество бессмыслиц, нежных и душераздирательных слов, они признали среди тысячи поцелуев, что план, придуманный Леоном, то есть отъезд восьмичасовым поездом, единственно выполнимый и наилучший. Но оставалось еще переждать два томительных часа. При каждом звуке шагов по коридору они дрожали всем телом. Каждый скрип сапог, казалось, возвещал прибытие имперского прокурора.

Свой легкий багаж они уложили во мгновение ока. Молодая женщина хотела сжечь в камине голубую туфлю, но Леон поднял ее, вытер о постельный коврик, поцеловал и спрятал себе в карман. Он удивился, что от нее пахнет ванилью; его спутница душилась «букетом императрицы Евгении».

В гостинице все уже проснулись. Слышно было, как смеются лакеи, поют служанки, солдаты чистят мундиры своих офицеров. Леон хотел заставить свою подругу выпить чашку кофе с молоком, но она объявила, что у нее так сдавило горло, что если она сделает хоть глоток, то умрет.

Леон вооружился своими синими очками и пошел вниз уплатить по счету. Хозяин извинялся перед ним за вчерашний шум, который он до сих пор не мог себе объяснить, так как господа офицеры обыкновенно бывают очень тихие. Леон стал уверять, что он ничего не слышал и превосходно выспался.

— Зато ваш сосед с другой стороны,— продолжал хозяин,— едва ли вас беспокоил. Он никогда не шумит. Быюсь об заклад, что он и теперь еще спит сном праведника.

Леон оперся на конторку, чтобы не упасть, а молодая женщина, которая пришла вместе с ним, судорожно вцепилась в его руку и ту же затянула вуаль.

— Это милорд,— продолжал безжалостный хозяин.— Ему подавай все самое лучшее. Да, это очень достойный

человек. Но не все англичане на него похожи. У нас тут остановился один, прямо скарעד. Все ему слишком дорого: и комната и стол. За билет английского банка и пять фунтов стерлингов он захотел сто двадцать пять франков... Хорошо еще, если бумажка не фальшивая!.. Да вот, вы должны понимать в этом толк: я слышал, как вы говорили по-английски... Хорошая бумажка?

С этими словами он протянул ему пятифунтовый банкнот. На одном углу было маленькое красное пятнышко, происхождение которого Леону стало сразу ясно.

— По-моему, да,— ответил он сдавленным голосом.

— У вас времени много! — продолжал хозяин. — Поезд отходит только в восемь, да еще всегда опаздывает... Присядьте, пожалуйста, сударыня. Вы утомились, как видно...

В эту минуту вошла толстая служанка.

— Скорее горячей воды,— сказала она,— для чая милорду! Подайте также губку! У него разбилась бутылка с вином и залила всю комнату.

При этих словах Леон упал на стул, спутница его — также. Им обоим так хотелось расхохотаться, что они едва сдержались.

Молодая женщина радостно пожала руку своему спутнику.

— Знаете что,— обратился Леон к хозяину,— мы поедем двухчасовым поездом. Приготовьте нам к двенадцати часам завтрак поплотнее.

ДЖУМАН

21 мая 18... года мы возвращались в Тлемсен. Экспедиция была удачной. Мы вели с собою быков, баранов, верблюдов, пленников и заложников.

После тридцатисемидневной кампании или, вернее, непрерывной охоты наши лошади похудели, бока у них впали, но спины не были стерты седлами, и глаза были живые и полные огня. Люди в нашем отряде загорели, волосы у них отросли, португези засалились, мундиры потерлись, но их вид говорил о равнодушии к опасностям

и лишениям, свойственном настоящим солдатам. Какой генерал для лихой атаки не предпочел бы наших егерей самым щегольским эскадронам, одетым с иголки?

С самого утра я уже мечтал о тех маленьких удовольствиях, которые меня ожидали.

Как хорошо выплусь я на своей железной кровати после тридцати семи ночей, проведенных на грубой подстилке! За обедом я буду сидеть на стуле, у меня будет вдосталь свежего хлеба и соли! Я задавал себе вопрос: какой цветок будет сегодня в волосах мадмуазель Кончи — граната или жасмина, и сдержала ли она клятвы, данные мне при отъезде? Но я чувствовал, что большой запас нежности, который привозишь с собой из пустыни, будет принадлежать ей, — все равно, верна она или непостоянна. Не было ни одного человека в эскадроне, который не строил бы каких-нибудь планов на вечер.

Полковник встретил нас как родной отец и даже выразил нам свое одобрение. Затем отвел в сторону нашего командира и минут пять что-то говорил ему вполголоса, должно быть не особенно приятное, судя по выражению их лиц.

Мы наблюдали за движением усов: у полковника они поднимались до бровей, а у нашего командира они раскрутились и уныло свисали на грудь. Молодой егерь уверял, будто лицо у нашего командира заметно вытянулось. Я делал вид, что не слушал его, но вскоре наши лица тоже вытянулись, когда командир, подойдя к нам, сказал:

— Накормить лошадей и приготовиться к выступлению с заходом солнца. Господа офицеры обедают у господина полковника в пять часов в походной форме и после кофе садятся на коней... Вы, может быть, недовольны, господа?..

Мы, конечно, не признались в этом и молча отдали честь, в душе посылая его и полковника ко всем чертям.

Времени для несложных наших приготовлений оставалось немного. Я поспешил переодеться и, окончив туалет, не решился даже сесть в кресло, чтобы не заснуть.

В пять часов я входил в квартиру полковника. Он жил в большом мавританском доме. Во внутреннем дворе я застал множество народа — французы и туземцы толпились вкруг кучки паломников или скоморохов, пришедших с юга.

Руководил представлением старик, безобразный, как обезьяна, полуголый, закутанный в дырявый бурнус; шоколадного цвета тело его было сплошь татуировано, борода седая и всклокоченная, волосы на голове такие курчавые и такие густые, что издали можно было подумать, будто он носит папаху.

В толпе говорили, что это великий святой и великий колдун.

Оркестр, помещавшийся возле него, состоял из двух флейт и трех барабанов — они производили адский шум, вполне достойный предстоящего зрелища. Старик объявил, что он получил от одного весьма чтимого марабута полную власть над демонами и дикими зверями, и после краткого приветствия полковнику и почтеннейшей публике приступил под звуки музыки к чему-то вроде молитвы или заклинания, между тем как актеры по его приказанию стали прыгать, плясать и вертеться на одной ноге, изо всех сил ударяя себя кулаками в грудь.

Тем временем барабаны и флейты все ускоряли темп.

Когда от усталости и головокружения люди эти потеряли последний остаток разума, главный колдун вынул из корзины, стоявших около него, скорпионов и змей и, показав, что они живые, бросил их своим актерам, а те кинулись на них, как собаки на кость, и стали раздирать их, простите, прямо зубами.

Мы смотрели с верхней галереи на это необыкновенное представление, которое давал нам полковник, очевидно, для возбуждения аппетита. Что касается меня, то, отвернувшись от этих бездельников, вызывающих во мне отвращение, я с интересом следил за хорошенькой девочкой лет тринадцати-четырнадцати, которая протискивалась вперед.

У нее были удивительно красивые глаза; на плечи ей падали волосы, заплетенные в тоненькие косички, на концах которых блестели серебряные монетки, и монетки эти позвякивали, когда она грациозным движением поворачивала голову. Одета она была наряднее большинства местных девушек: на голове шелковый, вышитый золотом платок, кофточка из расшитого бархата, короткие голубые атласные панталоны, из-под которых видны были голые ноги в серебряных браслетах. На лице никакого покрывала. Была ли она еврейка, или язычница, или же принадлежала к тем кочевым племенам,

происхождение которых неизвестно и которых не тревожат религиозные предрассудки?

Покуда я с величайшим вниманием следил за всеми ее движениями, она добралась до первого ряда в круге, где эти бесноватые проделывали свои упражнения. Желая продвинуться еще дальше, она опрокинула длинную корзину с узким дном, которая еще не была открыта. Почти одновременно и колдун и девочка испустили вопль ужаса, а окружавшая их толпа в страхе попятилась.

Из корзины выползла огромная змея, и девочка нечаянно придавила ее ногою. В одно мгновение гад обвился вокруг ее ноги. Я заметил, что из-под браслета, что был у девочки на щиколотке, показалось несколько капель крови. Плача и скрежеща зубами, девочка упала навзничь. Пена выступила у нее на губах, и она стала кататься по земле.

— Доктор, помогите скорее! — закричал я нашему полковому хирургу. — Ради бога, спасите бедное дитя!

— Наивный вы человек, — отвечал доктор, пожимая плечами. — Разве вы не видите, что все это входит в программу? К тому же моя специальность — резать вам руки и ноги. Излечивать девиц, ужаленных змеей, — это дело моего собрата, который стоит там, внизу.

Между тем старый колдун подбежал к девочке и прежде всего постарался схватить змею.

— Джуман! Джуман! — говорил он ей тоном дружеской укоризны.

Змея, распустив кольца, освободила свою жертву и поползла в сторону. Колдун проворно схватил ее за кончик хвоста и, держа в вытянутой руке, обошел весь круг. Гад извивался, шипел, но не мог вытянуться.

Известно, что змея, когда ее держат за хвост, чувствует себя очень неловко. Она может приподнять разве только четвертую часть своего тела, а потому не в состоянии ужалить схватившую ее руку.

Минуту спустя змея была водворена в корзину, крышка плотно закрыта, а колдун занялся девочкой, которая не переставала кричать и сучить ногами. Он положил на рану щепотку белого порошка, который вынул из своего пояса, потом пошептал девочке на ухо какое-то заклинание, и оно не замедлило оказать действие. Конвульсии прекратились, девочка отерла рот, подняла

свой шелковый платок, отряхнула с него пыль, надела на голову, встала и удалилась.

Немного погодя она поднялась к нам на галерею и стала собирать плату за представление. Немало монеток в пятьдесят сантимов пожертвовали мы на украшение ее лба и кос.

Представление на этом закончилось, и мы пошли обедать.

Я проголодался и уже готовился оказать честь великоллепному угрю под «татарским» соусом, но доктор, оказавшийся моим соседом, стал меня уверять, что он узнает в этом угре только что виденную нами змею. После этого я уже не мог притронуться к угрю.

Доктор посмеялся над моими предрассудками, взял мою порцию и принялся меня уверять, что угорь оказался превкусным.

— Эти бездельники, которых мы только что видели, — порядочные ловкачи, — говорил он. — Они живут со своими змеями в пещерах, как троглодиты. Девушки у них бывают хорошенькие, взять хотя бы эту малютку в голубых штанишках. Неизвестно, какую религию они исповедуют, но народ они продувной, и с их шейхом я бы не прочь познакомиться.

За обедом мы узнали, почему мы снова выступаем в поход. Сиди-Лала, упорно преследуемый полковником Р., старался пробиться к Мароккским горам.

У него были две дороги на выбор: одна — на юг от Тлемсена, с переходом вброд реки Мулайя в единственном месте, где скалы не делают ее недоступной; другая — через равнину, на север от нашей стоянки. На этом втором пути он должен был встретить нашего полковника и главные силы полка.

Нашему эскадрону было поручено задержать его у брода; если бы он вздумал переходить его. Но это казалось маловероятным.

Должно заметить, что Мулайя течет между отвесными скалами, и только в одном месте существует узкий проход, где могут пройти лошади. Место это было мне хорошо известно, и я не понимаю, почему там до сих пор не поставили блокгауза. Таким образом, полковник имел все шансы встретиться с неприятелем, мы же — прогуляться понапрасну.

Еще до окончания обеда верховые из Матзена доста-

вили денеши от полковника Р. Враг занял позицию и как будто выказывал желание завязать бой. Но он упустил время. Пехота полковника Р. должна была подоспеть и разбить его.

Куда, однако, может в таком случае уйти неприятель? Мы ничего об этом не знали; нужно было перехватить его на обоих направлениях. Правда, был еще третий выход — удрать в пустыню, но об этом нечего было и думать: и стада Сиди-Лала и его люди вскоре погибли бы там от голода и жажды.

Мы условились, какими сигналами будем предупреждать друг друга о движении неприятеля. Три пушечных выстрела из Тлемсена должны были нам дать знать, что Сиди-Лала показался на равнине. Мы же захватили с собой ракеты, чтобы в случае надобности потребовать подкрепления. По всем вероятностям, противник не мог появиться до рассвета, так что у обеих наших колонн было перед ним преимущество в несколько часов.

Ночь уже наступила, когда мы сели на коней. Я командовал передовым взводом. Я чувствовал усталость, мне было холодно. Я надел плащ, поднял воротник, вдел поги в стремяна и спокойно поехал на своей кобыле, рассеянно слушая квартирмейстера Вагнера. Он рассказывал мне о своем любовном приключении, кончившемся тем, что неверная от него убежала, лишив его своего расположения и заодно прихватив серебряные часы и новые сапоги. История эта мне была уже известна, и на этот раз показалась длиннее, чем всегда.

Всходила луна, когда мы пустились в путь. Небо было ясно, но легкий белый туман стлался по земле, и казалось, что она покрыта хлопьями ваты. На эту белую поверхность луна бросала длинные тени, и все предметы принимали фантастический вид. То мне казалось, что я вижу арабских всадников в засаде; подъезжаешь ближе — и видишь куст цветущего тамариска; то мне чудились сигнальные выстрелы пушек. Я останавливался, но Вагнер объяснял мне, что это скачет лошадь.

Мы подъехали к броду, и командир отдал распоряжения.

Для защиты место было превосходное; эскадрон мог бы задержать значительные силы. По ту сторону реки — полнейшее безлюдье.

После довольно долгого ожидания мы слышали

стук копыт скачущей лошади, и вскоре появился араб на великолепном коне, направлявшийся в нашу сторону. По соломенной шляпе со страусовыми перьями, по расшитому золотом седлу, с которого свешивалась *джебира*, украшенная кораллами и золотыми цветами, можно было догадаться, что это вождь; проводник объяснил нам, что это и есть Сиди-Лала. Стройный юноша отлично управлял конем. Он пускал его в галоп, подбрасывал и ловил длинное ружье, крича нам какие-то вызывающие слова.

Рыцарские времена прошли, и Вагнер попросил, чтобы ему позволили, как он выражался, «взять на прицел» этого марабута; я воспротивился и, чтобы не пошла молва, что французы уклонились от поединка с арабом, испросил у командира разрешения перейти брод и скрестить оружие с Сиди-Лала. Разрешение было дано, и я тотчас же переправился на ту сторону, меж тем как неприятельский вождь удалялся коротким галопом для того, чтобы взять разбег.

Как только он увидел меня на том берегу, он помчался на меня, держа ружье на плече.

— Берегись! — крикнул мне Вагнер.

Я почти не испытываю страха, когда в меня стреляют с коня. А кроме того, судя по джигитовке, к которой прибегнул Сиди-Лала, ружье его не должно было хорошо стрелять. Действительно, он нажал курок в трех шагах от меня, но произошла осечка, как я и предполагал. Тотчас же мой молодец повернул коня так быстро, что мой палаш, вместо того, чтобы вонзиться ему в грудь, лишь задел край его развевавшегося бурнуса.

Но я уже гнался за ним по пятам, все время заезжая слева и прижимая его к гряде отвесных скал, тянувшихся вдоль реки. Тщетно пытался он вырваться — расстояние между нами все сокращалось.

После нескольких минут бешеной скачки я увидел, что лошадь его встает на дыбы, а он обеими руками натягивает поводья. Не отдавая себе отчета, для чего он это делает, я налетел на него пулей и всадил свой палаш прямо ему в спину, причем копыто моей кобылы задело его левое бедро. Всадник и конь исчезли, а я и моя кобыла провалились вслед за ними.

Сами того не замечая, мы достигли края пропасти и сверзлись. Находясь еще в воздухе — мысль работает

быстрее! — я смекнул, что тело араба могло бы ослабить удар при моем падении. Я ясно различал перед собой белый бурнус с большим красным пятном. Была не была! Я упал прямо на него.

Падение было не так ужасно, как я ожидал, потому что мы свалились в реку в глубоком месте. Я ушел с головой под воду. С минуту я барахтался, ничего не соображая, потом каким-то чудом оказался среди высоких тростников.

Куда девался Сиди-Лала и обе лошади, я положительно не знаю. Я стоял между скалами, весь мокрый, дрожащий, в грязи. Я сделал несколько шагов, надеясь найти место, где скалы были бы не так отвесны. Но чем дальше я шел, тем более казались они мне крутыми и неприступными.

Вдруг я услышал над головой конский топот и звяканье сабель, ударявшихся о стремяна и шпоры. Очевидно, это был наш эскадрон. Я попытался крикнуть, но из горла не вылетело ни одного звука; должно быть, я разбил себе грудь при падении.

Представьте себе мое положение. Я слышал голоса своих товарищей, я их узнавал и не мог позвать на помощь. Старик Вагнер говорил:

— Предоставь он мне тогда действовать, был бы он теперь жив и произведен в полковники.

Скоро звуки стали удаляться, стихать, и больше я уже ничего не слышал. Над моей головой свисал толстый корень, и я надеялся, ухватившись за него, выбраться на берег. Отчаянным усилием я хватаюсь за него, но вдруг... корень извивается и ускользает от меня с отвратительным шипением... Это была огромная змея.

Я снова упал в воду. Змея проползла у меня между ног и бросилась в реку, причем мне показалось, что она оставляет за собой огненный след...

Минуту спустя я оправился от испуга, но этот дрожащий след на воде не исчезал. Я разглядел, что это — отражение от зажженного факела. Шагах в двадцати от меня какая-то женщина одной рукой наполняла кувшин водою, а в другой руке держала пылающее полено смолистого дерева. Она и не подозревала о моем присутствии. Спокойно поставив кувшин на голову, она скрылась со своим факелом в тростниках. Я пошел за ней и очутился у входа в пещеру.

Женщина совершенно спокойно шла по довольно крутому подъему вроде лестницы, высеченной в стене огромной залы. При свете ее факела я увидел пол этой залы, находившейся на уровне реки, но размеров помещения я не мог определить. Я машинально стал подниматься по лестнице вслед за женщиной, несущей факел, держась от нее на некотором расстоянии. Время от времени свет исчезал за выступами скалы, но вскоре опять появлялся.

Мне показалось, что я заметил мрачное углубление, служившее входом в длинные галереи, сообщавшиеся с главной залой. Это было похоже на подземный город с улицами и перекрестками. Я остановился, — я решил, что опасно блуждать одному в этом громадном лабиринте.

Вдруг одна из галерей подо мной ярко осветилась. Я увидел множество факелов, словно выходивших из стен скалы и образующих длинную процессию. В то же время раздалось заунывное пение, напоминавшее молитвенный распев арабов.

Вскоре я различил большую, медленно подвигавшуюся толпу. Впереди шествовал черный человек, почти нагой, с шапкой густых всклокоченных волос. Его белая борода свисала на грудь, резко выделяясь на расписанном синеватой татуировкой теле. Я сейчас же узнал вчерашнего колдуна, а затем обнаружил подле него и девочку, разыгравшую роль Эвридики, — я узнал ее по красивым глазам, по атласным панталонам и вышитому платку на голове.

За ними следовали женщины, дети, мужчины всех возрастов, все с факелами в руках, все в странных, ярких, длинных, до пят, одеяниях, в высоких шапках, у некоторых — из какого-то металла, отражавшего свет факелов.

Старый колдун остановился как раз подо мною, а за ним и вся процессия. Воцарилась глубокая тишина. Я был футов на двадцать над ним; меня закрывали большие камни, из-за которых я надеялся все увидеть; не будучи замеченным. У ног старика я разглядел широкую плиту, почти круглую, с железным кольцом посередине.

Он произнес несколько слов на непонятном мне языке, во всяком случае, это был не арабский язык и не кабилский. К его ногам упала веревка с блоками, при-

крепленными неизвестно где. Несколько человек проделали ее в кольцо, и по данному знаку двадцать сильных рук, одновременно напрягшись, подняли камень, по-видимому, очень тяжелый, и отодвинули его в сторону.

Я видел отверстие колодца, вода в нем не доходила до краев приблизительно на метр. Нет, это была не вода, а какая-то отвратительная жидкость; она была подернута радужной пленкой, в разрывах которой виднелась мерзкая черная гуща.

Став у края колодца, колдун положил левую руку на голову девочки, а правой начал делать странные жесты, произнося при этом какие-то заклинания среди благоговейной тишины.

Время от времени он возвышал голос, будто кого-то призывая. «Джуман, Джуман!» — выкрикивал он, но никто не появлялся. Он вращал глазами, скрежетал зубами, выпускал хриплые звуки, исходившие словно не из человеческого груди. Кривлянье этого старого негодяя раздражало меня и приводило в негодование; у меня явилось желание запустить в него одним из камней, находившихся у меня под рукою. Уже раз тридцать прорычал он имя «Джуман», когда наконец радужная пленка в колодце дрогнула, и, увидев это, вся толпа отпрянула. Старик и девочка остались одни у колодца.

Вдруг в колодце вздулся большой синеватый пузырь, и из пузыря выставилась огромная голова змеи мертвенно-серого цвета с блестящими глазами...

Невольно отшатнулся и я. Послышался слабый крик и стук падения тяжелого тела в воду.

Когда я через десятую долю секунды снова глянул вниз, уже только один колдун стоял у колодца, вода в котором все еще колыхалась. Посреди клочков радужной пленки плавал головной платок девочки.

Еще немного — и камень снова завалил страшную бездну. Все факелы сразу потухли, и я остался во мраке среди такого безмолвия, что я ясно слышал биение собственного сердца...

Едва опомнившись после этого ужасного зрелища, я решил выйти из подземелья; я дал себе клятву, что если мне удастся соединиться со своими товарищами, я вернусь сюда и уничтожу гнусных обитателей здешних мест: и змей и людей.

Однако надо было отыскать выход. Я прошел, как

мне показалось, шагов сто внутри пещеры, так что скала оставалась у меня справа.

Я сделал полуоборот, однако нигде не видно было никакого света, который указывал бы на выход из подземелья. Оно шло не по прямой линии, а кроме того, с тех пор, как я выбрался из реки, я все время поднимался вверх. Держась левой рукой за каменную стену, а правой сжимая палаш, которым я ощупывал почву, я двигался медленно и осторожно. Я шел четверть часа, двадцать минут... может быть, полчаса, а выхода все не было.

Мною овладело беспокойство. Может быть, сам того не замечая, я зашел в какую-нибудь боковую галерею, вместо того чтобы идти обратно прежней дорогой?

Я все-таки продолжал идти вперед, как вдруг вместо холодного камня скалы ощутил ковер; он подался под моей рукой, и из-за него мелькнула полоса света. С величайшей осторожностью я бесшумно отодвинул ковер и очутился в небольшом коридоре, ведущем к ярко освещенной комнате, дверь в которую была открыта. Комната эта была обита материей с золотыми шелковыми узорами. Я увидел турецкий ковер и маленький бархатный диванчик. На ковре стоял серебряный кальян и курильница. Словом, это было жилище, роскошно обставленное в арабском вкусе.

Неслышными шагами я подошел к двери. Молодая женщина полулежала на диване, около которого стоял низенький наборный столик, а на нем большой золоченый поднос, уставленный чашками, хрустальными сосудами и букетами цветов.

Входя в этот подземный будуар, я почувствовал себя опьяненным какими-то дивными ароматами.

Все дышало негой в этом таинственном убежище, всюду блистали золото, роскошные ткани, редкостные цветы и пестрые краски. Сначала молодая женщина не заметила меня; склонив голову, она задумчиво перебирала пальцами янтарные четки на длинной нитке. Это была настоящая красавица. Черты ее напоминали несчастную девочку, которую я только что видел, но они были более выразительны, более правильны, более чувственны. Черные, что вороново крыло, волосы, «длинные, как царская порфира», ниспадали ей на плечи, на диван и даже на ковер у ее ног. Сквозь прозрачную шелковую

рубашку с широкими полосами виднелись восхитительные руки и грудь. Бархатная курточка, расшитая золотом, охватывала ее стан, а из-под коротких шальвар голубого шелка выглядывала очаровательная маленькая ножка, обутая в шитую золотом туфельку, которую она капризно и грациозно покачивала.

Мои сапоги скрипнули, и красавица, подняв голову, заметила меня.

Не меняя положения и не выказав ни малейшего удивления при виде незнакомца, вошедшего к ней с саблей в руке, она радостно захлопала в ладоши и сделала мне знак приблизиться. Я приветствовал ее, поднеся руку к сердцу и голове, чтобы показать, что мне известны мусульманские обычаи. Она улыбнулась мне и обеими руками подобрала волосы, рассыпавшиеся по дивану; это означало приглашение занять место подле нее. Мне показалось, что все ароматы Аравии исходят от этих чудных волос.

Со скромным видом я сел на краю дивана, решив минутку спустя придвинуться поближе к ней. Она взяла с подноса чашку с филигранным блюдцем, налила в нее пенящегося кофе и, пригубив, протянула мне.

— *Ах, руми, руми!* — произнесла она.

При этих словах я вытаращил глаза. У молодой женщины оказались огромные усы; это был вылитый портрет квартирмейстера Вагнера... И точно, передо мной стоял Вагнер; он протягивал мне чашку кофе, между тем как сам я, привалившись к шее своей лошади, смотрел на него, ничего не понимая.

— Кажется, мы таки всхрапнули, господин лейтенант? Вот мы и у переправы, и кофе готов.

Проспер Мери́ме (1803—1870) — один из замечательных французских реалистов XIX века, блестящий драматург и мастер художественной прозы.

Широкую известность принес писателю сборник пьес «Театр Клары Газуль» (1825). Его издание было связано с дерзкой и вызвавшей немало толков мистификацией: Мери́ме выдал свое произведение за сочинение некоей — вымышленной им — испанской актрисы и общественной деятельницы Клары Газуль. С литературной мистификацией связано и следующее его произведение, названное писателем «Гюзла» («Гусли»). В этом случае баллады в прозе, написанные самим Мери́ме и составившие книгу, были представлены как образцы сербского фольклора. В 1828 году писатель опубликовал драму «Жакерия», посвященную событиям XIV века. Завершает первый период литературной деятельности П. Мери́ме его исторический роман «Хроника царствования Карла IX» (1829), вошедший в данный том. Созданный в период Реставрации, когда к власти вновь вернулись свергнутые Бурбоны, он заключал в себе разоблачение феодальных порядков, власти церковников и дворян, осуждение религиозного фанатизма.

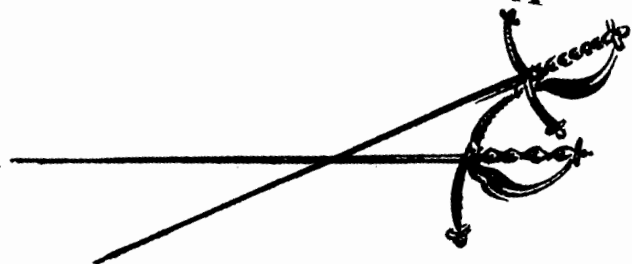
В дальнейшем писатель сосредоточил свой интерес на малой повествовательной форме — новелле, которая позволяла глубже проникнуть во внутренний мир человека и показать обусловленность его характера внешней средой. Созданные Мери́ме новеллы пронизывает несколько ведущих тем: разоблачение нравов тогдашнего общества («Таманго», «Партия в триктрак»); бездушие и черствость так называемого «света» («Этрусская ваза», «Двойная ошибка»); противоречивость буржуазного брака-сделки («Венера Ильская») и т. д. С сочувствием изображая благородные, героические черты внутреннего облика своих героев («Маттео Фальконе», «Коломба»), писатель не скрывал и отрицательных, уродливых сторон их сознания. Рационалист и наследник просветительских традиций Мери́ме не скрывал своего скептического отношения к религии и к церкви («Души чистилища»).

Все названные выше новеллы вошли в первый том избранных его произведений.

Второй том составили поздние новеллы Мери́ме. Три из них — «Арсена Ги́йо», «Кармен», «Аббат Обен» — в 1846 году составили отдельную книгу. Новелле «Арсена Ги́йо» принадлежит выдающееся место в литературном наследии писателя, так как в ней представлены воедино основные идейные мотивы Мери́ме-новеллиста: изображение отталкивающего эгоизма, который скрывается за лицемерной маской добропорядочных представителей буржуазного общества; осуждение религиозного ханжества; сочувствие человеку из народа. Новелла была воспринята светским обществом как дерзкий вызов его морали и нравам. Благодаря опере Бизе едва ли не самым известным и популярным произведением писателя стала новелла «Кармен», где удачно использован прием контраста. «Голубая комната» и «Локис» — последние творения Мери́ме-писателя.

Х

РОНИКА
ЦАРСТВОВАНИЯ
КАРЛА IX





AMERICAN REPUBLICAN PARTY

THE AMERICAN REPUBLICAN PARTY
is a party of the people, and its
policy is to represent the people
in the government. It is a party
of the future, and its policy is to
bring about the most perfect
government that the people can
have. It is a party of the
people, and its policy is to
represent the people in the
government. It is a party of
the future, and its policy is to
bring about the most perfect
government that the people can
have.

THE AMERICAN REPUBLICAN PARTY
is a party of the people, and its
policy is to represent the people
in the government. It is a party
of the future, and its policy is to
bring about the most perfect
government that the people can
have. It is a party of the
people, and its policy is to
represent the people in the
government. It is a party of
the future, and its policy is to
bring about the most perfect
government that the people can
have.



ПРЕДИСЛОВИЕ

За последнее время я прочитал довольно много мемуаров и памфлетов, относящихся к концу XVI века. Мне захотелось сделать экстракт прочитанного, и я его сделал.

В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидиду за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует. Не по Мезре, а по Монлюку, Брантому, д'Обинье, Тавану, Лану и др. составляем мы себе представление о *французе* XVI века. Слог этих авторов не менее характерен, чем самый их рассказ.

У Этуэля сказано мимоходом:

«Девушка Шатонеф, одна из милашек короля до его отъезда в Польшу, увлеклась флорентинцем Антинотти, начальником галер в Марселе, выскочила за него замуж, а потом, обнаружив, что он внял в блуд, взяла да собственными руками его и убила».

При помощи этого анекдота и множества других — а у Брантома их полно, — я мысленно воссоздаю характер,

и передо мной оживает придворная дама времен Генриха III.

Мне представляется любопытным сравнить тогдашние нравы с нашими и обратить внимание на то обстоятельство, что сильные чувства выродились, зато жизнь стала спокойнее, и, пожалуй, счастливее. Остается решить вопрос: лучше ли мы наших предков, а это не так легко, ибо взгляды на одни и те же поступки с течением времени резко изменились.

Так, например, в 1500 году убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причем никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанес ему кровное оскорбление.

Вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX. Что в государстве с развитой цивилизацией считается преступлением, то в государстве менее цивилизованном сходит всего лишь за проявление отваги, а во времена варварские, может быть, даже рассматривалось как похвальный поступок. Суждение об одном и том же деянии надлежит, понятно, выносить еще и в зависимости от того, в какой стране оно совершилось, ибо между двумя народами такое же точно различие, как между двумя столетиями.

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, в один прекрасный день приглашает к себе во дворец на праздник их главных военачальников. Не успели они войти, как ворота за ними захлопываются. Спрятанные на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али царит в Египте единовластно.

Что же из этого? Мы ведем с Мехметом-Али переговоры, более того: он пользуется у европейцев уважением, во всех газетах о нем пишут как о великом человеке, его называют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее совершенного с заранее обдуманном намерении убийства беззащитных людей? Но все дело в том, что подобного рода ловушки узаконены

местными обычаями и объясняются невозможностью выйти из положения иначе. Ну как тут не вспомнить изречение Фигаро: *Ma, per Dio, l'utilita!*

Если бы в распоряжении одного министра, которого я здесь называть не стану, находились албанцы, готовые по его приказу кого угодно расстрелять, и если бы во время одного из званных обедов он отправил на тот свет наиболее видных представителей оппозиции, то фактически его деяние ничем бы не отличалось от деяния египетского паши, а вот с точки зрения нравственной оно в сто раз более преступно. Убивать — это уже не в наших нравах. Но тот же самый министр уволил многих либеральных избирателей, мелких правительственных чиновников, запугал других, и выборы прошли, как ему хотелось. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он бы дальше этого не пошел, а французский министр, очутись он в Египте, непременно начал бы расстреливать, оттого что увольнения не произвели бы на умы мамелюков должного действия.

Варфоломеевская ночь была даже для того времени огромным преступлением, но, повторяю, резня в XVI веке — совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. Считаю нужным прибавить, что участие в ней, прямое или косвенное, приняла большая часть нации; она ополчилась на гугенотов, потому что смотрела на них как на чужестранцев, как на врагов.

Варфоломеевская ночь представляла собой своего рода национальное движение, напоминающее восстание испанцев 1809 года, и парижане, истребляя еретиков, были твердо уверены, что они действуют по воле неба.

Я — рассказчик, и я не обязан последовательно излагать ход исторических событий 1572 года. Но уж раз я заговорил о Варфоломеевской ночи, то не могу не поделиться мыслями, которые пришли мне в голову, когда я читал эту кровавую страницу нашей истории.

Верно ли были поняты причины резни? Была ли она подготовлена заранее или же явилась следствием решения внезапного, быть может — делом случая?

На все эти вопросы ни один историк не дал мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательства историки приводят город-

Черт с ним; наплевать, зато польза! (итал.)

ские слухи и воображаемые разговоры, которые очень мало значат, когда речь идет о решении столь важной исторической проблемы.

Иные утверждают, что Карл IX — это воплощение двуличия, другие рисуют его человеком угрюмым, взбалмошным и вспыльчивым. Если он задолго до 24 августа грозил протестантам, — значит, он исподволь готовил их избиение; если он обласкал их, — значит, он двуличен.

В доказательство того, как легко подхватываются самые неправдоподобные слухи, я хочу рассказать только одну историю, которую вы можете найти везде.

Будто бы уже приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был составлен план резни. Вот в чем он заключался: в Пре-о-Клер должны были построить деревянную башню; туда решено было поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами-католиками, а адмирал с протестантами должен был разыграть атаку — якобы для того, чтобы король поглядел, как происходит осада. Во время этого своеобразного турнира по данному знаку католикам надлежало зарядить свое оружие и перебить врагов, прежде чем они успеют изготавиться к обороне. Чтобы разукрасить эту историю, рассказывают еще, будто фаворит Карла IX Линьероль из-за собственной неосторожности разоблачил заговор, — когда король словесно изничтожал протестантских вельмож, он ему сказал: «Государь! Потерпите немного. У нас есть крепость, и она отомстит за нас всем еретикам». Прошу, однако, заметить, что никто еще не видел ни одной доски от этой крепости. Король велел казнить болтуна. План этот будто бы составил канцлер Бираг, а вместе с тем ему приписывают фразу, свидетельствующую о совершенно иных намерениях: дабы избавить короля от его недругов, ему, Бирагу, нужно, мол, всего несколько поваров. Последнее средство было гораздо более доступным, тогда как план с башней в силу своей необычности представляется почти неосуществимым. В самом деле: неужто у протестантов не возбудили бы подозрений приготовления к военной игре, в которой два стана, еще недавно — враждебных, столкнулись бы лицом к лицу? Да и потом, кто хочет расправиться с гугенотами, тот вряд ли станет собирать их всех в одном месте и вооружать. Ясно, что если бы заговорщики ставили своей задачей истребление всех протестантов, то насколько же целесо-

образнее было бы перебить их, безоружных, поодиночке!

По моему глубокому убеждению, резня была преднамеренной, и мне непонятно, что заставляет придерживаться противоположного мнения авторов, которые, однако, сходятся на том, что Екатерина — женщина очень злая, но что это один из самых глубоких политических умов XVI века.

Оставим пока в стороне нравственные принципы и рассмотрим этот мнимый план только с точки зрения его выгоды. Так вот, я стою на том, что план этот был невыгоден двору; к тому же осуществлен он был в высшей степени бестолково, из чего приходится сделать вывод, что составляли его люди весьма недалекие.

Рассмотрим, выиграла бы или проиграла королевская власть от такого плана и в ее ли интересах было согласиться на то, чтобы он был приведен в исполнение.

Франция делилась тогда на три крупные партии: на партию протестантов, которую после смерти принца Конде возглавил адмирал, на королевскую партию, слабейшую из трех, и на партию Гизов — тогдашних ультра-роялистов.

Ясно, что король, у которого было ровно столько же оснований опасаться Гизов, сколько и протестантов, должен был постараться укрепить свою власть, сталкивая между собой эти два враждебных лагеря. Раздавить один из них — значило отдать себя на милость другому.

Система балансирования была уже тогда достаточно известна и применялась на деле. Еще Людовик XI говорил: «Разделяй и властвуй».

Теперь посмотрим, был ли Карл IX набожен. Ревностное благочестие могло толкнуть его на неосторожный шаг, но нет: все говорит о том, что если он и не был вольнодумцем, то, с другой стороны, не был и фанатиком. Да и руководившая им мать, не задумываясь, принесла бы в жертву свои религиозные убеждения, если только они у нее были, ради своего властолюбия.

Предположим, однако, что сам Карл, или его мать, или, если хотите, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, истребить протестантов во Франции. Когда бы они такое решение приняли, то уж, конечно, взвесив все опособы, остановились бы на наиболее верном. Тогда первое, что пришло бы им на ум

как наиболее надежное средство, это одновременное истребление реформатов во всех городах королевства, дабы реформаты, подвергшись нападению численно превосходящих сил противника, нигде не могли оказать сопротивления. Для того чтобы с ними покончить, потребовался бы всего один день. Именно так замыслил истребить евреев Ассуэр.

Между тем мы знаем из истории, что первый указ короля об истреблении протестантов помечен 28 августа, то есть он был издан четыре дня спустя после Варфоломеевской ночи, когда весть об этой страшной бойне давно уже опередила королевских гонцов и должна была всколыхнуть протестантов.

Особенно важно было захватить крепости протестантов. Пока крепости оставались в их руках, королевская власть не могла чувствовать себя в безопасности. Следовательно, если бы католический заговор действительно существовал, то ясно, что католикам надлежало принять две наиболее срочные меры: 24 августа захватить Ла-Рошель и держать целую армию на юге Франции с целью помешать объединению реформатов.

Ни того, ни другого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы люди, замыслившие чреватое столь важными последствиями преступление, так неумело его совершили. В самом деле, принятые меры оказались, настолько слабыми, что спустя несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война разгорелась с новой силой, и вся слава в этой войне досталась конечно реформатам, и они извлекли из нее новые выгоды.

Далее: за два дня до Варфоломеевской ночи произошло убийство Колиньи, — не отмечает ли оно окончательно предположение о заговоре? К чему убивать главаря до всеобщего истребления? Не значило ли это вспугнуть гугенотов и заставить их быть начеку?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают убийство адмирала только одному герцогу Гизу. Однако, не говоря о том, что общественное мнение обвинило в этом преступлении короля и что убийца получил от короля награду, я бы извлек из этого факта еще один аргумент против предположения о наличии заговора. В самом деле, если бы заговор существовал, герцог Гиз непременно принял бы в нем участие, а в таком случае почему

бы не отложить кровную месть на два дня, чтобы уж отомстить наверняка? Неужели только ради того, чтобы ускорить на два дня гибель своего врага, надо было ставить на карту успех всего предприятия?

Итак, по моему мнению, все указывает на то, что это великое избиение не явилось следствием заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне непредвиденным, стихийным народным восстанием.

Попытаюсь в меру моих скромных сил разгадать эту загадку.

Колиньи трижды вел переговоры со своим государем на равных правах — уже это одно могло возбудить к нему ненависть. Когда умерла Жанна д'Альбре, оба юных принца — и король Наваррский, и принц Конде — были еще слишком молоды, никто бы за ними не пошел, а потому Колиньи был действительно единственным вождем партии реформатов. После смерти Колиньи оба принца оказались как бы пленниками во враждебном лагере, участь их теперь всецело зависела от короля. Значит, только смерть Колиньи, только его одного, была нужна для укрепления власти Карла IX, который, вероятно, помнил слова герцога Альбы: «Голова одного лосося стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы король одним ударом мог избавиться и от адмирала, и от герцога Гиза, то он стал бы неограниченным властелином.

Вот что ему следовало предпринять: прежде всего он должен был возложить убийство адмирала на герцога Гиза или, во всяком случае, свалить на него это убийство, а затем объявить, что он готов выдать его головой гугенотам, и начать против него преследование как против убийцы. Мы не можем ручаться, был герцог Гиз соучастником Морвеля или не был, но что он с великою поспешностью покинул Париж и что реформаты, которым король для вида покровительствовал, угрожали принцам Лотарингского дома, — это мы знаем наверное.

Парижский люд был тогда до ужаса фанатичен. Горожане создали нечто вроде национальной гвардии, которая представляла собой настоящее войско и готова была взяться за оружие, едва лишь заслышит набат. Насколько парижане любили герцога Гиза — и в память

отца, и за его личные заслуги, — настолько гугеноты, дважды их осаждавшие, были им ненавистны. В ту пору, когда одна из сестер короля была выдана замуж за принца, исповедовавшего гугенотскую веру, гугеноты пользовались при дворе некоторым расположением, но от этого они стали еще заносчивее и еще ненавистнее своим врагам. Словом, для того чтобы фанатики бросились резать своих впавших в ересь соотечественников, нужно было кому-нибудь стать во главе их и крикнуть: «Бей!», только и всего.

Опальный герцог, которому угрожали и король и протестанты, вынужден был искать поддержки в народе. Он собирает начальников городского ополчения, сообщает им, что существует заговор еретиков, требует перебить заговорщиков, пока они еще не начали действовать, и *только после этого* решено было учинить резню. Строгость тайны, в которую был облечен заговор, а также тот факт, что, хотя в заговор было втянуто множество людей, никто этой тайны не выдал, объясняется весьма просто: после возникновения замысла и до его осуществления прошло всего лишь несколько часов. Если бы дело обстояло иначе, это было бы нечто из ряда вон выходящее, ибо *в Париже любой секрет распространяется мгновенно*.

Теперь трудно определить, какое участие принял в резне король; если он ее и не одобрил, то уж, вне всякого сомнения, допустил. Спустя два дня, в течение которых совершались убийства и насилия, он от всего отрекся и попытался остановить бойню. Но ярости народной дай только волю — небольшим количеством крови ее тогда уже не утолить. Ей понадобилось шестьдесят с лишним тысяч жертв. Монарх вынужден был плыть по течению. Он отменил указ о помиловании и вскоре издал другой, вследствие которого волна убийств прокатилась по всей Франции.

Вот каков мой взгляд на Варфоломеевскую ночь, но, изложив его, я повторю слова лорда Байрона:

*I only say, suppose this supposition.
«D. Juan», cant I, st., LXXXV.
1829*

¹ Я говорю одно: предположим. «Дон Жуан», песня 1, строфа LXXXV (англ.).

ГЛАВА ПЕРВАЯ РЕЙТАРЫ

The black band came over
The Alps and their snow,
With Bourbon the rover
They passend the broad Po.

Lord Byron. *The deformed transformed*¹

Когда едешь в Париж, то неподалеку от Этампа еще и сейчас виднеется большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное грубыми изваяниями. Над входом — ниша; прежде там стояла каменная мадонна, но во время революции она разделила участь многих святых мужского и женского пола: ее торжественно разбил председатель ларсийского революционного клуба. Впоследствии ее заменили другой статуей дeвы Марии, — правда, из гипса, но благодаря шелковым лоскуткам и стекляшкам она выглядит даже нарядно и облагораживает находящийся в самом здании кабачок Жиро.

Более двухсот лет тому назад, а именно — в 1572 году, это здание тоже служило приютом для жаждущих, но тогда у него был совсем другой вид. Надписи на его стенах говорили о превратностях гражданской войны. Тут можно было прочесть: *Да здравствует принц!*, а рядом: *Да здравствует герцог Гиз!* *Смерть гугенотам!* Поодаль какой-то солдат нарисовал углем виселицу и повешенного, а во избежание недоразумений подписал внизу: *Гаспар де Шатильон*. Вскоре, однако, в том краю взяли верх, по-видимому, протестанты, так как имя их предводителя кто-то зачеркнул и написал: *Герцог Гиз*. Другие надписи полустерты и прочтению поддаются с трудом, а еще труднее передать их смысл в выражениях пристойных, однако из них явствует, что о короле и его матери отзывались в ту пору столь же непочтительно, как и о главарях обоих станов. Но особенно, должно

¹ Черная шайка

Во главе с разбойником Бурбоном,

Перевалив снежные Альпы,

Перешла через По. Лорд Байрон. «Преображенный
урод» (англ.).

быть, пострадала от разбушевавшихся гражданских и религиозных страстей несчастная мадонна. Следы пуль, повредивших статую местах в двадцати, свидетельствовали о той ярости, с какой гугеноты разрушали «языческие кумиры», — так они называли подобные изображения. Набожный католик, проходя мимо статуи, из чувства благоговения снимал шляпу, а всадник-протестант почитал своим долгом выстрелить из аркебузы, и если попадал, то испытывал такое же точно удовлетворение, как будто он сокрушил апокалипсического зверя или же искоренил идолопоклонство.

Несколько месяцев тому назад между двумя враждовавшими вероисповеданиями был заключен мир, но клятвы произносились при этом не от чистого сердца. Озлобление в обоих лагерях не ослабевало. Все напоминало о том, что военные действия прекратились совсем недавно, все предсказывало, что мир не может быть прочным.

Гостиница *Золотой лев* была набита солдатами. Выговор и особая форма одежды отличали в них немецких конников, так называемых *рейтаров*, которые являлись предлагать свои услуги протестантам чаще всего именно тогда, когда протестанты бывали в состоянии щедро вознаградить их. Ловкие наездники и меткие стрелки, рейтары представляли собой грозную силу в бою, но они стяжали себе еще и другую славу — неумолимых победителей, грабивших все подряд, и вот эта слава была ими, пожалуй, в большей мере заслужена.

Отряд, разместившийся в гостинице и состоявший из пятидесяти конников, выступил накануне из Парижа, чтобы нести в Орлеане гарнизонную службу. Одни чистили привязанных к стене лошадей, другие разводили огонь, поворачивали вертела, — словом, готовили себе еду. Несчастный хозяин гостиницы мял шапку в руках и со слезами смотрел на беспорядок в кухне. Его птичник был уничтожен, погреб разграблен; солдаты не давали себе труда откупоривать бутылки, а прямо отбивали у них горлышки. К умножению всех бедствий, хозяин отлично знал, что от людей, которые обходятся с ним как с неприятелем, возмещения убытков он не дожидается, хотя против нарушителей воинской дисциплины король издал свирепые указы. В то жестокое время — все равно, мирное или военное, — вооруженное войско всегда

находилось на изживении местных жителей, и это установление никто не решался оспаривать.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел рейтарский капитан. Это был высокий тучный человек лет пятидесяти, с орлиным носом, багровым лицом, редкими седеющими волосами, не закрывавшими широкого рубца, начинавшегося от левого уха и пропадавшего в густых усах. Панцирь и каску он снял; его камзол из венгерской кожи почернел, оттого что об него постоянно терлось оружие, а в некоторых местах был тщательно зачищен. Сабля и пистолеты лежали на скамейке, — в случае чего капитан легко мог до них дотянуться, а на себе он оставил широкий кинжал: с этим оружием человек благоразумный расставался тогда, только ложась в постель.

Слева от него сидел молодой человек, румяный, высокий и довольно стройный. Его камзол был вышит, да и весь его костюм отличался несколько большей изысканностью, нежели костюм соседа. Между тем он был всего только штандарт-юнкером, а сосед — капитаном.

С ним разделяли компанию сидевшие за тем же столиком две молодые женщины, обе — лет двадцати с небольшим. Их одежда, явно с чужого плеча, которую они, по-видимому, взяли в добычу, представляла собой странную смесь роскоши и нищеты. На одной был лиф из камки, шитый золотом, которое давным-давно потускнело, и простая холщовая юбка; на другой — лилового бархата платье и мужская, серого войлока, шляпа с петушиным пером. Обе были миловидны. Их смелые взгляды и вольные речи указывали на то, что они привыкли жить среди солдат. Они выехали из Германии, не ставя перед собой определенных целей. Женщина в бархатном платье была цыганка — она гадала на картах и играла на мандолине. Другая имела кое-какие познания в хирургии и, по всем признакам, пользовалась особым расположением штандарт-юнкера.

Перед каждым из сидевших за столиком стояла большая бутылка и стакан, и в ожидании ужина все четверо болтали и потягивали вино.

Голод, однако, брал свое, и собеседники вяло поддерживали разговор, но в это время у ворот гостиницы остановился молодой человек высокого роста, довольно нарядно одетый, верхом на добром соловом коне. Со

скамьи встал рейтар-трубач и, приблизившись к незнакомцу, взял его коня под уздцы. Незнакомец, приняв это за проявление учтивости, хотел было поблагодарить трубача, но очень скоро понял, что заблуждался, так как трубач разжал коню зубы и с видом знатока осмотрел их, затем отошел на несколько шагов и, проведя глазами по ногам и по крупу благородного животного, в знак удовлетворения закивал головой.

— Знатный у вас конь, *каспадин!* — сказал он на ломаном языке и добавил несколько слов по-немецки, вызвавших взрыв хохота у его товарищей, в кругу которых он поспешил снова усесться.

Бесцеремонный этот осмотр не понравился путнику. Однако он ограничился тем, что бросил на трубача презрительный взгляд, а потом без посторонней помощи слез с коня.

Хозяин, как раз в эту минуту вышедший во двор, почтительно взял у него из рук поводья и сказал ему на ухо, так, чтобы рейтары не могли услышать:

— Милости просим, молодой барин! Но только не в добрый час вы к нам прибыли: эти безобразники, чтоб им святой Христофор шею свернул, — не очень приятная компания для таких добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек насмешливо улыбнулся.

— Это что же, протестантская конница? — спросил он.

— Еще того чище — рейтары, — пояснил трактирщик. — Приехали час тому назад, а уже, чтоб им ни дна, ни покрышки, половину вещей успели у меня переломать. Такие же лихие разбойники, как их атаман, чертов адмирал Шатильон.

— У вас борода седая, а до чего же вы неосторожны! — заметил молодой человек. — А ну как вы напали на протестанта! Ведь за такие речи он вас по головке не погладит!

Произнося эти слова, молодой человек похлопывал хлыстом по своим сапогам из белой кожи.

— Как?.. Что такое?.. Вы — гугенот?.. То есть протестант?.. — в полном изумлении воскликнул трактирщик.

Он отступил на шаг и с головы до ног оглядел ново-прибывшего, — он словно хотел отыскать в его одежде какой-нибудь признак, по которому можно было бы определить, какую веру тот исповедует. Одежда и откры-

тоё, улыбающееся лицо молодого человека несколько успокоили трактирщика, и он заговорил еще тише:

— Протестант в зеленом бархатном камзоле! Гугенот в испанских брыжах! Нет, это вздор! Меня, молодой барин, не обманешь: еретики так нарядно не одеваются. Пресвятая дева! Камзол из самолучшего бархата — это будет слишком жирно для таких голодранцев, как они!

В ту же минуту со свистом разрезал воздух хлыст и ударил бедного трактирщика по щеке — так его собеседник выразил свой символ веры.

— Нахальный болтун! Я тебя выучу держать язык на привязи! А ну, веди моего коня в стойло! Да смотри, чтобы у коня всего было вдоволь!

Трактирщик, понурив голову, повел коня в некое подобие сарая, шепотом посылая проклятья и немецким и французским еретикам. И если бы молодой человек не пошел за ним поглядеть, как он будет обращаться с конем, бедное животное, вне всякого сомнения, было бы не накормлено на том основании, что конь еретика тоже еретик.

Незнакомец вошел в кухню и, изящным движением приподняв широкополую шляпу с изжелта-черным пером, поздоровался. Капитан ответил ему на поклон, а затем оба некоторое время молча рассматривали друг друга.

— Капитан! — заговорил юный незнакомец. — Я дворянин, протестант, я рад, что встретил моих единоверцев. Если вы ничего не имеете против, давайте вместе отужинаем.

Богатое одеяние незнакомца, а также его изысканная манера выражаться произвели на капитана благоприятное впечатление, и он сказал, что почтет это за честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы уже упоминали, поспешила подвинуться. Будучи от природы услужливой, она даже уступила незнакомцу свой стакан, а капитан немедленно наполнил его.

— Меня зовут Дитрихом Горнштейном, — чокаясь с молодым человеком, сообщил капитан. — Вы, уж верно, слышали о капитане Дитрихе Горнштейне? Это я водил Бедовых ребят в бой под Дре, а затем под Арне-ле-Дюк.

Незнакомец сообразил, что у него не прямо спрашивают, как его зовут.

— К сожалению, капитан, я не могу похвастаться таким славным именем, как ваше, — отвечал он. — Я говорю только о себе, потому что имя моего отца во время гражданской войны стало широко известно. Меня зовут Бернаром де Мержи.

— Мне ли не знать это имя! — воскликнул Дитрих Горнштейн и налил себе полный стакан. — Я, господин Бернар де Мержи, знал вашего батюшку. Мы с ним познакомились еще в первую гражданскую войну, мы были закадычными друзьями. За его здоровье, господин Бернар!

Дитрих Горнштейн поднял стакан и сказал своему отряду несколько слов по-немецки. Как скоро он поднес стакан ко рту, все конники подбросили в воздух шапки и что-то при этом прокричали. Хозяин, вообразив, что это знак к избиению, упал на колени. Самого Бернара несколько удивили необыкновенные эти почести. Со всем тем он почел своим долгом в ответ на это изъявление немецкой вежливости выпить за здоровье капитана.

Бутылки еще до его прихода подверглись ожесточенной атаке, а потому на новый тост вина не хватило.

— Вставай, ханжа! — обратившись к хозяину, который все еще стоял на коленях, приказал капитан. — Вставай и сходи за вином! Ты что, не видишь, что в бутылках пусто?

Штандарт-юнкер для пушей убедительности запустил в него бутылкой. Хозяин побежал в погреб.

— Он изрядный наглец, — заметил де Мержи, — однако ж если б вы в него попали, то ему бы не поздоровилось!

— Наплевать! — с громким хохотом отозвался штандарт-юнкер.

— Голова паписта крепче бутылки, — вмешалась Мила. — Но зато в ней уж совсем пусто.

Штандарт-юнкер захохотал еще громче и заразил всех остальных, даже Мержи, хотя его заставила улыбнуться не столько язвительная шутка цыганки, сколько ее премилый ротик.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан заговорил снова, но уже с полным ртом:

— Как мне не знать господина де Мержи! Когда начался первый поход принца, он был уже в чине полков-

ника и служил в пехоте. Во время первой осады Орлеана мы с ним два месяца стояли на одной квартире. А как он сейчас себя чувствует?

— Слава богу, для его преклонного возраста недурно! Он много рассказывал мне о рейтарах и об их лихих наскоках во время сражения под Дре.

— Я знал и его старшего сына... вашего брата, капитана Жоржа... то есть знал до того, как он...

Мержи приметно смутился.

— Это был отчаянный храбрец, — продолжал капитан, — но, черт его дери, больно горячая голова! Мне было так обидно за вашего батюшку! Я думаю, отступничество сына его очень огорчило.

Мержи покраснел до корней волос. Он что-то пролетал в оправдание своему брату, однако легко можно было заметить, что в глубине души он строже судит своего брата, нежели рейтарский капитан.

— Я вижу, вам этот разговор неприятен, — молвил Дитрих Горништейн. — Ну что ж, поговорим о другом. Это потеря для протестантов и ценное приобретение для короля, — как слышно, он у короля в большом почете.

— Ведь вы только что из Парижа, — постарался переменить разговор Мержи. — Адмирал уже там? Вы его, конечно, видели? Ну, как он теперь?

— Когда мы выступали, он вместе с двором возвратился из Блуа. Чувствует он себя превосходно, свеж и бодр. Такой молодчина, как он, еще двадцать гражданских войн выдержит и не охнет! Его величество так к нему благоволит, что все папошки готовы лопнуть с досады.

— Он это заслужил! Король перед ним в неоплатном долгу.

— Послушайте: я вчера был в Лувре и видел, как король пожимал адмиралу руку на лестнице. Гиз плелся сзади с видом побитой собаки. Знаете, что мне в эту минуту почудилось? Будто какой-то человек показывает на ярмарке льва: заставляет протягивать лапу, как делают собачки. Но хоть вожак и храбрится и не подает виду, а все-таки ни на секунду не забывает, что у этой лапы, которую он держит, страшные когти. Да, да, не сойти мне с этого места, если король тогда не почувствовал адмиральские когти.

— У адмирала длинная рука, — вставил штандарт-

юнкер. (В протестантском войске это выражение вошло в разговорку).

— Для своих лет он мужчина хоть куда, — заметила Мила.

— Если б мне пришлось выбирать между ним и молодым папистом, я бы взяла себе в любовники адмирала, — подхватила подружка штандарт-юнкера Трудхен.

— Это оплот нашей веры, — сказал Мержи: ему тоже захотелось принять участие в славословии.

— Вот только насчет дисциплины он уж чересчур строг, — покачав головой, сказал капитан.

Штандарт-юнкер многозначительно подмигнул, и его толстую физиономию исказила гримаса, которая должна была изобразить улыбку.

— Этого я от вас не ожидал, капитан, — молвил Мержи, — старому солдату не к лицу упрекать адмирала в том, что он требует от своего войска неуклонного соблюдения дисциплины.

— Да, конечно, дисциплина нужна. Но ведь и то сказать: доля солдата нелегкая, так если ему в кои-то веки представится случай весело провести время, то запрещать ему веселиться не следует. А впрочем, у каждого человека свои недостатки, и хотя адмирал меня повесил, я предлагаю выпить за его здоровье.

— Адмирал вас повесил? — переспросил Мержи. — Однако выглядите вы молодым и на повешенного нисколько не похожи.

— Да, *шорт восми*, он меня повесил. Но я на него зла не держу. Выпьем за его здоровье!

Мержи хотел было продолжать расспросы, но капитан, наполнив стаканы, снял шляпу и велел своим конникам троекратно прокричать «ура». Когда же стаканы были осушены и воцарилась тишина, Мержи снова обратился к рейтару:

— Так за что же вас повесили, капитан?

— За чепуху. В Сентонже был сначала разграблен, а потом случайно сгорел паршивый монастырь.

— Да, но *все* монахи оттуда *не* вышли, — ввернул штандарт-юнкер и залился хохотом — так ему понравилась собственная острота.

— Велика важность! Раньше ли, позже ли — все равно этой сволочи не избежать огня! Со всем тем, вы не поверите, господин де Мержи, — адмирал рассердился на

меня не на шутку. Он велел меня схватить, а главный профос нимало не медля исполнил его приказание. Вся свита адмирала, дворяне, вельможи, сам Лану, а Лану, как известно, солдатам поблажки не дает, недаром его прозвали *Долбану*, — все полководцы просили адмирала помиловать меня, а он — ни за что. Вот до чего, волк его заешь, обозлился! Всю зубочистку изжевал от бешенства, а вы же знаете поговорку: «Избави нас, боже, от четок Монморанси и от зубочистки адмирала!» Говорит: «Мародерку, — прости, господи, мое согрешение, — надо уничтожить, пока она еще девочка, а если она при нашем попустительстве превратится в важную даму, то она всех нас уничтожит». Тут как из-под земли вырастает священник с Евангелием под мышкой, и нас с ним ведут к дубу... Дуб я как сейчас вижу: один сук торчит, словно нарочно для этого вырос. На шею мне накидывают петлю. Всякий раз, как представляю ее себе, в горле становится сухо, точно это не горло, а трут...

— Здесь есть чем его промочить, — сказала Мила и налила рассказчику полный стакан.

Капитан опорожнил его единым духом и продолжал:

— Я уже смотрел на себя, как на желудь, и вдруг меня осенило. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Неужто вам не жаль повесить человека, который командовал под Дре Бедовыми ребятами?» Гляжу: вынул зубочистку, берется за другую. «Отлично, — думаю себе, — это добрый знак!» Подозвал он одного из военачальников, по имени Кормье, и что-то прошептал ему на ухо. А потом говорит профосу: «Ну-ка, вздерни его!» — и зашагал прочь. Меня вздернули по всем правилам, но славный Кормье выхватил шпагу и разрубил веревку, а я, красный как рак, грянулся оземь.

— Поздравляю вас, — сказал Мержи, — вы дешево отделались.

Он пристально смотрел на капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, который вполне заслужил виселицу, но в то страшное время преступления совершались на каждом шагу, и за них нельзя было судить так же строго, как судили бы мы за них теперь. Жестокости одного лагеря до известной степени оправдывали ответные меры, ненависть на религиозной почве почти совершенно заглушала чувство национального единства. Притом, откоро-

венно говоря, Мила с ним умишкой заигрывала, а она ему все больше и больше нравилась, да тут еще винные пары, которые на его юные мозги оказывали более сильное действие, нежели на чутунные головы рейтаров,— все это заставляло его относиться сейчас к своим собутыльникам в высшей степени снисходительно.

— Я недели полторы прятала капитана в крытой повозке, а выпускала только по ночам,— сказала Мила.

— А я приносила ему попить-поесть,— добавила Трудхен.— Он может это подтвердить.

— Адмирал сделал вид, что распалился гневом на Кормье, но это они оба разыгрывали комедию. Я потом долго шел за войском и не смел показываться на глаза адмиралу. Наконец во время осады Лоньяка он наткнулся на меня в окопе и говорит: «Друг мой Дитрих! Раз уж тебя не повесили, так пусть расстреляют!» И тут он показал на пролом в крепостной стене. Я понял, что он хочет сказать, и смело пошел брать Лоньяк приступом, а на другой день подхожу к нему на главной улице, в руке у меня простреленная шляпа. «Ваше, говорю, высокопревосходительство! Меня расстреляли так же точно, как и повесили». Адмирал усмехнулся и протянул мне кошелек. «Вот тебе, говорит, на новую шляпу!» С тех пор мы с ним друзья... Да уж, в Лоньяке мы пограбили так пограбили! Вспомнишь — слюнки текут.

— Какие красивые шелковые платья нам достались! — воскликнула Мила.

— Сколько хорошего белья! — воскликнула Трудхен.

— Какого жару мы дали монашкам из большого монастыря! — вмешался штандарт-юнкер.— Двести конных аркебузирова — на постое у сотни монашек!..

— Более двадцати монашек отреклось от папизма — до того пришлось им по вкусу гугеноты,— сказала Мила.

— Любо-дорого было смотреть на монахов аргументов! — воскликнул капитан.— Они в церковном облачении коней поить водили. Наши кони ели овес на престолах, а мы пили славное церковное вино из серебряных чаш!

Он повернул голову и хотел было потребовать еще вина, но увидел, что трактирщик с выражением непреодолеваемого ужаса сложил руки и поднял глаза к небу.

— Болван! — пожав плечами, проговорил храбрый Дитрих Горнштейн.— Только круглые дураки могут верить рассказам католических попов. Послушайте, гос-

подин де Мержи; в бою под Монконтуром я выстрелом из пистолета уложил на месте дворянина из свиты герцога Анжуйского. Стащил я с него камзол, и что же бы вы думали, я нашел у него на брюхе? Большой лоскут шелка, на котором были вытканы имена святых. Он надеялся, что это уберет его от пули. Черта лысого! Я ему доказал, что нет такой ладанки, через которую не прошла бы протестантская пуля.

— Да, ладанки,— подхватил штандарт-юнкер.— А у меня на родине продают куски пергамента, предохраняющие от свинца и от железа.

— Я предпочитаю на совесть сработанную кирасу из лучшей стали, вроде тех, какие выделывает в Нидерландах Якоб Леско,— заметил Мержи.

— А все-таки я стою на том, что человек может сделаться неуязвимым,— снова заговорил капитан.— Я собственными глазами видел в Дре дворянина,— пуля попала ему прямо в грудь. Но он знал рецепт чудодейственной мази и перед боем ею натерся, а еще на нем был буйволовоy кожи нагрудник, так на теле у него даже кровоподтека, как после ушиба, и того не осталось.

— А вы не находите, что одного этого нагрудника оказалось достаточно, чтобы защитить дворянина от пули?

— Ох, французы, французы, какие же вы все маловеры! А если я вам скажу, что при мне один силезский латник положил руку на стол и кто ни полоснет ее ножом — хоть бы один порез? Вы улыбаетесь? Вы думаете, что это басня? Спросите у Милы, вот у этой девушки. Она родом из такого края, где колдуны — обычное явление, все равно что здесь монахи. Она может вам рассказать много страшных историй. Бывало, длинным осенним вечером сидим мы у костра, под открытым небом, а она рассказывает нам про всякие приключения, так у нас у всех волосы дыбом.

— Я бы с удовольствием послушал,— сказал Мержи.— Прелестная Мила! Сделайте одолжение, расскажите!

— Правда, Мила,— подхватил капитан,— нам надо это допить, а ты пока что-нибудь расскажи.

— Коли так, слушайте со вниманием,— проговорила Мила.— А вы, молодой барин, вы ничему не верите, ну и не верьте, только рассказывать не мешайте.

— Почему вы обо мне такого мнения? — вполголоса обратился к ней Мержи. — По чести, я уверен, что вы меня приворожили: я в вас влюблен без памяти.

Мержи потянулся губами к ее щеке, но Мила мягким движением отстранила его и, окинув беглым взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли ее слушают, начала с вопроса:

— Капитан! Вы, конечно, бывали в Гамельне?

— Ни разу не был.

— А вы, юнкер?

— Тоже не был.

— Как? Неужели никто из вас не был в Гамельне?

— Я прожил там целый год, — подойдя к столу, объявил один из конников.

— Стало быть, Фриц, ты видел Гамельнский собор?

— Сколько раз!

— И раскрашенные окна видел?

— Ну еще бы!

— А что на окнах нарисовано?

— На окнах-то? На левом окне, сколько я помню, нарисован высокий черный человек; он играет на флейте, а за ним бегут ребятишки.

— Верно. Так вот я вам сейчас расскажу историю про черного человека и про детей.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от великого множества крыс — крысы шли с севера такими несметными полчищами, что земля казалась черной; возчики не отваживались переезжать дорогу, по которой двигались эти твари. Они все пожирали в мгновение ока. Съесть в амбаре целый мешок зерна было для них так же просто, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Мила выпила, вытерла рот и продолжала:

— Мышеловки, крысоловки, капканы, отравы — ничто на них не действовало. Из Бремена тысячу сто кошек прислали на барже, но и это не помогло. Тысячу крыс истребят — появляются новые десять тысяч, еще прожорливей первых. Словом сказать, если б от этого бича не пришло избавление, во всем Гамельне не осталось бы ни зернышка, и жители перемерли бы с голоду.

Но вот однажды — это было в пятницу — к бургомистру приходит высокий мужчина, загорелый, сухопарый, пучеглазый, большеротый, в красном камзоле, в остроко-

нечной шляпе, в широченных штанах с лентами, в серых чулках, в башмаках с огненного цвета бантиками. Сбоку у него висела кожаная сумочка. Он как живой стоит у меня перед глазами.

Все невольно обратили взоры к стене, с которой не сводила глаз Мила.

— Так вы его видели? — спросил Мержи.

— Я сама — нет, его видела моя бабушка. Она так ясно представляла себе наружность этого человека, что могла бы написать его портрет.

— Что же он сказал бургомистру?

— Он предложил за сто дукатов избавить город от этой напасти. Бургомистр и горожане, понятно, без всяких разговоров ударили с ним по рукам. Тогда незнакомец вышел на базарную площадь, стал спиной к собору, — прошу вас это запомнить, — достал из сумки бронзовую флейту и заиграл какую-то странную мелодию — ни один немецкий флейтист никогда ее не играл. Едва слышав эту мелодию, из всех амбаров, из всех норок, со стропил, из-под черепиц к нему сбежались сотни, тысячи крыс и мышей. Незнакомец, не переставая играть, направился к Везеру, снял на берегу штаны и вошел в воду, а за ним попрыгали гамельнские крысы и, разумеется, утонули. В городе еще оставалась только одна крыса, — сейчас я вам объясню, почему. Колдун, — а ведь это был, конечно, колдун, — спросил отставшую крысу, которая еще не вошла в воду: «А почему еще не пришла седая крыса Клаус?» — «У нее, сударь, от старости лапы отнялись», — отвечала крыса. «Ну так сходи за ней!» — приказал ей колдун. Крысе пришлось тащиться обратно в город, вернулась же она со старой жирной седой крысой, и до того эта крыса была стара, до того стара, что уже не могла двигаться. Крыса помоложе потянула старую за хвост, обе вошли в Везер и, как все их товарки, утонули. Так город был очищен от крыс. Но когда незнакомец явился в ратушу за вознаграждением, бургомистр и горожане, приняв в соображение, что крыс им теперь нечего бояться, а что за этого человека заступиться некому и его можно поприжать, не постеснялись предложить ему вместо обещанных ста дукатов всего только десять. Незнакомец возмущен — его послали ко всем чертям. Тогда он пригрозил, что если они не сдержат данного слова, то это им обойдется дороже. Горожане

ответили на угрозу дружным хохотом, вытолкали его из ратуши, вдобавок обозвали крысиных дел мастером, кличку эту подхватили ребяташки и гнались за ним по улицам до Новых ворот. В следующую пятницу ровно в полдень незнакомец снова появился на базарной площади, но на этот раз в шляпе пурпурного цвета, лихо заломленной набекрень. Он вынул из сумки флейту, не похожую на ту, с которой он был в прошлый раз, и стоило ему заиграть, как все мальчишки от шести до пятнадцати лет пошли следом за незнакомцем и вместе с ним вышли из города.

— А что же обитатели Гамельна, так и позволили их увести? — один и тот же вопрос задали одновременно капитан и Мержи.

— Они шли за ними до самого Коппенберга — в этой горе была тогда пещера, потом ее завалили. Флейтист вошел в пещеру, дети — за ним. Первое время звуки флейты слышались явственно, затем все глуше, глуше, наконец все стихло. Дети исчезли, и с той поры о них ничего не известно.

Цыганка обвела глазами слушателей, — ей хотелось угадать по выражению лиц, какое впечатление произвел ее рассказ.

Первым заговорил рейтар, побывавший в Гамельне:

— Это самая настоящая бьель, — когда в Гамельне заходит речь о каком-нибудь необыкновенном событии, жители говорят так: «Это случилось через двадцать или там через десять лет после того, как пропали наши дети... Фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после того, как пропали наши дети».

— Но вот что любопытно, — снова заговорила Мила, — в это же время далеко от Гамельна, в Трансильвании, появились какие-то дети: они хорошо говорили по-немецки, только не могли объяснить, откуда они пришли. Все они женились на местных уроженках и научили родному языку своих детей, — вот почему в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

— Так это и есть те гамельнские дети, которых перенес туда черт? — улыбаясь, спросил Мержи.

— Клянусь богом, что все это правда! — воскликнул капитан. — Я бывал в Трансильвании и хорошо знаю, что там говорят по-немецки, а кругом только и слышишь какую-то чертову тарбарщину.

Объяснение капитана отличалось не меньшей достоверностью, нежели все прочие.

— Желаете, погадаю? — обратилась Мила к Мержи.

— Сделайте одолжение, — ответил тот и, обняв левой рукой цыганку за талию, протянул ей правую.

Мила молча разглядывала ее минут пять и время от времени задумчиво покачивала головой.

— Ну так как же, прелестное дитя: женщина, которую я люблю, будет моей любовницей?

Мила щелкнула его по ладони.

— И счастье, и несчастье, — заговорила она. — От сих глаз всякое бывает: и дурное и хорошее. Хуже всего, что ты свою кровь прольешь.

Капитан и юнкер, видимо, одинаково пораженные зловещим концом предсказания, не проронили ни звука.

Трактирщик, стоя в отдалении, истово крестился.

— Я поверю, что ты настоящая колдунья, только если ты угадаешь, что я сейчас сделаю, — молвил Мержи.

— Поцелуешь меня, — шепнула Мила.

— Да она и впрямь колдунья! — воскликнул Мержи и поцеловал ее.

Затем он продолжал вполголоса беседовать с хорошенькой гадалкой, — видно было, что их взаимная склонность растет с каждым мгновением.

Трудхен взяла что-то вроде мандолины, у которой почти все струны были целы, и начала наигрывать немецкий марш. Потом, заметив, что ее обступили конники, спела на своем родном языке солдатскую песню, рейтары во все горло подхватывали припев. Глядя на нее, и капитан затаил так, что стекла зазвенели, старую гугенотскую песню, напев которой был не менее дик, чем ее содержание:

Принц Конде убит,
Вечным сном он спит.
Но врагам на страх
Адмирал — в боях.
С ним Ларошфуко
Гонит далеко,
Гонит вон папошек
Всех до одного.

Рейтаров разобрал хмель, каждый пел теперь свое. Пол был усыпан осколками и объедками. Стены кухни дрожали от ругани, хохота и вакхических песен. Вскоре, однако ж, сон при поддержке паров орлеанских

вин одолея большинство участников вакханалии. Солдаты разлеглись на лавках; юнкер поставил у дверей двух часовых и, шатаясь, побрел к своей кровати; сохранивший чувство равновесия капитан, не давая крена ни в ту, ни в другую сторону, поднялся по лестнице в комнату хозяина, которую он выбрал себе как лучшую в гостинице.

А Мержи и цыганка? Еще до того, как капитан запел, они оба исчезли.

ГЛАВА ВТОРАЯ УТРО ПОСЛЕ ПОПОЙКИ

Носильщик

Сию минуту давайте деньги, вот что!

Мольер. Смешные жеманницы.

Мержи проснулся уже белым днем, и в голове у него все еще путались обрывки воспоминаний о вчерашнем вечере. Платье его было разбросано по всей комнате, на полу стоял раскрытый чемодан. Мержи присел на кровати; он смотрел на весь этот беспорядок и словно для того, чтобы собрать мысли, потирал лоб. Лицо его выражало усталость и в то же время изумление и беспокойство.

За дверью на каменной лестнице слышались тяжелые шаги, и в комнату, даже не потрудившись постучать, вошел трактирщик, еще более хмурый, чем вчера, но глаза его смотрели уже не испуганно, а нагло.

Он окинул взглядом комнату и, словно придя в ужас от всего этого кавардака, перекрестился.

— Ах, ах! — воскликнул он. — Молодой барин! Вы еще в постели. Пора вставать, нам с вами нужно свести счета.

Мержи устрашающе зевнул и выставил одну ногу.

— Почему здесь такой беспорядок? Почему открыт мой чемодан? — заговорил он еще более недовольным тоном, чем хозяин.

— Почему, почему! — передразнил хозяин. — А я откуда знаю? Очень мне нужен ваш чемодан. Вы в моем доме еще больше беспорядка наделали. Но, клянусь

моим покровителем — святым Евстафием, вы мне за это заплатите.

Пока трактирщик произносил эти слова, Мержи натягивая свои короткие ярко-красные штаны, и из незастегнутого кармана у него выпал кошелек. Должно быть, кошелек стукнулся об пол не так, как ожидал Мержи, потому что он с обеспокоенным видом поспешил поднять его и раскрыть.

— Меня обокрали! — повернувшись лицом к трактирщику, крикнул он.

Вместо двадцати золотых экю в кошельке оставалось всего-навсего два.

Дядюшка Эташ пожал плечами и презрительно усмехнулся.

— Меня обокрали! — торопливо завязывая пояс, повторил Мержи. — В кошельке было двадцать золотых экю, и я хочу получить их обратно: деньги у меня вытащили в вашем доме.

— Клянусь бородой, я очень этому рад! — нахально объявил трактирщик. — Было б вам не путаться с ведьмами да с воровками. Впрочем, — понизив голос, добавил он, — рыбак рыбака видит издалека. Всех, по ком плачет виселица, — еретиков, колдунов, жуликов, — водой не разольешь.

— Что ты сказал, подлец? — вскричал Мержи, тем сильнее разъяряясь, что в глубине души чувствовал справедливость упреков трактирщика. Как всякий виноватый человек, он хватал за вихор представлявшийся ему удобный случай поругаться.

— А вот что, — возвышая голос и подбочиваясь, отвечал трактирщик. — Вы у меня в доме все как есть переломали, и я требую, чтобы вы мне уплатили все до последнего су.

— Я заплачу только за себя — и ни лиара больше. Где капитан Корн... Горнштейн?

— У меня выпито, — еще громче завопил дядюшка Эташ, — больше двухсот бутылок доброго старого вина, и я с вас за них взыщу!

Мержи был уже одет.

— Где капитан? — громовым голосом крикнул он.

— Два часа назад выехал. И пусть бы он убирался к черту со всеми гугенотами, пока мы их не сожгли!

Вместо ответа Мержи закатил ему увесистую оплеуху.

От неожиданности и от силы удара трактирщик на два шага отступил. Из кармана его штанов торчала кожаная ручка большого ножа, и он уже за нее схватился. Не справясь трактирщик с первым порывом ярости, беда была бы неотвратима. Благоразумие, однако, перебило злобу, и от его взора не укрылось, что Мержи потянулся к длинной шпаге, висевшей над изголовьем. Это сразу же заставило трактирщика отказаться от неравного боя, и он затопал вниз по лестнице, крича во всю мочь:

— Разбой! Поджог!

Поле битвы осталось за Мержи, но в том, что победа принесет ему плоды, он был далеко не уверен, а потому, застегнув пояс, засунув за него пистолеты, заперев и подхватив чемодан, он принял решение идти к ближайшему судье. Он уже отворил дверь и занес ногу на первую ступеньку, как вдруг глазам его внезапно представилось вражеское войско.

Впереди со старой алебардой в руке поднимался трактирщик, за ним — трое поварят, вооруженных вертелами и палками, а в арьергарде находился сосед с аркебузой. Ни та, ни другая сторона не рассчитывала на столь скорую встречу. Каких-нибудь пять—шесть ступенек разделяли противников.

Мержи бросил чемодан и выхватил пистолет. Это враждебное действие показало дядюшке Эсташу и его сподвижникам, насколько несовершенен их боевой порядок. Подобно персам под Саламином, они не сочли нужным занять такую позицию, которая позволила бы им воспользоваться всеми преимуществами своего численного превосходства. Если бы единственный во всем их войске человек, снабженный огнестрельным оружием, попробовал его применить, он неминуемо ранил бы стоявших впереди однополчан, а между тем гугенот, держа под прицелом всю лестницу, сверху донизу, казалось, мог одним пистолетным выстрелом уложить их всех на месте. Чуть слышное шелканье курка, взведенного гугенотом, напугало их так, словно выстрел уже грянул. Вражеская колонна невольно сделала поворот «кругом» и, ища более обширного и более выгодного поля битвы, устремилась в кухню. В суматохе, неизбежной при бес-

порядочном отступлении, хозяин споткнулся о свою же собственную алебарду и полетел. Будучи противником великодушным, Мержи счел неблагородным прибегать к оружию и ограничился тем, что швырнул в беглецов чемодан; чемодан обрушился на них, точно обломок скалы, и, от ступеньки к ступеньке все ускоряя свое падение, довершил разгром вражеского войска. Лестница очистилась от неприятеля, а в виде трофея осталась сломанная алебарда.

Мержи сбежал по лестнице в кухню, — там уже враг построился в одну шеренгу. Аркебузир держал оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, падая, разбил себе нос, и теперь он, весь в крови, как раненый Менелай за рядами греков, стоял позади шеренги. Махаона или Подалирия заменяла ему жена: волосы у нее растрепались, чепец развязался, грязной салфеткой она вытирала мужу лицо.

Мержи действовал решительно. Он пошел прямо на владельца аркебузы и приставил ему к груди дуло пистолета.

— Брось фитиль, а не то я тебя пристрелю! — крикнул он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на кончик горящего жгута, загасил его. В ту же минуту союзники, все как один, сложили оружие.

— Что касается вас, — обратившись к хозяину, сказал Мержи, — то легкое наказание, которому я вас подвергнул, надеюсь, научит вас учтивее обходиться с постояльцами. Стоит мне захотеть — и здешний судья снимет вашу вывеску. Но я не злопамятен. Ну так сколько же с меня?

Дядюшка Эташ, заметив, что Мержи, разговаривая с ним, спустил курок своего грозного пистолета и даже засунул пистолет за пояс, набрался храбрости и, вытираясь, сердито забормотал:

— Переколотить посуду, ударить человека, разбить доброму христианину нос... поднять дикий грохот... Я уж и не знаю, чем можно вознаградить за все это порядочного человека.

— Ладно, ладно, — усмехнувшись, молвил Мержи. — За ваш разбитый нос я вам заплачу столько, сколько он, по-моему, стоит. За переколоченную посуду требуйте

с рейтаров — это дело их рук. Остается узнать, сколько с меня причитается за вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел сперва на жену, потом на поварят, потом на соседа — он как бы обращаясь к ним и за советом и за помощью.

— Рейтары, рейтары! — сказал он. — Не так-то просто с них получить. Капитан дал мне три либра, а юнкер дал мне пинка.

Мержи вынул один из оставшихся у него золотых.

— Ну, расстанемся друзьями, — сказал он и бросил монету дядюшке Эсташу, но трактирщик из презрения не протянул за ней руку, и монета упала на пол.

— Одно экю! — воскликнул он. — Одно экю за сотню разбитых бутылок, одно экю за разоренный дом, одно экю за побой!

— Одно экю, за все про все одно экю! — не менее жалобно вторила его супруга. — У нас останавливаются господа католики, ну, иной раз и пошумят, да хоть расплачиваются-то по совести.

Будь Мержи при деньгах, он, разумеется, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

— Очень может быть, — сухо возразил он, — но господа католиков не обворовывали. Как хотите, — добавил он, — берите экю, а то и вовсе ничего не получите.

И тут он сделал такое движение, словно собирался нагнуться за монетой.

Хозяйка мигом подобрала ее.

— Ну-ка, выведите моего коня! А ты брось свой вертел и вынеси чемодан.

— Вашего коня, сударь? — скорчив рожу, переспросил один из слуг дядюшки Эсташа.

Как ни был расстроен трактирщик, а все же при этих словах он поднял голову, и в глазах его вспыхнул злобный огонек.

— Я сам сейчас выведу, государь мой, я сам сейчас выведу вашего доброго коня.

Все еще держа салфетку у носа, хозяин вышел во двор. Мержи последовал за ним.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасного солового коня, на котором он сюда приехал, ему подвели старую пегую клячонку с облысевшими коленами, да еще и с широким рубцом на морде! А вместо

седла из лучшего фламандского бархата он увидел кожаное, обитое железом, обыкновенное солдатское седло.

— Это еще что такое? Где мой конь?

— А уж об этом, ваша милость, спросите у протестантов, у рейтаров, — с притворным смирением отвечал хозяин. — Его увели эти знатные иностранцы. Лошадки то похожи, — они, верно, и дали маху.

— Хорош конь! — молвил один из поварят. — Больше двадцати лет ему нипочем не дашь.

— Сейчас видно боевого коня, — заметил другой. — Глядите, какой у него на лбу шрам от сабельного удара!

— И какой красивой масти! Черной с белым! Ни дать ни взять — протестантский пастор!

Мержи вошел в конюшню — там было пусто.

— Кто позволил увести моего коня? — закричал он в исступлении.

— Да как же, сударь, не позволить? — вмешался слуга, ведавший конюшней. — Вашего коня увел трубач и сказал, что вы с ним поменялись.

Мержи задыхался от бешенства; он не знал, на ком сорвать зло.

— Я разыщу капитана, — проворчал он, — а уж капитан не даст спуска тому негодяю, который меня обокрал.

— Конечно, конечно! Правильно сделаете, ваша милость, — одобрил хозяин. — У капитана — как бишь его? — на лице написано, что он человек благородный.

Но Мержи в глубине души сознавал, что его обворовали если не по прямому приказу капитана, то уж, во всяком случае, с его соизволения.

— А заодно спросите денежки у той барышни, — вернулся хозяин, — она укладывала свои вещи, когда еще чуть брезжило, и, верно, по ошибке прихватила ваши монеты.

— Прикажете приторочить чемодан вашей милости к седлу вашей милости? — издевательски-почтительно спросил конюх.

Мержи понял, что эта сволочь перестанет над ним потешаться не прежде, чем он отсюда уедет. А потому, как только чемодан был приторочен, он вскочил в скверное седло, но лошадь, почуяв нового хозяина, проявила коварство: она вздумала проверить его познания в искусстве верховой езды. Однако она скоро удостоверилась,

что имеет дело с опытным наездником, сейчас меньше, чем когда-либо, расположенным терпеть ее шалости. Несколько раз подряд взбрыкнув, за что всадник наградила ее по заслугам, изо всех сил всадив в нее острые шпоры, она рассудила за благо смириться и побежала крупной рысью. Однако часть своих сил она израсходовала в борьбе с седоком, и ее постигла та же участь, какая неизменно постигает в подобных обстоятельствах всех кляч на свете; она, как говорится, свалилась с ног. Наш герой тотчас же вскочил; ушибся он слегка, но был сильно раздосадован насмешками, которыми его не замедлили осыпать. Он было вознамерился отомстить за это мощными ударами сабли плашмя, однако, по зрелом размышлении, решил сделать вид, будто не слышит долетавших к нему издали оскорблений, и снова двинулся, но уже не так быстро, по дороге в Орлеан, а за ним на известном расстоянии бежали мальчишки, и те, что постарше, пели песню про Жана П...унка, а малыши орли истошными голосами:

— Бей гугенота! Бей гугенота! На костер его!

Уныло протрусив с полмили, Мержи уmozаклучил, что рейтаров он нынче едва ли догонит и что его конь, вне всякого сомнения, продан, а если даже и не продан, то вряд ли эти господа соблаговолят его вернуть. Постепенно он свыкался с тем, что конь потерян для него безвозвратно. А как скоро он в этой мысли утвердился, то, сделав дальнейший вывод, что по Орлеанской дороге ему ехать незачем, свернул на Парижскую, но не на большую, а на проселочную: проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его несчастий, ему не хотелось. Мержи сызмала привык видеть во всем хорошую сторону, и теперь ему тоже стало казаться, что он еще счастливо отделался: ведь его могли обобрать до нитки, могли даже убить, а ему все-таки оставили один золотой, почти все пожитки, оставили коня, правда, убогого, однако способного передвигать ноги. Сказать по совести, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Когда же он, проведя несколько часов в пути, позавтракал, то уже с умилением думал о том, как деликатно поступила эта честная девушка, вытащившая у него из кошелька, в котором лежало двадцать экю, всего лишь восемнадцать. Труднее было ему примириться с потерей превосходного солового коня, однако он не мог

не признавать, что закоренелый грабитель на месте труба-
ча увел бы у него коня без всякой замены.

В Париж Мержи прибыл вечером, незадолго до за-
крытия городских ворот, и остановился в гостинице на
улице Сен-Жак.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Jachimo

...The ring is won.

Posthumus

The stone's too hard to come by.

Jachimo

Not a whit,

Your lady being so easy.

*Shakespeare. Cymbeline*¹

Мержи полагал, что в Париже важные особы замол-
вят за него словенко адмиралу Колиньи и что ему удаст-
ся вступить в ряды войска, которому, как говорили,
предстояло сражаться во Фландрии под знаменами этого
великого полководца. Он тешил себя надеждой, что
друзья его отца, которым он вез письма, помогут ему
и представят его и ко двору Карла, и адмиралу, а у
Колиньи было тоже нечто похожее на двор. Мержи
знал, что его брат — человек довольно влиятельный, но
стоило ли его разыскивать — в этом он был далеко не
уверен. Своим отречением Жорж Мержи почти оконча-
тельно отрезал себя от семьи, он стал для нее чужим
человеком. То был не единичный случай семейного раз-
лада на почве религиозных взглядов. Отец Жоржа уже
давно воспретил произносить при нем имя *отступника*,
и в суровости своей он опирался на слова Евангелия:
Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Хотя
юный Бернар подобной непреклонностью не отличался,

¹ Я к и м о

...Вот перстень мой.

П о с т у м

Трудненько вам добраться до него.

Я к и м о

Супруга ваша труд мне облегчила. *Шекспир. «Цимбелин»*
(англ.).

тем не менее вероотступничество брата представлялось ему позорным пятном на семейной чести, что, естественно, повлекло за собой охлаждение братских чувств.

Прежде чем решить, как он будет вести себя с братом, прежде чем вручить рекомендательные письма, надо было подумать о том, как пополнить пустой кошелек, и с этим намерением Мержи, выйдя из гостиницы, направился к мосту Сен-Мишель, в лавочку ювелира — тот задолжал его семейству известную сумму, а у Мержи была доверенность на ее получение.

При входе на мост он столкнулся с щегольски одетыми молодыми людьми, — молодые люди держались за руки и загораживали почти весь и без того узкий проход между двумя рядами бесчисленных лавчонок и мастерских, закрывавших вид на реку. За господами шли лакеи, каждый из которых нес длинную обоюдоострую шпагу в ножнах, именуемую *дуэлью*, и кинжал с такой широкой чашкой, которая в случае чего могла заменить щит. По всей вероятности, молодые люди решили, что им тяжело нести это оружие, а быть может, им хотелось показать, как богато одеты у них лакеи.

Молодые люди, должно полагать, были сегодня в духе, — по крайней мере, они все время хохотали. Если мимо них проходила хорошо одетая дама, они кланялись ей с почтительной дерзостью. Иным из этих вертопрахов доставляло удовольствие грубо толкать именитых граждан в черных плащах, и те шарахались от них, шепотом посылая проклятия нахальным придворным. Только один из всей компании шел, понунив голову, и, видимо, не принимал участия в общих развлечениях.

— Черт бы тебя взял, Жорж! — хлопнув товарища по плечу, воскликнул один из его спутников. — Что ты такой скучный? За четверть часа рта не раскрыл. Или ты дал обет молчания?

При имени «Жорж» Мержи вздрогнул, но что ответил человек, которого так называли, — этого он не разобрал.

— Ставлю сто пистолей, — продолжал первый, — что он влюблен в какую-нибудь недотрогу. Бедняжка! Мне жаль тебя. Наскочить на неподатливую парижанку — это уж особое невезенье.

— Сходи к колдуну Рудбеку, — посоветовал другой, — он тебе даст приворотного зелья.

— Не врезался ли часом наш друг капитан в монаш-

жу? — высказал предположение третий. — Эти черти гугеноты, и обращенные и необращенные, житья не дают Христовым невестам.

Голос, который Мержи мгновенно узнал, с грустью ответил:

— Стал бы я вешать голову из-за любовных похождений! Нет, дело не в этом, — понизив голос, добавил он. — Я попросил де Понса передать письмо моему отцу, де Понс вернулся и сказал, что отец по-прежнему слышать обо мне не хочет.

— Твой отец старого закала, — вмешался еще один молодой человек. — Он из тех гугенотов, которые собирались захватить Амбуаз.

При этих словах капитан Жорж случайно обернулся и заметил Бернара. Он вскрикнул от изумления и бросился к нему с распростертыми объятиями. Бернар, не задумываясь, протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, пожалуй, попробовал бы напустить на себя холодность, но именно благодаря ее нечаянности природа вступила в свои права. Они встретились, как друзья после долгой разлуки.

Отдав дань объятиям и первым расспросам, капитан Жорж обернулся к тем из своих приятелей, которые остановились посмотреть на эту сцену.

— Господа! — сказал он. — Видите, какая неожиданная встреча? Уж вы меня простите, я принужден вас покинуть, мне хочется побеседовать с братом: ведь мы с ним лет семь не видались.

— Ну нет, нелегкая тебя побери, лучше и не думай. Обед заказан, и ты должен с нами отобедать.

Молодой человек говорил это, а сам держал Жоржа за плаш.

— Бевиль прав, — молвил другой, — мы тебя не отпустим.

— Да что ты дурака валяешь? — продолжал Бевиль. — Твой брат тоже с нами отобедает. Вместо одного доброго собутыльника у нас будет два, только и всего.

— Извините, пожалуйста, — заговорил Бернар, — но у меня сегодня много дел. Мне нужно передать письма...

— Завтра передадите.

— Нет, я непременно должен доставить их сегодня. А потом, — улыбаясь слегка сконфуженной улыбкой, до-

бавил Бернар, — по правде говоря, я без денег, мне нужно еще их достать...

— Вот так отговорка! — воскликнули все вдруг. — Вместо того, чтобы пообедать с истинными христианами, идти занимать у евреев? Мы этого не допустим.

— Глядите, дружище, — хвастливо тряхнув длинным шелковым кошельком, привязанным к поясу, сказал Бевиль. — Возьмите меня к себе в казначей. Последние две недели мне лихо везло в кости.

— Идем, идем! Чего мы тут стоим? Идем обедать к *Мавру!* — закричали другие.

Капитан обратился к своему брату, все еще пребывавшему в нерешимости:

— Да успеешь ты передать письма! А деньги у меня есть. Идем с нами. Посмотришь, как живут в Париже.

Бернар согласился. Брат познакомил его по очереди со своими приятелями:

— Барон де Водрейль, шевалье де Ренси, виконт де Бевиль и т. д.

Они наговорили своему новому знакомому уйму приятных слов, и Бернару пришлось со всеми по очереди целоваться. Последним сжал его в объятиях Бевиль.

— Эге-ге! — воскликнул он. — Прах меня побери! Да от вас, приятель, пахнет еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистолы, что вы протестант.

— Вы правы, милостивый государь, я протестант, но только не такой, каким бы следовало быть.

— Я гугенота из тысячи узнаю! Шут их возьми, этих господ протестантов! Какой важный вид они на себя напускают, когда речь заходит об их вере!

— Мне кажется, о таких вещах шутя говорить нельзя.

— Господин де Мержи прав, — сказал барон де Водрейль. — А вот вы, Бевиль, когда-нибудь оплатитесь за неуместные шутки над предметами священными.

— Вы только посмотрите на этого святого, — сказал Бернару Бевиль. — По части распутства всех нас за пояс заткнет, а туда же суется читать наставления!

— Я таков, каков есть, — возразил Водрейль. — Да, я распутник — я не в силах победить свою плоть, но то, что достойно уважения, я уважаю.

— А я глубоко уважаю... мою мать, — это единственная порядочная женщина, которую я знал. Да и потом,

милый мой, что католики, что гугеноты, что ~~нашоты~~, что евреи, что турки — мне все равно. Меня занимают их распри не больше, чем сломанная шпора.

— Безбожник! — проворчал Водрейль и, прикрываясь носовым платком, перекрестил себе рот.

— Надобно тебе знать, Бернар, — заговорил капитан Жорж, — что среди нас таких спорщиков, как ученейший Теобальд Вольфстейннус, ты не найдешь. Мы богословским беседам большого значения не придаем, — слава богу, у нас есть куда девать время.

— А я думаю, что тебе было бы полезно прислушаться к поучениям просвещенного и достойного пастыря, которого ты только что назвал, — не без горечи возразил Бернар.

— Полно, братец! Потом мы еще с тобой, пожалуй, к этому вернемся. Я знаю, какого ты мнения обо мне... Ну, все равно... Сейчас не время для таких разговоров... Я полагаю о себе как о человеке порядочном, и ты в том рано или поздно уверишься... А пока довольно об этом, давай веселиться.

Словно для того, чтобы отогнать от себя тягостную мысль, он провел рукой по лбу.

— Милый мой брат! — тихо сказал Бернар и пожал ему руку. Жорж ответил Бернару тем же, а потом оба прибавили шаг и нагнали товарищей.

Из Лувра выходило множество нарядно одетых господ, капитан и его друзья почти со всеми здоровались, а с некоторыми даже целовались. Тут же они представляли им младшего Мержи, и таким образом Бернар в одну минуту перезнакомился с целой тьмой знаменитостей. При этом он узнавал их прозвища (тогда прозвище давалось каждому заметному человеку), а заодно и красивые истории, которые про них рассказывались.

— Видите этого бледного, желтого советника? — говорили ему. — Это мессир Petrus de finibus¹, по-французски Пьер Сегье: что бы он ни затеял, он за все горячо берется и всякий раз добивается своего. Вот маленький капитан Жох, иначе говоря, Торе де Монморанси. Вот *Бутылочный архиепископ*, — этот, пока не пообедает, сидит на своем муле более или менее прямо. Вот один из ваших героев, отважный граф де Ларошфуко, по прозва-

¹ Петр, цели достигающий (лат.).

нию *Капустоенавистник*: во время последней войны он принял сослепу за отряд ландскнехтов злополучные капустные грядки и велел по ним налить.

Меньше чем за четверть часа Бернар узнал имена любовников почти всех придворных дам, а также число дуэлей, происшедших из-за их красоты. Он понял, что репутация дамы тем прочнее, чем больше из-за нее погибло людей. Так, например, у г-жи де Куртавель, присяжный возлюбленный которой убил двух соперников, было гораздо более громкое имя, нежели у бедной графини де Померанд, из-за которой произошла только одна пустячная дуэль, окончившаяся легким ранением.

Внимание Бернара обратила на себя стройностью своего стана женщина, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел под уздцы конюший. Ее платье, сшитое по последней моде, под тяжестью отделки оттягивалось вниз. Вероятно, она была красива. Известно, что дамы тогда выходили на улицу непременно в масках. Маска, скрывавшая лицо этой дамы, была черная, бархатная. Благодаря прорезам для глаз, было видно, или, скорее, угадывалось, что у нее ослепительной белизны кожа и синие глаза.

Завидев молодых людей, она приказала конюшему ехать медленнее. Бернару даже показалось, что она, увидев незнакомое лицо, пристально на него посмотрела. При ее приближении перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на непрерывные приветствия выстроившихся шпалерами поклонников. Когда же она удалялась, легкий порыв ветра приподнял край ее длинного атласного платья, и из-под платья блеснули заринцей туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

— Кто эта дама, которой все кланяются? — с любопытством спросил Бернар.

— Уже влюбился! — воскликнул Бевиль — Впрочем, тут нет ничего удивительного: гугеноты и паписты — все влюблены в графиню Днану де Тюржи.

— Это одна из придворных красавиц, — прибавил Жорж, — одна из самых опасных Цирцей для молодых кавалеров. Но только, черт возьми, взять эту крепость не так-то просто.

— Сколько же из-за нее было дуэлей? — спросил со смехом Бернар.

— О, она их считает десятками! — отвечал барон де Водрейль. — Но это что! Как-то раз она сама решилась драться: послала картель по всей форме одной придворной даме, которая перебила ей дорогу.

— Басни! — воскликнул Бернар.

— Это уже не первый случай, — заметил Жорж. — Она послала госпоже Сент-Фуа картель, написанный по всем правилам, хорошим слогом, — она вызывала ее на смертный бой, на шпагах или на кинжалах, в одних сорочках, как это водится у *записных* дуэлистов.

— Я бы ничего не имел против быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть, какие они в одних сорочках, — объявил шевадье де Ренси.

— И дуэль состоялась? — спросил Бернар.

— Нет, — отвечал Жорж, — их помирили.

— Он же их и помирил, — сказал Водрейль, — он был тогда любовником Сент-Фуа.

— Ну уж не ври! Таким же, как ты, — возразил явно скромничавший Жорж.

— Тюржи — одного поля ягода с Водрейлем, — сказал Бевиль. — У нее получается мешанина из религии и нынешних нравов; она собирается драться на дуэли, — а это, сколько мне известно, смертный грех, — и вместе с тем ежедневно выстаивает по две мессы.

— Оставь ты меня с мессой в покое! — вскричал Водрейль.

— Ну, к мессе-то она ходит, чтобы показать себя без маски, — заметил Ренси.

— По-моему, большинство женщин только за тем и ходит к мессе, — обрадовавшись случаю посмеяться над чужой религией, повернул Бернар.

— А равно и в протестантские молельни, — подхватил Бевиль. — Там по окончании проповеди тушат свет, и тогда происходят такие вещи!.. Ей-ей, мне смерть хочется стать лютеранином.

— И вы верите этим вракам? — презрительно спросил Бернар.

— Еще бы не верить! Мы все знаем маленького Ферана, — так он ходил в Орлеане в протестантскую молельню на свидания с женой нотариуса, а уж это такая бабочка — ммм! У меня от одних его рассказов слюнки текли. Кроме молельни, ему негде было с ней встречаться. По счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил

ему даром. Его пускали в модельню, и вы легко можете себе представить, что в темноте наш общий друг даром времени не терял.

— Этого не могло быть, — сухо сказал Бернар.

— Не могло? А, собственно говоря, почему?

— Потому что ни один протестант не падет так низко, чтобы провести паписта в модельню.

Этот его ответ вызвал дружный смех.

— Ха-ха! — воскликнул барон де Водрейль. — Вы думаете, что, если уж гугенот, значит, он не может быть ни вором, ни предателем, ни посредником в сердечных делах?

— Он с луны свалился! — вскричал Ренси.

— Доведись до меня, — молвил Бевиль, — если б мне нужно было передать писульку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их попу.

— Это потому, конечно, что вы привыкли давать подобные поручения вашим священникам, — отрезал Бернар.

— Нашим священникам? — побагровев от злости, переспросил Водрейль.

— Прекратите этот скучный спор, — заметив, что *каждый выпад приобретает остроту обидную*, оборвал спорщиков Жорж. — Не будем больше говорить о ханжах, какой бы они ни были масти. Я предлагаю — кто скажет: «гугенот», или «папист», или «протестант», или «католик», тот пускай платит штраф.

— Я согласен! — воскликнул Бевиль. — Пусть-ка он угостит нас прекрасным кагором в том трактире, куда мы идем обедать.

Наступило молчание.

— После того как беднягу Лануа убили под Орлеаном, у Тюржи явных любовников не было, — желая отвлечь друзей от богословских тем, сказал Жорж.

— Кто осмелится утверждать, что у парижанки может не быть любовника? — вскричал Бевиль. — Ведь Коменж-то от нее ни на шаг!

— То-то я гляжу, карапуз Наварет от нее отступил-ся, — сказал Водрейль. — Он убоился грозного соперника.

— А разве Коменж ревнив? — спросил капитан.

— Ревнив, как тигр, — отвечал Бевиль. — Он готов убить всякого, кто посмеет влюбиться в прелестную гра-

финю. Так вот, чтобы не остаться без любовника, придется ей остановиться на Коменже.

— Кто же этот опасный человек? — спросил Бернар. Незаметно для себя, он с живым любопытством стал относиться ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

— Это один из самых славных наших *записных*, — отвечал Ренси. — Так как вы из провинции, то я вам сейчас объясню значение этого словца. *Записной* дуэлист — это человек безукоризненно светский, человек, который дерется, если кто-нибудь заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут и по всякому другому столь же важному поводу.

— Как-то раз Коменж привел одного человека на Пре-о-Клер, — заговорил Водрейль. — Оба снимают камзолы, выхватывают шпаги. Коменж спрашивает: «Ведь ты Берни из Оверни?» А тот говорит: «Ничуть не бывало. Зовут меня Вилькье, я из Нормандии». А Коменж ему: «Вот тебе раз! Стало быть, я обознался. Но уж коли я тебя вызвал, все равно нужно драться». И он его за милую душу прикончил.

Тут все стали приводить примеры ловкости и задиристости Коменжа. Тема оказалась неисчерпаемой, и разговору им хватило на все продолжение пути до трактира *Мавр*, стоявшего за чертой города, в глубине сада, поблизости от того места, где с 1594 года строился дворец Тюильри. В трактире собрались дворяне, друзья и хорошие знакомые Жоржа, и за стол села большая компания.

Бернар, оказавшийся рядом с бароном де Водрейлем, заметил, что барон, садясь за стол, перекрестился и с закрытыми глазами прошептал какую-то особенную молитву:

— *Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera virginis Mariae quae portaverunt aeterni Patris Filium!*¹

— Вы знаете латынь, господин барон? — спросил Бернар.

— Вы слышали, как я молился?

¹ Хвала господу, мир живущим, спасение души усопшим, блаженно чрево Приснодевы Марии, носившее сына предвечного отца! (лат.).

— Слышал, но, смею вас уверить, решительно ничего не понял.

— Откровенно говоря, я латыни не знаю и даже не знаю толком, о чем в этой молитве говорится. Меня научила ей моя тетка, которой эта молитва всегда помогала, и на себе я уже не раз испытал благотворное ее действие.

— Мне думается, это латынь католическая, нам, гугенотам, она непонятна.

— Штраф! Штраф! — закричали Бевиль и капитан Жорж.

Бернар не противился, и стол установили новым строем бутылок, не замедливших привести всю компанию в отличное расположение духа.

Голоса собеседников становились все громче, Бернар этим воспользовался, и, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, заговорил с братом.

К концу второй смены блюд их *a parte*¹ был нарушен перебранкой между двумя гостями.

— Это ложь, — кричал шевалье де Ренси.

— Ложь? — переспросил Водрейль, и его лицо, и без того бледное, стало совсем как у мертвеца.

— Я не знаю более добродетельной, более целомудренной женщины, — продолжал шевалье.

Водрейль ехидно усмехнулся и пожал плечами. Сейчас все взоры были обращены на участников этой сцены; каждый, соблюдая молчаливый нейтралитет, как будто ждал, чем кончится размолвка.

— Что такое, господа? Почему вы так шумите? — спросил капитан, готовый, как всегда, пресечь малейшее попятное движение нарушить мир.

— Да вот наш друг шевалье уверяет, будто его любовница Силери — целомудренная женщина, — хладнокровно начал объяснять Бевиль, — а наш друг Водрейль уверяет, что нет и что он за ней кое-что знает.

Последовавший за этим взрыв хохота подлил масла в огонь, и Ренси, бешено сверкая глазами, взглянул на Водрейля и Бевиля.

— Я могу показать ее письма, — сказал Водрейль.

— Только попробуй! — крикнул шевалье.

— Ну что ж, — сказал Водрейль и злобно усмехнул-

¹ Разговор между собой (лат.).

ся.— Я сейчас прочту этим господам одно из ее писем. Уж, верно, они знают ее почерк не хуже меня — ведь я вовсе не претендую на то, что я единственный, кто имеет счастье получать от нее записки и пользоваться ее благоволением. Вот записка, которую она мне прислала не далее как сегодня.

Он сделал вид, будто нащупывает в кармане письмо.

— Заткни свою лживую глотку!

Стол был широк, и рука барона не могла дотянуться до шеваляе, сидевшего как раз напротив него.

— Я тебе сейчас докажу, что лжешь ты, и ты этим доказательством подавишься! — крикнул он и швырнул ему в голову бутылку.

Ренси увернулся и, второпях опрокинув стул, бросился к стене за шпагой.

Все вскочили: одни — чтобы разнять повздоривших, другие — чтобы отойти в сторонку.

— Перестаньте! Вы с ума сошли! — крикнул Жорж и стал перед бароном, который был к нему ближе всех. — Подобаает ли друзьям драться из-за какой-то несчастной бабенки?

— Запустить бутылкой в голову — это все равно что дать пощечину, — рассудительно заметил Бевиль. — А ну, дружок шеваляе, шпагу наголо!

— Не мешайте! Не мешайте! Освободите место! — закричали почти все гости.

— Эй, Жаю, затвори двери! — лениво проговорил привыкший к подобным сценам хозяин *Маэра*. — Чего доброго, явится дозор, а от него и господам помеха, и чести моего заведения урон.

— И вы будете драться в таверне, как пьяные ландскнехты? — стараясь оттянуть время, продолжал Жорж. — Отложите хоть на завтра.

— На завтра так на завтра, — сказал Ренси и совсем уж было собрался вложить шпагу в ножны.

— Наш маленький шеваляе трусит, — сказал Водрейль.

Тут Ренси, растолкав всех, кто стоял у него на дороге, кинулся на своего обидчика. Оба дрались яростно. Но Водрейль успел тщательно завернуть левую руку в салфетку и теперь ловко этим пользовался, когда ему

нужно было парировать рубящие удары, а Ренси не позаботился о том, чтобы принять эту предосторожность, и при первых же выпадах был ранен в левую руку. Дрался он, однако ж, храбро и наконец крикнул лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль, остановив лакея, сказал, что раз у Водрейля нет кинжала, то и противник не должен к нему прибегать. Друзья шевалье возразили, произошел крупный разговор, и дуэль, без сомнения, превратилась бы в потасовку, если бы Водрейль не положил этому конец: он опасно ранил противника в грудь, и тот упал. Тогда Водрейль проворно наступил на шпагу Ренси, чтобы тот не мог поднять ее, и уже занес над ним свою шпагу, намереваясь добить раненого. Правила дуэли допускали подобное зверство.

— Убивать безоружного противника! — воскликнул Жорж и выхватил у Водрейля шпагу.

Рана, которую Водрейль нанес шевалье, была не смертельна, но крови он потерял много. Ему натуго перевязали рану салфетками, и во время перевязки он, смеясь неестественным смехом, бормотал, что поединок еще не кончен.

Немного погодя явились лекарь и монах: некоторое время они препирались из-за раненого. Хирург все же одолел; он приказал доставить больного на берег Сены, а оттуда довез шевалье в лодке до его дома.

Лакеи уносили перепачканные в крови салфетки, замывали кровавые пятна на полу, а другие тем временем ставили новые бутылки на стол. Водрейль тщательно вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился, а затем, как ни в чем не бывало, достал из кармана письмо. Попросив друзей не шуметь, он прочел первую строку, и ее покрыл громовой хохот собравшихся:

«Мой дорогой! Этот несносный шевалье, который мне надоел...»

— Уйдем отсюда! — с отвращением сказал брату Бернар.

Капитан вышел следом за ним. Все внимательно слушали чтение письма, так что их исчезновения никто не заметил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБРАЩЕННЫЙ

Дон Жуан

Неужели ты за чистую монету
принимаяшь то, что я сейчас говорил,
и думаешь, будто мои уста были в
согласии с сердцем?

Мольер. Каменный гость

Капитан Жорж возвратился в город вместе с братом и привел его к себе. По дороге они и двух слов не сказали друг другу; они только что оказались свидетелями сцены, которая произвела на них тяжелое впечатление, и им обоим не хотелось сейчас говорить.

Ссора и последовавшая за ней дуэль не по правилам были для того времени явлением обычным. Обидчивая чувствительность дворянства приводила всюду во Франции к роковым последствиям: при Генрихе III и Генрихе IV дуэльное бешенство отправляло на тот свет больше дворян, нежели десятилетняя гражданская война.

Убранство помещения, где жил капитан, носило отпечаток тонкого вкуса. Внимание привыкшего к более скромной обстановке Бернара прежде всего привлекли шелковые с разводами занавески и пестрые ковры. Бернар вошел в кабинет, который его брат называл своей *моленной*, — слово «будуар» тогда еще не было придумано. Дубовая скамеечка с красивой резьбой, мадонна кисти итальянского художника, чаша со святой водой и с большой веткой букса — все как будто подтверждало, что эта комната предназначена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каймой диван, венецианское зеркало, женский портрет, оружие и музыкальные инструменты свидетельствовали о более или менее светских привычках хозяина.

Бернар бросил пренебрежительный взгляд на чашу и ветку букса — на это печальное напоминание об отступничестве брата. Низенький лакей принес варенье, конфеты и белое вино — чай и кофе тогда еще не были в ходу: вино заменяло нашим неприхотливым предкам изысканные напитки.

Бернар, держа в руке стакан, перебежал глазами с мадонны на чашу, с чаши на скамеечку. Затем он глубоко

ко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, сказал:

— А ведь ты настоящий папист! Что бы сказала сейчас наша матушка!

Эти слова, видимо, задели капитана за живое. Он сдвинул густые свои брови и сделал рукой такое движение, словно просил Бернара не затрагивать этого предмета, но брат был неумолим:

— Неужели ты и сердцем отрекся от веры, которую исповедует наша семья, как отрекся устами?

— От веры, которую исповедует наша семья?.. Но ведь я-то ее никогда не исповедовал!.. Чтобы я... чтобы я поверил той лжи, которой учат ваши гнусавые проповедники?.. Чтобы я...

— Ну, конечно, куда приятнее верить в чистилище, в таинство исповеди, в непогрешимость папы! Куда лучше преклонять колена перед пыльными сандалиями капучина! Скоро ты каждый раз, садясь обедать, будешь читать молитву барона де Водрейля!

— Послушай, Бернар: я ненавижу всякие споры, а тем более споры о религии, но рано или поздно мне все равно пришлось бы с тобой объясниться, и коль скоро мы об этом заговорили, так уж давай выскажем друг другу все. Я буду с тобой откровенен.

— Значит, ты не веришь дурацким выдумкам папистов?

Капитан пожал плечами и, спустив ногу на пол, звякнул одною из своих широких шпор.

— Паписты! Гугеноты! И тут и там суеверие. Я не умею верить в то, что моему разуму представляется нелепостью. Наши литании, ваши псалмы — одна бессмыслица стоит другой. Вот только, — с улыбкой прибавил он, — в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, а у вас — заткни уши, беги вон.

— Нечего сказать, существенное преимущество твоей веры! Есть из-за чего в нее переходить!

— Не называй эту веру моей, я не верю ни во что. С тех пор как я научился мыслить самостоятельно, с тех пор как мой разум идет своей дорогой...

— Но...

— Не надо мне никаких проповедей. Я знаю заранее, что ты мне будешь говорить. У меня тоже были свои надежды, свои страхи. Ты думаешь, я не делаю огромных

усилий, чтобы сохранить отрадные суеверия моего детства? Я перечел всех наших богословов — я искал у них разрешения обуревавших меня сомнений, но сомнения мои после этого только усилились. Словом, я не мог, я не могу больше верить. Вера — это драгоценный дар, и мне в нем отказано, но я ни за что на свете не стал бы лишать его других.

— Мне жаль тебя.

— Ну что ж, по-своему ты прав... Когда я был протестантом, я не верил проповедям; когда же я стал католиком, я не уверовал в мессу. Да и потом, разве ужасов гражданской войны, черт бы ее побрал, не достаточно для того, чтобы искоренить самую крепкую веру?

— Эти ужасы — дело людских рук, их творили люди, извратившие слово божие.

— Ты повторяешь чужие слова, и, представь себе, они меня не убеждают. Я не понимаю вашего бога, я не могу его понять... А если бы я в него верил, то, как говорит наш друг Жодель, *постольку поскольку*.

— Раз ты к обеим религиям равнодушен, зачем же ты отрекся от одной из них и этим так огорчил и родных и друзей?

— Я чуть не двадцать писем послал отцу, я хотел объяснить ему мои побуждения и оправдаться перед ним, но он бросал их в печку не читая, он обходился со мной, как с великим преступником.

— Мы с матушкой не одобряли крайней его суровости. Если б не его приказания...

— В первый раз слышу. Ну, уж теперь поздно. Меня вот что толкнуло на этот необдуманный шаг, — вторично я бы его, конечно, не совершил....

— То-то же! Я был уверен, что ты раскаиваешься.

— Раскаиваюсь? Нет. Я же ничего плохого не сделал. Когда ты еще учил в школе латынь и греческий, я уже надел латы, повязал белый шарф и пошел на нашу первую гражданскую войну. Ваш принц-карапузик, из-за которого вы допустили столько ошибок, ваш принц Конде уделял вам только то время, которое у него оставалось от любовных походов. Меня любила одна дама — принц попросил меня уступить ее ему. Я не согласился, он сделался моим ярым врагом. Он задался целью во что бы то ни стало сжить меня со света.

И он еще смел указывать на меня фанатически верующим католикам как на олицетворение распутства и неверия! У меня была только одна любовница, и я не изменял ей. Что касается неверия... так ведь я же никого не соблазнял! Зачем тогда объявлять мне войну?

— Никогда бы я не поверил, что принц способен на такую низость.

— Он умер, и вы сделали из него героя. Так всегда бывает на свете. Он был человек не без достоинств, умер смертью храбрых, я ему все простил. Но при жизни он был могуществен, и если такой бедный дворянин, как я, осмеливался ему перечить, он уже смотрел на него как на преступника.

Капитан прошелся по комнате, а затем продолжал, волнуясь все более и более:

— На меня сейчас же накинулись все пасторы, все ханжи, какие только были в войске. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подольститься к нему, при всех наших полководцах обозвал меня потаскуном. Я ему дал пощечину, а потом убил на дуэли. В нашем войске ежедневно бывало до десяти дуэлей, и военачальники смотрели на это сквозь пальцы. Мне же дуэль с рук не сошла,— принц решил расправиться со мной в назидание всему войску. По просьбе высоких особ, в том числе — к чести его надо сказать — по просьбе адмирала, меня помиловали. Однако ненависть ко мне принца не была утолена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом конных пистолетчиков. Я первым бросался в бой, мои латы погнулись в двух местах от аркебузных выстрелов, мою левую руку пронзило копьё — все это доказывало, что я себя не берег. Под моим началом было не более двадцати человек, а против нас был брошен целый батальон королевских швейцарцев. Принц Конде приказывает мне идти в атаку... я прошу у него два отряда рейтаров... а он... он называет меня трусом!

Бернар встал и взял брата за руку. Капитан, гневно сверкая глазами, снова заходил из угла в угол.

— Он назвал меня трусом при всей этой знати в золоченых доспехах,— продолжал Жорж,— а несколько месяцев спустя под Жарнаком зная взяла да и бросила

принца, и он был убит. После того, как он меня оскорбил, я решил, что мне остается одно: пасть в бою. Я дал себе клятву, что если я по счастливой случайности уцелею, то никогда больше не обнажу шпаги в защиту такого несправедливого человека, как принц, и ударил на швейцарцев. Меня тяжело ранили, вышибли из седла, и тут бы мне и конец, но мне спас жизнь дворянин, состоявший на службе у герцога Анжуйского, — этот шалый Бевиль, с которым мы сегодня вместе обедали, и представил меня герцогу. Со мною обошлись милостиво. Я жаждал мести. Меня обласкали и, уговаривая поступить на службу к моему благодетелю, герцогу Анжуйскому, привели следующий стих:

*Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor*¹.

Меня возмущало то, что протестанты призывают иноземцев напасть на нашу родину... Впрочем, я тебе сейчас открою единственную причину, заставившую меня перейти в иную веру. Мне хотелось отомстить, и я стал католиком в надежде встретиться с принцем Конде на поле сражения и убить его. Но мой долг уплатил за меня один негодяй... Это было до того отвратительно, что я забыл про свою ненависть к принцу... Его, окровавленного, отдали на поругание солдатам. Я вырвал у них его тело и прикрыл своим плащом. Но я уже к этому времени связал свою судьбу с католиками. Я командовал у них эскадроном, я уже не мог уйти от них. Но я рад, что мне удалось, по-видимому, оказать некоторые услуги моим бывшим единоверцам: я, сколько мог, старался смягчить жестокости религиозной войны и имел счастье спасти жизнь кое-кому из моих прежних друзей.

— Оливье де Басвиль всюду говорит, что он обязан тебе жизнью.

— Ну так вот: стало быть, я католик, — более спокойным тоном заговорил Жорж. — Религия как религия. С католическими святошами ладить легко. Посмотри на эту красивую мадонну. Это портрет итальянской куртизанки. Ханжи приходят в восторг от моей набожности и крестятся на мнимую богоматерь. С ними куда легче торговаться, нежели с нашими пасторами, — это уж ты мне поверь. Я живу, как хочу, и лишь время от времени

¹ Храброму, как для рыбы — море, любая земля — ролина (лат.).

делаю весьма незначительные уступки черни. От меня требуется, чтобы я ходил в церковь? Я и кожу кое-когда, чтобы посмотреть на хорошеньких женщин. Надо иметь духовника? Ну уж это дудки! У меня есть славный францисканец, бывший конный аркебузир, и он за одну экю не только выдаст мне свидетельство об отпущении грехов, но еще и передаст от меня любовные записки своим очаровательным духовным дочерям. Черт побери! Да здравствует месса!

Бернар не мог удержаться от улыбки.

— На, держи, вот мой молитвенник,— сказал капитан и бросил Бернару книгу в красивом переплете и в бархатном футляре с серебряными застёжками.— Этот часослов стоит ваших молитвенников.

Бернар прочитал на корешке: *Придворный часослов.*

— Прекрасный переплет! — с презрительным видом сказал он и вернул книгу.

Капитан раскрыл ее и, улыбаясь, снова протянул Бернару. Тот прочел на первой странице: *Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, сочиненная магистром Алькофрибасом, извлекателем квинтэссенции.*

— Вот это книга так книга! — со смехом воскликнул капитан.— Я отдам за нее все богословские трактаты из женеvской библиотеки.

— Автор этой книги был, говорят, человеком очень знающим, однако знания не пошли ему на пользу.

Жорж пожал плечами.

— Ты сначала прочти, Бернар, а потом будешь судить.

Бернар взял книгу и, немного помолчав, сказал:

— Обидеться ты был, конечно, вправе, но мне досадно, что чувство обиды заставило тебя совершить поступок, в котором ты рано или поздно раскаешься.

Капитан опустил голову и, уставив глаза в ковер, казалось, внимательно рассматривал рисунок.

— Сделанного не воротишь,— подавив вздох, проговорил он.— А может, я все-таки когда-нибудь вновь обращусь в протестантскую веру,— уже более веселым тоном добавил он.— Ну, довольно! Обещай не говорить со мной больше о таких скучных вещах.

— Я надеюсь, что ты сам к этому придешь без моих советов и уговоров.

— Возможно. А теперь поговорим о тебе. Что ты намерен делать при дворе?

— У меня есть рекомендательные письма к адмиралу, я думаю, что он возьмет меня к себе на службу, и я проделаю с ним поход в Нидерланды.

— Затея никчемная. Если дворянин храбр и если у него есть шпага, то ему незачем так, здорово живешь, идти к кому-то в услужение. Вступай лучше добровольцем в королевскую гвардию, если хочешь — в мой легкоконный отряд. Ты будешь участвовать в походе, как и все мы, под знаменем адмирала, но, по крайней мере, не будешь ничьим лакеем.

— У меня нет ни малейшего желания вступать в королевскую гвардию, — это противно моей душе. Служить солдатом в твоём отряде я был бы рад, но отец хочет, чтобы первый свой поход я проделал под непосредственным начальством адмирала.

— Узнаю вас, господа гугеноты! Проповедуете единение, а сами держите камень за пазухой.

— То есть как?

— А так: король до сих пор в ваших глазах тиран, Ахав, как называют его ваши пасторы. Да нет, он даже и не король — он узурпатор, после смерти Людовика Тринадцатого король во Франции — Гаспар Первый.

— Плоская шутка!

— В конце концов, будешь ли ты на службе у старика Гаспара или у герцога Гиза — это безразлично. Шатильон — великий полководец, он научит тебя воевать.

— Его уважают даже враги.

— А все-таки ему повредила история с пистолетным выстрелом.

— Он же доказал свою невинность. Да и вся жизнь Шатильона опровергает слухи о том, что он был соучастником подлого убийцы Польтро.

— А ты знаешь латинское изречение: *Fecit cui profuit*?¹ Если б не этот пистолетный выстрел, Орлеан был бы взят.

— В католической армии одним человеком стало меньше, только и всего.

¹ Совершил тот, кому это было на руку? (лат.).

— Да, но каким человеком! Разве ты не слышал двух дрянных стишков, которые, однако, стоят ваших псалмов?

Пока гизары не переведутся,
Мерё во Франции всегда найдутся.

— Детские угрозы, не более того. Если бы я сейчас стал перечислять все преступления гизаров, ох, и длинная вышла бы ектенья! Будь я королем, то для восставления во Франции мира я бы велел посадить всех Гизов и Шатильонов в добротный кожаный мешок, накрепко завязать его и зашить, а затем с железным грузом в сто тысяч фунтов, чтобы ни один не убежал, бросить в воду. И еще кое-кого я бы с удовольствием побросал в мешок.

— Хорошо, что ты не французский король.

Затем разговор принял более веселый оборот. О политике больше уже не говорили, равно как и о богословии, братья теперь рассказывали друг другу о всяких мелких происшествиях, случившихся с ними после того, как они расстались. Бернар в припадке откровенности поведал брату свое приключение в гостинице *Золотой лев*. Жорж смеялся от души и подшучивал над братом и по поводу пропажи восемнадцати экю, и по поводу пропажи знатного солового коня.

В ближайшей церкви заблаговестили.

— Пойдем, черт возьми, послушаем проповеди! — вскричал капитан. — Я убежден, что тебя это позабавит.

— Покорно благодарю, но я еще пока не намерен обращаться в другую веру.

— Пойдем, милый, пойдем, сегодня должен проповедовать брат Любен. Этот францисканец до того смешно толкует о религии, что люди валят на его проповеди толпами. Да и потом нынче весь двор будет у святого Иакова, — стоит посмотреть.

— А графиня де Тюржи там будет? И без маски?

— Ну еще бы, как же ей не быть! Если ты желаешь вступить в ряды ее вздыхателей, то не забудь, когда будешь уходить, стать у двери и подать ей святой воды. Вот еще один премильный обряд католической религии. Боже мой! Сколько я, предлагая святой воды, пожал прелестных ручек, сколько передал любовных записок!

— Святая вода вызывает во мне такое неодолимое отвращение, что я, кажется, ни за что на свете одного пальца бы в нее не окунул.

Капитан расхохотался. Затем оба надели плащи и отправились в церковь св. Иакова, где уже собралось многолюдное и приятное общество.

ГЛАВА ПЯТАЯ ПРОПОВЕДЬ

Горластый, мастак отбарабанивать часы, отжарить мессу и отвалить вечерню,— одним словом, самый настоящий монах из всех, какими монашество когда-либо монашествовавшее.

Рабле

Когда капитан Жорж и его брат шли по церкви в поисках более удобного, поближе к проповеднику, места, их слух поражен был долетавшими из ризницы взрывами хохота. Войдя туда, они увидели толстяка с веселым и румяным лицом, в одежде францисканского монаха. Он оживленно беседовал с кучкой нарядно одетых молодых людей.

— Ну, ну, дети мои, шевелите мозгами! — говорил он. — Дамам невтерпёж. Скорей дайте мне тему!

— Расскажите о том, как дамы водят за нос своих мужей, — сказал молодой человек, которого Жорж сей же час узнал по голосу, — то был Бевиль.

— Что и говорить, мой мальчик, мысль богатая, да что мне остается прибавить к тому, что уже сказал в своей проповеди понтуазский проповедник? Он воскликнул: «Сейчас я наброшу свою камилавку на голову той из вас, которая особенно много наставила мужу рогов!» После этого женщины, все до одной, словно защищаясь от удара, прикрыли головы рукой или же накиннули покрывало.

— Отец Любен! — обратился к нему еще один молодой человек. — Я пришел только ради вас. Расскажите нам сегодня что-нибудь поигривей. Поговорите о любовном грехе: он теперь особенно распространен.

— Распространен! Да, господа, среди вас он распро-

странен,— ведь вам всего двадцать пять лет,— а мне стукнуло пятьдесят. В моем возрасте о любви не говорят. Я уж позабыл, какой такой этот грех.

— Не скромничайте, отец Любен. Вы и теперь не хуже, чем прежде, можете об этом рассуждать. Кто-кто, а уж мы-то вас знаем!

— Поговорите-ка о любострастии,— предложил Бевиль.— Все дамы сойдутся на том, что вы в этой области знаток.

Францисканец в ответ на эту шутку хитро подмигнул, и в его прищуре лучились гордость и удовольствие, которые он испытывал оттого, что ему приписывают порок, присущий людям молодым.

— Нет, об этом мне нет смысла говорить в проповеди, а то придворные красавицы увидят, что я слишком по этой части строг, и перестанут ходить ко мне исповедоваться. А, по совести, если б я и стал обличать этот грех, то лишь для того, чтобы доказать, что люди обрекают себя на вечную муку... ради чего?.. ради минутного удовольствия.

— Как же быть?.. А, вот и капитан! Ну-ка, Жорж, придумай нам тему для проповеди! Отец Любен обещал сказать проповедь, какую мы ему присоветуем.

— Какую угодно,— сказал монах,— но только думайте скорей, черт бы вас подрал! Мне давно пора быть на кафедре.

— Ах, чума вас возьми, отец Любен! Вы ругаетесь не хуже короля! — вскричал капитан.

— Бьюсь об заклад, что в проповедь он не вставит ни единого ругательства,— сказал Бевиль.

— А почему бы и не ругнуться, коли припадет охота? — расхрабрился отец Любен.

— Ставлю десять пистолей, что у вас не хватит смелости.

— Десять пистолей? По рукам!

— Бевиль! Я вхожу к тебе в половинную долю,— объявил капитан.

— Нет, нет,— возразил Бевиль,— я хочу один слупить деньги с честного отца. А если он чертыхнется, то я, клянусь честью, десяти пистолей не пожалею. Ругань в устах проповедника стоит десяти пистолей.

— Я вам наперед говорю, что я уже выиграл,— молвил отец Любен.— Я начну проповедь с крепкой ругани.

Что, господа дворяне? Вы воображаете, что, если у вас на боку рапира, а на шляпе перо, стало быть, вы одни умеете ругаться? Ну нет, это мы еще посмотрим!

Он вышел из ризницы и мгновение спустя уже очутился на кафедре. Среди собравшихся тотчас воцарилась благоговейная тишина.

Проповедник пробежал глазами по толпе, теснившейся возле кафедры, — он явно искал того, с кем только что поспорил. Когда же он увидел Бевиля, стоявшего, прислонясь к колонне, прямо против него, то сдвинул брови, упер одну руку в бок и гневно заговорил:

— Возлюбленные братья мои! Чтоб вас растак и раз-этак...

Изумленный и негодующий шепот прервал проповедника, или, вернее, заполнил паузу, которую тот сделал нарочно.

— ...не мучили бесы в преисподней, — вдруг елейно загнузил францисканец, — вам ниспослана помощь: это — это сила, смерть и кровь господина нашего. Мы спасены и избавлены от ада.

На сей раз его остановил дружный хохот. Бевиль достал из-за пояса кошелек и в знак проигрыша из всех сил, чтобы видел проповедник, тряхнул им.

— И вот вы, братья мои, уже возликовали, не так ли? — с невозмутимым видом продолжал отец Любен. — Мы спасены и избавлены от ада. «Какие прекрасные слова! — думаете вы. — Теперь нам остается только сложить ручки и веселиться. Этого гадкого адского пламени нам бояться нечего. Правда, есть еще огонь чистилища, ну, да это все равно, что ожог от свечки, его можно залечить мазью из десятка месс. А коли так — давай жрать, пить, пугаться с девками!»

О закоренелые грешники! Вот вы как рассчитали! Ну, а я, брат Любен, говорю вам: считали вы, считали, да и просчитались!

Стало быть, вы воображаете, господа еретики, гугенотствующие гугеноты, вы воображаете, что спаситель наш изволил взойти на крест ради вашего спасения? Нашли какого дурака! Нет уж, держите карман шире! Стал бы он из-за такой сволочи проливать свою святую кровь! Это все равно, что, извините за выражение, метать бисер перед свиньями. А спаситель наш, как раз наоборот, метал свиней перед бисером: ведь бисер-то

находится в море, а спаситель наш ввергнул в море две тысячи свиней. Et esse impetu abiit totus grex praescors in mare¹. Счастливого пути, господа свиньи! Вот бы всем еретикам последовать за вами!

Тут оратор закашлялся, обнял взором слушателей и наслаждался впечатлением, какое произвело на верующих его красноречие. А засим продолжал:

— Итак, господа гугеноты, обращайтесь в нашу веру, да не мешкайте, а иначе... а иначе вам пропадать! Вы не спасены и не избавлены от ада. Стало быть, покажите вашим молебным пятки, и да здравствует месса!

А вы, возлюбленные мои братья-католики, вы уж потираете руки и облизываете пальчики при мысли о преддверии рая? Положа руку на сердце, скажу вам, братья мои: от королевского двора, где вам живется, как в раю, до рая дальше (даже если идти напрямиком), чем от ворот Сен-Лазар до ворот Сен-Дени.

Вас спасли и избавили от ада сила, смерть и кровь господа... Да, в том смысле, что вы очищены от первоначального греха, с этим я согласен. Но смотрите, как бы вас снова не сцапал сатана! Предостерегаю вас: Circuit guarens quem devoret².

О возлюбленные братья мои! Сатана — фехтовальщик искусный, он и Жану Большому, и Жану Маленькому, и Англичанину — всем нос утрет. Истинно говорю вам: он силен в нападении.

Как скоро мы сменим детские наши платьица на штаны, то есть как скоро мы приходим в тот возраст, когда можно впасть в смертный грех, его превосходительство сатана уже зовет нас на Пре-о-Клер жизни. Оружие, которое мы берем с собою туда, — это священные таинства, а он приносит целый арсенал, то есть наши грехи, как-овые служат ему и оружием и доспехами.

Я вижу, как он выходит на место дуэли: на животе у него *Чревоугодие* — вот его панцирь; шпоры заменяет ему *Лень*; у пояса — *Любострастие*, это опасная шпага; *Зависть* — его кинжал; на голове он носит *Гордыню*, как латник — шлем; в кармане у него — *Скупость*, так что он всегда может воспользоваться ею в случае надобности; что же касается *Гнева* купно с поношениями и

¹ И вот внезапно все стадо бросилось в море (лат.).

² Бродит вокруг и ищет, кого бы сожрать (лат.).

тем, что гнев обыкновенно порождает, он держит все это во рту, из чего вы можете заключить, что он вооружен до зубов.

Когда господь бог подает знак к началу, сатана не обращается к вам, как учтивые дуэлянты: «Милостивый государы! Вы уже стали в позицию?» Нет, он бросается на христианина с налету, без всякого предупреждения. Христианин же, заметив, что его сейчас ударят в живот *Чревоугодием*, парирует удар *Постом*.

Тут проповедник отстегнул распятие и для большей наглядности давай им фехтовать, нанося и парируя удары, — ни дать ни взять учитель фехтования, показывающий наиболее трудные приемы.

— Сатана после отхода обрушивает на вас сильный прямой удар *Гневом*, а затем, прибегнув к обману при помощи *Лицемерия*, наносит вам удар с кватры *Гордыней*. Христианин сперва прикрывается *Терпением*, а затем отвечает на удар *Гордыней* ударом *Смирения*. Сатана, в бешенстве, колет его сперва *Любострастием*, однако ж, видя, что его выпад отпарирован *Умерщвлением плоти*, стремительно кидается на противника, дает ему подножку с помощью *Лености*, ранит его кинжалом *Зависти*, и в то же время старается поселить в его сердце *Скупость*. Тут христианину нужно твердо стоять на ногах и смотреть в оба. *Труд* предохранит его от подножки *Лености*, от кинжала *Зависти* — *Любовь к ближнему* (весьма нелегкий парад, братья мои!). А что касемо посползовений *Скупости*, то одна лишь *Благотворительность* способна от них защитить.

Но, братья мои, если бы на вас напали и с терца и с кватры и пытались то кольнуть, то рубнуть, многие ли из вас оказались бы в силах отразить любой удар *такого* врага? Я на своем веку видел немало низринутых бойцов, и вот если боец в это мгновение не прибегнет к *Раскаянию*, то он погиб. Сим последним средством лучше пользоваться *до*, нежели *после*. Вы, придворные, полагаете, что на то, чтобы сказать: *грешен*, много времени не требуется. Увы, братья мои! Сколько несчастных умирающих хотят произнести: *грешен*, но успевают они сказать: *греш*, тут голос у них прерывается: фюить! — и душу унес черт — ищи теперь ветра в поле!

Брат Любен еще некоторое время упивался собственным красноречием. Когда же он сошел с кафедры, ка-

кой-то любитель изящной словесности заметил, что его проповедь, длившаяся не более часу, заключала в себе тридцать семь игр слов и бесчисленное количество острот вроде тех, какие я приводил. Проповедник заслужил одобрение и католиков и протестантов, и он долго потом стоял у подножья кафедры, окруженный толпою подобострастных слушателей, прихлынувших из всех приделов, чтобы выразить ему свое восхищение.

Во время проповеди Бернар спрашивал несколько раз, где графиня де Тюржи. Брат тщетно искал ее глазами. То ли прелестной графини вовсе не было в церкви, то ли она скрывалась от своих поклонников в каком-нибудь темном углу.

— Мне бы хотелось,— сказал Бернар, выходя из церкви,— чтобы те, кто пришел на эту дурацкую проповедь, послушали сейчас задушевные беседы кого-нибудь из наших пасторов.

— Вот графиня де Тюржи,— сжав руку Бернара, шепнул капитан.

Бернар оглянулся и увидел, что под темным порталом мелькнула, как молния, пышно одетая дама, которую вел за руку белокурый молодой человек, тонкий, шуплый, с женоподобным лицом, одетый небрежно — пожалуй, даже подчеркнуто небрежно. Толпа расступалась перед ними с пугливой поспешностью. Этот ее спутник и был грозный Коменж.

Бернар едва успел бросить взгляд на графиню. Он не мог потом ясно представить себе ее черты, и все же они произвели на него сильное впечатление. А Коменж ему страшно не понравился, хотя он и не отдавал себе отчета — чем именно. Его возмущало, что этот хилый человек уже составил себе такое громкое имя.

«Если бы графине случилось полюбить кого-нибудь в этой толпе, мерзкий Коменж непременно бы его убил,— подумал Бернар.— Он поклялся убивать всех, кого она полюбит».

Рука его невольно взялась за эфес шпаги, но он тут же устыдился своего порыва.

«Мне-то что в конце концов? Как я могу ему завидовать, когда я, можно сказать, и не разглядел той женщины, над которой он одержал победу?»

Тем не менее от этих мыслей ему стало тяжело на

сердце, и всю дорогу от церкви до дома капитана он хранил молчание.

Когда они пришли, ужин был уже подан. Бернар ел неохотно и, как скоро убрали со стола, стал собираться к себе в гостиницу. Капитан согласился отпустить Бернара с условием, что завтра он переберется к нему.

Вряд ли стоит упоминать о том, что капитан снабдил своего брата деньгами, конем и всем прочим, а сверх того — адресом придворного портного и единственного торговца, у которого всякий дворянин, желавший нравиться дамам, мог приобрести перчатки, брыжи «Сумбур» и башмаки на высоких каблуках со скрипом.

В гостиницу Бернара по совсем уже темным улицам провожали два лакея его брата, вооруженные шпагами и пистолетами: дело в том, что после восьми вечера ходить по Парижу было тогда опаснее, нежели в наше время по дороге между Севильей и Гранадой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ ВОЖАК

Jacky of Norfolk, be not so bold,
For Dickon thy master is bought and sold.
Shakespeare. King Richard III¹

Возвратившись в скромную свою гостиницу, Бернар де Мержи печальным взором осмотрел потертую и потускневшую ее обстановку. Стоило ему мысленно сравнить когда-то давно выбеленные, а теперь закопченные, потемневшие стены своей комнаты с блестящими шелковыми обоями помещения, откуда он только что ушел; стоило ему вспомнить красивую мадонну и сопоставить ее с висевшим у него на стене облупившимся изображением святого, и в душу к нему закралась нехорошая мысль. Роскошь, изящество, благосклонность дам, милости короля и множество других соблазнительных вещей — все это Жорж приобрел ценой одного-единственного слова, которое так легко произнести: важно, чтобы

¹ Сбавь спеси, Джон Норфольк, сдержи свой язык:
Знай, куплен и продан хозяин твой Дик. *Шекспир. «Король Ричард III» (англ.)*.

оно. изошло из уст, а в душу никто заглядывать не станет. Ему тотчас пришли на память имена протестантов-вероотступников, окруженных почетом. А так как дьявол всегда тут как тут, то Бернару припомнилась притча о блудном сыне, но только заключение вывел он из нее престранное: обращенному гугеноту возрадуются болсе, чем никогда не колебавшемуся католику.

Одна и та же мысль, принимавшая разные формы и приходившая ему в голову как бы помимо его воли, осаждала его и в то же время вызывала у него отвращение. Он взял женевского издания Библию, ранее принадлежавшую его матери, и начал читать. Когда же чтение несколько успокоило его, он отложил книгу. Перед самым сном он поклялся не оставлять веры отцов своих до конца жизни.

Несмотря на чтение и на клятву, сны его отражали приключения минувшего дня. Ему снились шелковые пурпурные занавески, золотая посуда, затем опрокинутые столы, блеск шпаг, кровь, смешавшаяся с вином. Затем ожила нарисованная мадонна,— она вышла из рамы и начала перед ним танцевать. Он силился запечатлеть в памяти ее черты и вдруг заметил, что на ней черная маска. А эти синие глаза, эти две полоски белой кожи, выглядывавшие в прорези!.. Внезапно шнуры у маски развязались, показался небесной красоты лик, но очерк его расплывался,— это напоминало отражение нимфы в тронутый рябью воде. Бернар невольно опустил глаза, но тотчас поднял их и больше уже никого не увидел, кроме грозного Коменжа с окровавленной шпагой в руке.

Он встал спозаранку, велел отнести свои нетяжелые вещи к брату, отказался осматривать вместе с ним достопримечательности города и пошел один во дворец Шатильонов передать письмо от отца.

Двор был запружен слугами и лошадьми, и Мержи еле протиснулся к обширной прихожей, где было полно конюхов и пажей, вооруженных только шпагами и тем не менее составлявших надежную охрану адмирала. Привратник в черной одежде, пробежав глазами по кружевному воротнику Мержи и по золотой цепи, которую дал ему надеть Жорж, без всяких разговоров провел его в галерею, где в это время находился адмирал. Более сорока вельмож, дворян и евангелических священников, приняв почтительные позы, с непокрытыми головами

стояли вокруг адмирала. Адмирал одет был чрезвычайно скромно, во все черное. Он был высокого роста, слегка сутулился, тяготы войны прорезали на его лбу с залысинами больше морщин, нежели годы. Длинная седая борода спускалась ему на грудь. Щеки, впалые от природы, казались еще более впалыми из-за раны, глубокий след которой едва прикрывали длинные усы. В бою под Мон-контуром пистолетный выстрел пробил ему щеку и вышиб несколько зубов. Выражение лица его было не столько сурово, сколько печально. Про него говорили, что после смерти отважного Данделё он ни разу не улыбнулся. Он стоял, опершись на стол, заваленный картами и планами, среди которых возвышалась толстая Библия ин-кварти. На картах и бумагах были разбросаны зубочистки, напоминавшие о его привычке, над которой часто посмеивались. За столом сидел секретарь, углубившийся в писание писем, которые он потом передавал адмиралу на подпись.

При виде великого человека, в глазах своих единоверцев стоявшего выше короля, ибо он объединял в одном лице героя и святого, Мержи преисполнился благоговения и, приблизившись к нему, невольно преклонил одно колено. Адмирал, озадаченный и возмущенный таким необычным почитанием, сделал ему знак встать и с некоторой досадой взял у восторженного юноши письмо. Прежде всего он взглянул на печать.

— Это от моего старого товарища, барона де Мержи, — сказал он. — А вы, молодой человек, удивительно на него похожи, — уж верно, вы его сын.

— Господин адмирал! Если бы не преклонный возраст, мой отец не преминул бы лично засвидетельствовать вам свое почтение.

— Господа! — прочтя письмо, обратился к окружающим Колиньи. — Позвольте вам представить сына барона де Мержи — он проехал более двухсот миль только для того, чтобы примкнуть к нам. Как видно, для похода во Фландрию у нас не будет нужды в добровольцах. Господа! Надеюсь, вы полюбите этого молодого человека. К его отцу вы все питаете глубочайшее уважение.

При этих словах человек двадцать бросились обнимать Мержи и предлагать ему свои услуги.

— Вы уже побывали на войне, друг мой Бернар? — спросил адмирал. — Аркебузную пальбу слышали?

Мержи, покраснев, ответил, что еще не имел счастья сражаться за веру.

— Вы должны радоваться, молодой человек, что вам не пришлось проливать кровь своих сограждан, — строго сказал Колиньи. — Слава богу, — добавил он со вздохом, — гражданская война кончилась, верующим стало легче, так что вы счастливее нас: вы обнажите шпагу только против врагов короля и отчизны.

Положив молодому человеку руку на плечо, он продолжал:

— Вы свой род не посрамите, в этом я убежден. Прежде всего я исполню желание вашего отца: вы будете состоять в моей свите. Когда же мы столкнемся с испанцами, постарайтесь захватить их знамя — вас произведут в корнеты, и вы перейдете в мой полк.

— Клянусь, — с решительным видом воскликнул Мержи, — что после первой же схватки я буду корнетом, или мой отец лишится сына!

— Добро, храбрый мой мальчик! Ты говоришь, как когда-то говорил твой отец.

Адмирал подозревал своего интенданта.

— Вот мой интендант, Самюэль. Если тебе понадобятся деньги на экипировку, обратись к нему.

Интендант изогнулся в поклоне, но Мержи поблагодарил и отказался.

— Мой отец и мой брат ничего для меня не жалеют, — объявил он.

— Ваш брат?.. Капитан Жорж Мержи, тот самый, который еще в первую войну отрекся от нашей веры?

Мержи понурил голову; губы его шевелились беззвучно.

— Он храбрый солдат, — продолжал адмирал, — но что такое смелость, если у человека нет страха божьего? Молодой человек! У вас в семье есть пример, достойный подражания, и есть пример, недостойный подражания.

— Мне послужит образцом доблесть моего брата... а не его измена.

— Ну, Бернар, приходите ко мне почаще и считайте меня своим другом. Здесь, в Париже, легко сбиться с пути истинного, но я надеюсь, скоро отправить вас туда, где перед вами откроется возможность покрыть себя славой.

Мержи почтительно наклонил голову и замешался в толпу приближенных.

— Господа! — возобновив разговор, прерванный появлением Мержи, сказал Колиньи. — Ко мне отовсюду приходят добрые вести. Руанские убийцы наказаны...

— А тулузские — нет, — перебил его старый пастор с мрачным лицом фанатика.

— Вы ошибаетесь. Я только что получил об этом известие. Кроме того, в Тулузе учреждена смешанная комиссия. Его величество каждый день предъявляет нам все новые и новые доказательства, что правосудие — одно для всех.

Старый пастор недоверчиво покачал головой.

Какой-то седобородый старик в черном бархатном одеянии воскликнул:

— Да, его правосудие для всех одно! Карл и его достойная мамаша были бы рады свалить одним ударом Шатильонов, Монморанси и Гизов!

— Выражайтесь почтительнее о короле, господин де Бонисан, — строго заметил Колиньи. — Пора, пора забыть старые счеты! Нам не к лицу подавать повод для разговоров о том, что католики ревностнее нас соблюдают заповедь Христову — прощать обиды.

— Клянусь прахом моего отца, это им легче сделать, чем нам, — пробормотал Бонисан. — Двадцать три моих замученных родственника не так-то скоро изгладятся из моей памяти.

Он все еще говорил горькие слова, как вдруг в галерею появился дряхлый старик с отталкивающей наружностью, в сером изношенном плаще и, пробившись вперед, передал Колиньи запечатанную бумагу.

— Кто вы такой? — не ломая печати, спросил Колиньи.

— Один из ваших друзей, — хриплым голосом ответил старик и тут же вышел.

— Я видел, как этот человек утром выходил из дворца Гизов, — сказал кто-то из дворян.

— Это колдун, — сказал другой.

— Отравитель, — сказал третий.

— Герцог Гиз подослал его отравить господина адмирала.

— Отравить? — пожав плечами, спросил адмирал. — Отравить через посредство письма?

— Вспомните о перчатках королевы Наваррской! — вскричал Бонисан.

— Я не верю ни в отравленные перчатки, ни в отравленное письмо, но зато я верю, что герцог Гиз не способен на низкий поступок!

Колиньи хотел было взломать печать, но тут к нему подбежал Бонисан и выхватил письмо.

— Не распечатывайте! — крикнул он. — Иначе вы вдохнете смертельный яд!

Все сгрудились вокруг адмирала, а тот силился отделаться от Бонисана.

— Я вижу, как от письма поднимается черный дым! — крикнул чей-то голос.

— Бросьте его! Бросьте его! — закричали все.

— Да отстаньте вы от меня, вы с ума сошли! — отбиваясь, твердил адмирал.

Во время этой кутерьмы бумага упала на пол.

— Самюэль, друг мой! — крикнул Бонисан. — Покажите, что вы преданный слуга. Вскройте пакет и вручите его вашему господину не прежде, чем вы удостоверитесь, что в нем нет ничего подозрительного.

Интенданту это поручение не пришлось по душе. Зато Мержи поднял письмо, не рассуждая, и разломал печать. В то же мгновение вокруг него образовалось свободное пространство — все расступились, словно в ожидании, что посреди комнаты вот-вот взорвется мина. Но из пакета ядовитый пар не вырвался, никто даже не чихнул. В страшном конверте оказался лишь довольно грязный лист бумаги, на котором было написано всего несколько строчек.

Как скоро опасность миновала, те же самые люди, которые первыми поспешили отойти в сторону, сейчас опять-таки первыми поспешили выдвинуться вперед.

— Что это за наглость? — высвободившись наконец из объятий Бонисана, в запальчивости крикнул Колиньи. — Как вы смели распечатать письмо, адресованное мне?

— Господин адмирал! Если бы в пакете оказался тонкий яд, вдыхание которого смертельно, то лучше, чтобы жертвой его пал юноша вроде меня, а не вы, ибо

ваша драгоценная жизнь нужна для защиты нашей веры.

При этих словах вокруг Мержи послышался восторженный шепот. Колиньи ласково пожал ему руку, молча поглядел на него добрыми глазами и сказал:

— Раз ты отважился распечатать письмо, так уж заодно и прочти.

Мержи начал читать:

— «Небо на западе объято кровавым заревом. Звезды исчезли, в воздухе были видны пламенные мечи. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что эти знамения предвозвещают. Гаспар! Препояшься мечом, надень шпоры, а не то малое время спустя твоим мясом будут питаться *лисы*».

— Он пишет *лисы* вместо *Гизы*, — догадался Бонисан.

Адмирал презрительно повел плечами. Окружающие хранили молчание, но видно было, что все находится под впечатлением пророчества.

— Сколько народу в Париже занимается всякой чепухой! — холодно сказал Колиньи. — Кто-то верно заметил, что в Париже тысяч десять шалопаев живут тем, что предсказывают будущее.

— Как бы то ни было, этим предостережением пренебрегать не должно, — заговорил пехотный капитан. — Герцог Гиз открыто заявил, что не уснет спокойно, пока не всадит вам шпагу в живот.

— Убийце ровно ничего не стоит к вам проникнуть, — добавил Бонисан. — Я бы на вашем месте, прежде чем идти в Лувр, всегда надевал панцирь.

— Пустое, мой верный товарищ! — возразил адмирал. — Убийцы на таких старых солдат, как мы с вами, не нападают. Они нас больше боятся, чем мы их.

Потом он заговорил о фландрском походе и о делах вероисповедания. Некоторые передали ему прошения на имя короля. Адмирал всех просителей принимал радушно, для каждого находил ласковые слова. В десять часов он велел подать шляпу и перчатки, — пора было в Лувр. Иные простились с ним, но большинство составило его свиту и в то же время охрану.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВОЖАК

(Продолжение)

Завидев брата, капитан издали крикнул ему:

— Ну что, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял?

— Так ласково, что я никогда этого не забуду.

— Очень рад.

— Ах, Жорж! Что это за человек!

— Что за человек? Приблизительно такой же, как все прочие: чуточку больше честолюбия и чуточку больше терпения, нежели у моего лакея, разница только в происхождении. Ему очень повезло, что он сын Шатильона.

— Значит, по-твоему, происхождение обучило его военному искусству? Значит, благодаря происхождению, он стал первым полководцем нашего времени?

— Конечно, нет, однако его достоинства не мешали ему быть многократно битым. Ну да ладно, оставим этот разговор. Сегодня ты повидался с адмиралом, — очень хорошо. Всем сестрам нужно дать по серьгам. Молодец, что отправился на поклон прежде других к Шатильону. А теперь... Хочешь поехать завтра на охоту? Там я представлю тебя одному человеку, с которым тоже не мешает повидаться: я разумею Карла, французского короля.

— Я буду принимать участие в королевской охоте?

— Непременно! Ты увидишь прекрасных дам и прекрасных лошадей. Сбор в Мадридском замке, мы должны быть там рано утром. Я дам тебе моего серого в яблоках коня; ручаюсь, что прищипывать его не придется, — он от собак не отстанет.

Слуга передал Бернару письмо, которое только что доставил королевский паж. Бернар распечатал его, и оба брата пришли в изумление, найдя в пакете приказ о производстве Бернара в корнеты. Приказ был составлен по всей форме и скреплен королевской печатью.

— Вот так раз! — воскликнул Жорж. — Неожиданная милость! Но ведь Карл Девятый понятия не имеет о твоём существовании, — как же, черт побери, он послал тебе приказ о производстве в корнеты?

— Мне думается, я этим обязан адмиралу,— молвил Бернар.

И тут он рассказал брату о таинственном письме, которое он так бесстрашно вскрыл. Капитан от души посмеялся над концом приключения и вволю поиздевался над братом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РАЗГОВОР МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЕМ И АВТОРОМ

— Господин автор! Сейчас вам самое время взяться за писание портретов! И каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самую гущу королевского двора. И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор. Познакомьте нас с несколькими яркими характерами. Чего-чего мы только сейчас не узнаем! Как должен быть интересен день, проведенный среди стольких великих людей!

— Помилуйте, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать такого рода талантом, который позволил бы мне написать историю Франции, тогда бы я не стал сочинять. Скажите, однако ж, почему вы хотите, чтобы я познакомил вас с лицами, которые в моем романе не должны играть никакой роли?

— Вот то, что вы не отвели им никакой роли,— это с вашей стороны непростительная ошибка. Как же так? Вы переносите меня в 1572 год и предполагаете обойтись без портретов стольких выдающихся людей? Полноте! Какие тут могут быть колебания? Пишите. Я диктую вам первую фразу: *Дверь в гостиную открылась, и вошел...*

— Простите, господин читатель, но в Мадридском замке не было *гостиной*! гостинные...

— А, ну хорошо! Обширная зала была полна народу... и так далее. В толпе можно было заметить...

— Кого же вам хотелось бы там заметить?

— Дьявольщина! Primo¹, Карла Девятого!..

— Secundo²?

— Погодите. Сперва опишите его костюм, а потом

¹ Во-первых (лат.).

² Во-вторых? (лат.).

опишите его наружность и, наконец, нравственный его облик. Теперь это проторенная дорога всех романистов.

— Костюм? Он был одет по-охотничьи, с большим рогом на перевязи.

— Вы чересчур немногословны.

— Что же касается его наружности... Постойте... Ах ты господи, да посмотрите его бюст в Ангулемском музее! Он во второй зале, значится под номером девяносто восьмым.

— Но, господин автор, я провинциал. Вы хотите, чтобы я нарочно поехал в Париж, только чтобы посмотреть бюст Карла Девятого?

— Ну, хорошо. Представьте себе молодого человека, довольно статного, с головой, немного ушедшей в плечи; он вытягивает шею и неловко выставляет вперед лоб; нос у него великоват; губы тонкие, рот широкий, верхняя губа оттопыривается; лицо бледное; большие зеленые глаза никогда не смотрят на человека, с которым он разговаривает. И все же в глазах его не прочтешь: **ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ** или что-нибудь в этом роде. Нет, нет! Выражение лица у него не столько жестокое и свирепое, сколько глупое и беспокойное. Вы получите о нем довольно точное представление, если вообразите какого-нибудь молодого англичанина, который входит в огромную гостиную, когда все уже сидят. Он проходит мимо вереницы разряженных дам — те молчат. Зацепившись за платье одной из них, толкнув стул, на котором сидит другая, он с великим трудом пробирается к хозяйке дома и только тут замечает, что, выходя из кареты, подкатившей к подъезду, он нечаянно задел рукавом колесо и выпачкался. Я убежден, что вам часто приходилось видеть такие испуганные лица. Может быть, даже вы сами подолгу репетировали перед зеркалом, пока, наконец, светская жизнь не выработала в вас полнейшей самоуверенности и вы уже перестали бояться за свое появление в обществе.

— Ну, а Екатерина Медичи?

— Екатерина Медичи? А, черт, вот о ней-то я и позабыл! Думаю, что больше я ни разу не напишу ее имени. Это толстая женщина, еще свежая и, по имеющимся у меня сведениям, хорошо сохранившаяся для своих лет, с большим носом и плотно сжатыми губами,

как у человека, испытывающего первые приступы морской болезни. Глаза у нее полузакрыты; она ежеминутно зеваает; голос у нее монотонный, она совершенно одинаково произносит: «Как бы мне избавиться от ненавистной беарнезки?» и «Мадлен! Дайте сладкого молока моей неаполитанской собачке».

— Так! И все же вложите ей в уста какие-нибудь значительные слова. Она только что отравила Жанну д'Альбре, — по крайней мере, был такой слух, — должно же это на ней как-то отразиться.

— Нисколько. Если бы отразилось, то чего бы тогда стоила ее пресловутая выдержка? Да и потом, мне точно известно, что в тот день она говорила только о погоде.

— А Генрих Четвертый? А Маргарита Наваррская? Покажите нам Генриха, смелого, любезного, а самое главное, доброго. Пусть Маргарита сует в руку пажу любовную записку, а Генрих в это время пожимает ручку какой-нибудь фрейлине Екатерины.

— Если говорить о Генрихе Четвертом, то никто бы не угадал в этом юном ветренике героя и будущего короля Франции. У него назад тому две недели умерла мать, а он уже успел о ней позабыть. Ведет бесконечный разговор с доезжачим касательно следов оленя, которого они собираются загнать. Я вас избавлю от этой беседы — надеюсь, вы не охотник?

— А Маргарита?

— Ей нездоровилось, и она не выходила из своей комнаты.

— Нашли отговорку! А герцог Анжуйский? А принц Конде? А герцог Гиз? А Таван, Ретц, Ларошфуко, Теллипи? А Торе, а Мерю и многие другие?

— Как видно, вы их знаете лучше меня. Я буду рассказывать о своем друге Мержи.

— Пожалуй, я не найду в вашем романе того, что мне бы хотелось найти.

— Боюсь, что не найдете.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПЕРЧАТКА

Cayóse un escarpín de la derecha
Mano, que de la izquierda importa poco,
A la señora Blanca, y amor loco
A dos hidalgos disparó la flecha.
*Lope de Vega. El guante de dona Blanca*¹

Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими фрейлинами, ждала у себя в комнате, что король, прежде чем сесть на коня, придет к ней позавтракать. А король между тем, сопровождаемый владетельными князьями, медленно проходил по галерее, где собрались мужчины, которым надлежало ехать с ним на охоту. Он рассеянно слушал придворных и многим из них отвечал резко. Когда король проходил мимо двух братьев, капитан преклонил колено и представил ему нового корнета. Бернар низко поклонился и поблагодарил его величество за незаслуженную честь.

— А, так это о вас говорил мне отец адмирал? Вы брат капитана Жоржа?

— Да, государь.

— Вы католик или гугенот?

— Я протестант, государь.

— Я спрашиваю только из любопытства. Пусть меня черт возьмет, если я придаю хоть какое-нибудь значение тому, какую веру исповедуют преданные мне люди.

Произнеся эти памятные слова, король проследовал к королеве.

Несколько минут спустя, как видно, для того, чтобы мужчинам было не скучно, в галерее появился рой женщин. Я расскажу только об одной красавице, состоявшей при дворе, столь обильном красавицами: я разумею ту, которая будет играть большую роль в моей повести, то есть графиню де Тюржи. На ней был костюм амазонки, свободный и в то же время изящный, маски она еще не надела. Ее черные как смоль волосы казались еще чернее от ослепительной белизны лица, везде одинаково

¹ У сеньоры Бланки с правой руки,
А может быть, и с левой — это безразлично,—

Упала перчатка, и Амур-безумец

Двоих идалго поразил стрелой. *Лопе де Вега.*

«Перчатка доньи Бланки» (исп.).

бледного. Брови дугой, почти сросшиеся, сообщали ее лицу суровое выражение, но от этого весь ее облик ничего не терял в своем очаровании. Сначала в ее больших синих глазах можно было прочесть лишь высокомерие и пренебрежение, но, едва разговор оживлялся, зрачки у нее увеличивались и расширялись, как у кошки, в них загорался огонь, и тогда даже самому занятому хлыщу трудно было не подпасть хотя бы на время под ее обаяние.

— Графиня де Тюржи! Как она сегодня хороша! — шептали придворные, и каждый из них пробирался вперед, чтобы полюбоваться на нее.

Бернар, стоявший у графини де Тюржи на дороге, был поражен ее красотой, и оцепенение его длилось до тех пор, пока широкие шелковые рукава ее платья не задела его камзола, — только тут он вспомнил, что надо посторониться.

Она, — быть может, не без удовольствия, — заметила волнение Бернара и соблаговолила заглянуть своими красивыми глазами в его глаза, а он мгновенно потупился, и щеки его покрылись живым румянцем. Графиня улыбнулась и, проходя мимо, уронила перчатку, но герой наш от растерянности стоял как вкопанный и не догадывался поднять ее. Тогда белокурый молодой человек (это был не кто иной, как Коменж), стоявший позади Бернара, оттолкнул его и, схватив перчатку, почтительно ее поцеловал, а затем отдал г-же де Тюржи. Графиня, не поблагодарив его, повернулась лицом к Бернару и некоторое время смотрела на него с убийственным презрением, потом, найдя глазами капитана Жоржа, нарочно громко сказала:

— Капитан! Вы не знаете, что это за ротозей? Сколько можно судить по его учтивости, он, наверное, гугенот.

Дружный смех привел несчастного Бернара в крайнее замешательство.

— Это мой брат, сударыня, — не таким громким голосом ответил ей Жорж. — Он только три дня в Париже. Клянусь честью, Лануа до того, как вы взяли на себя труд его обтесать, был нисколько не менее неуклюж, чем мой брат.

Графиня слегка покраснела.

— Это злая шутка — вот что я вам скажу, капитан.

Об умерших дурно не говорят. Дайте руку, — меня просила с вами поговорить одна дама: она вами недовольна.

Капитан почтительно взял ее руку и подвел к амбразуре дальнего окна. Уходя, она еще раз оглянулась на Бернара.

По-прежнему ослепленный появлением прелестной графини, сгорая от желания любоваться ею и в то же время не смея поднять на нее глаза, Бернар почувствовал, что кто-то осторожно хлопнул его по плечу. Он обернулся и увидел барона де Водрейля; барон взял его за руку и отвел в сторону, чтобы, как он выразился, никто не помешал им поговорить с глазу на глаз.

— Дорогой друг! — сказал барон. — Вы новичок и, по всей вероятности, не знаете, как себя здесь вести.

Мержи посмотрел на него с изумлением.

— Ваш брат занят, ему некогда давать вам советы. Если позволите, я вам его заменю.

— Я не понимаю, что...

— Вас глубоко оскорбили. Вид у вас был озабоченный, и я решил, что вы обдумываете план мести.

— Мести? Кому? — покраснев до корней волос, спросил Мержи.

— Да ведь коротышка Коменж только что вас из всех сил толкнул! Весь двор видел, как было дело, и ждет, что вы это так не оставите.

— В зале полно народу, — что же удивительного, если кто-то меня нечаянно толкнул?

— Господин де Мержи! С вами я не имею чести быть близко знаком, но с вашим братом мы большие друзья, и он может подтвердить, что я по мере сил следую Христовой заповеди прощать обиды. У меня нет никакого желания срамливать вас, но в то же время я почитаю за должное обратить ваше внимание на то, что Коменж толкнул вас *неумышленно*. Он толкнул вас потому, что хотел нанести вам оскорбление. Даже если б он вас не толкнул, он все равно вас унизил: подняв перчатку Тюржи, он отнял право, принадлежавшее вам. Перчатка лежала у ваших ног, ergo¹, вам *одному* принадлежало право поднять ее и отдать... Да вот, посмотрите туда! Видите в самом конце галереи Коменжа? Он показывает на вас пальцем и смеется над вами.

¹ Следовательно (лат.).

Мержи обернулся и увидел Коменжа, тот со смехом что-то рассказывал окружающим его молодым людям, а молодые люди слушали с явным любопытством. У Мержи не было никаких доказательств, что речь идет именно о нем, однако доброжелатель сделал свое дело: Мержи почувствовал, как его душой овладевает ярый гнев.

— Я найду его после охоты и думаю, что сумею... — начал он.

— Никогда не откладывайте мудрых решений. Кроме того, если вы вызовете своего недруга тотчас после того, как он причинил вам обиду, то вы гораздо меньше прогневаете бога, чем если вы это сделаете после долгих размышлений. Вы вызываете человека на дуэль в запальчивости, тут большого греха нет, и если вы потом деретесь, то единственно для того, чтобы не совершить более тяжкого греха — чтобы не изменить своему слову. Впрочем, я забыл, что вы протестант. Как бы то ни было, немедленно уговоритесь с ним о времени и месте встречи, а я вас сейчас сведу.

— Надеюсь, он передо мной извинится.

— Об этом вы лучше и не мечтайте, дружище. Коменж еще ни разу не сказал: «Я был неправ». Впрочем, он человек порядочный и, разумеется, даст вам удовлетворение.

Мержи взял себя в руки и изобразил на своем лице равнодушие.

— Коль скоро Коменж меня оскорбил, — объявил Мержи, — я должен потребовать от него удовлетворения, и он мне даст в любой форме.

— Чудесно, мой милый! Мне нравится ваша храбрость: ведь вам должно быть известно, что Коменж — один из лучших наших фехтовальщиков. По чести, оружием этот господин владеет хорошо. Он учился в Риме у Брамбиллы Жан Маленький больше не решается скрещивать с ним клинки.

Говоря это, барон пристально вглядывался в слегка побледневшее лицо Мержи; между тем Бернар был больше взволнован самим оскорблением, чем уstraшен его последствиями.

— Я бы с удовольствием исполнил обязанности вашего секунданта, но, во-первых, я завтра причащаюсь, а во-вторых, я должен драться с де Ренси и не имею права обнажать шпагу против кого-либо еще.

— Благодарю вас. Если дело дойдет до дуэли, моим секундантом будет мой брат.

— Капитан — знаток в этой области. Сейчас я приведу к вам Коменжа, и вы с ним объяснитесь.

Мержи поклонился, а затем, отвернувшись к стене, начал составлять в уме вызов и постарался придать своему лицу соответствующее выражение.

Вызов надо делать изящно, — это, как и многое другое, достигается упражнением. Наш герой первый раз вступил в дело — вот почему он испытывал легкое смущение, но его пугал не удар шпаги, он боялся сказать что-нибудь такое, что уронило бы его дворянское достоинство. Только успел он придумать решительную и вместе с тем вежливую фразу, как барон де Водрейль взял его за руку, и фраза мигом вылетела у него из головы.

Коменж, держа шляпу в руке, вызывающе-учтиво поклонился ему и вкрадчивым тоном спросил:

— Милостивый государь! Вы хотели со мной поговорить?

Вся кровь бросилась Бернару в лицо. Он, не задумываясь, ответил Коменжу таким твердым тоном, какого он даже не ожидал от себя:

— Вы наглец, и я требую от вас удовлетворения.

Водрейль одобрительно кивнул головой. Коменж приосанился и, подбоченившись, что в те времена почиталось приличествующим случаю, совершенно серьезно сказал:

— Вы, милостивый государь, *истец*, следственно, право выбора оружия, коль скоро я *ответчик*, предоставляется мне.

— Выбирайте любое.

Коменж сделал вид, что призадумался.

— Эсток — хорошее оружие, — сказал он, — но раны от него могут изуродовать человека, а в наши годы, — с улыбкой пояснил он, — не очень приятно являться к своей возлюбленной со шрамом через все лицо. Рапира оставляет маленькую дырочку, но этого совершенно достаточно. — Тут он опять улыбнулся. — Итак, я выбираю рапиру и кинжал.

— Превосходно, — сказал Мержи, повернулся и пошел.

— Одну минутку! — крикнул Водрейль. — Вы забыли условиться о времени и месте встречи.

— Придворные дерутся на Пре-о-Клер, — сказал Коменж. — Но, быть может, у вас, милостивый государь, есть другое излюбленное место?

— На Пре-о-Клер так на Пре-о-Клер.

— Что же касается часа... По некоторым причинам я раньше восьми не встану... Понимаете? Дома я сегодня не ночью и раньше девяти не смогу быть на Пре.

— Хорошо, давайте в девять.

Отведя глаза в сторону, Бернар заметил на довольно близком от себя расстоянии графиню де Тюржи, — она уже рассталась с капитаном, а тот разговорился с другой дамой. Легко себе представить, что при виде прекрасной виновницы этого злого дела наш герой придал своему лицу важное и деланно беспечное выражение.

— С некоторых пор вошло в моду драться в красных штанах, — сообщил Водрейль. — Если у вас таких нет, я вам вечером пришлю. Кровь на них не видна, — так гораздо опрятнее.

— По мне, это ребячество, — заметил Коменж.

Мержи принужденно улыбнулся.

— Словом, друзья мои, — сказал барон де Водрейль, по-видимому, чувствовавший себя в своей родной стихии, — теперь нужно условиться только о *секундантах* и *тьерсах* для вашего поединка.

— Этот господин совсем недавно при дворе, — заметил Коменж. — Ему, наверное, трудно будет найти *тьерса*. Я готов сделать ему уступку и удовольствоваться секундантом.

Мержи не без труда сложил губы в улыбку.

— Это верх учтивости, — сказал барон. — Иметь дело с таким сговорчивым человеком, как господин де Коменж, — право, одно удовольствие.

— Вам понадобится рапира такой же длины, как у меня, — продолжал Коменж, — а поэтому я вам рекомендую Лорана под вывеской *Золотое солнце* на улице Феронри — это лучший оружейник в городе. Скажите, что это я вас к нему направил, и он все для вас сделает.

Произнеся эти слова, он повернулся и как ни в чем не бывало примкнул к той же кучке молодых людей.

— Поздравляю вас, господин Бернар, — сказал Водрейль. — Вы хорошо бросили вызов. Мало сказать «хорошо» — отлично! Коменж не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся пуще огня, в особенности после того, как он убил великана Канильяка. Два месяца тому назад он убил Сен-Мишеля, но это к большой чести ему не служит. Сен-Мишель не принадлежал к числу опасных противников, а вот Канильяк убил не то пять, не то шесть дворян и не получил при этом ни единой царапины. Он учился в Неаполе у Борелли. Говорят, будто Лансак перед смертью поведал ему секрет удара, которым он и натворил потом столько бед. И то сказать, — как бы говоря сам с собой, продолжал барон, — Канильяк обокрал церковь в Осере и швырнул наземь святые дары. Нет ничего удивительного, что бог его наказал.

Мержи все это было неинтересно слушать, но, боясь, как бы Водрейль хотя бы на краткий миг не заподозрил его в малодушии, он счел своим долгом поддержать разговор.

— К счастью, я никогда не обкрадывал церквей и не притрагивался к святым дарам, — заметил он, — значит, поединок мне не столь опасен.

— Позвольте дать вам еще один совет. Когда вы с Коменжем скрестите шпаги, бойтесь одной его хитрости, стойвшей жизни капитану Томазо. Коменж крикнул, что острое его шпаги сломалось. Томазо, ожидая рубящего удара, поднял свою шпагу над головой, а между тем шпага у Коменжа и не думала ломаться и по самую рукоятку вошла в грудь Томазо, потому что Томазо, не ожидая колющего удара, не защитил грудь... Впрочем, вы на рапирах, — это не так опасно.

— Я буду драться не на жизнь, а на смерть.

— Да, вот еще что! Выбирайте кинжал с крепкой чашкой — это чрезвычайно важно для парирования. Видите, у меня шрам на левой руке? Это потому, что я однажды вышел на поединок без кинжала. Я повздорил с молодым Таларом и из-за отсутствия кинжала едва не лишился левой руки.

— А он был ранен? — с отсутствующим видом спросил Мержи.

— Я его убил по обету, который я дал моему покровителю, святому Маврикию. Еще не забудьте захватить полотна и корпии, это не помешает. Ведь не всегда же убивают наповал. Еще хорошо бы во время мессы положить шпагу на престол... Впрочем, вы протестант... Еще одно слово. Не думайте, что отступление наносит урон вашей чести. Напротив того, заставьте Коменжа как можно больше двигаться. У него короткое дыхание; загоняйте его, а потом, выждав удобный момент, кольните хорошенько в грудь, и из него дух вон.

Барон продолжал бы и дальше давать не менее полезные советы, если бы громкие звуки рогов не возвестили, что король сел на коня. Двери покоев королевы отворились, и их величества в охотничьих костюмах направились к крыльцу.

Капитан Жорж отошел от своей дамы и, подойдя к брату, хлопнул его по плечу и с веселым видом сказал:

— Везет тебе, повеса! Посмотрите на этого маменькиного сынка с кошачьими усами. Стоило ему появиться — и вот уже все женщины от него без ума. Тебе известно, что прекрасная графиня четверть часа говорила со мной о тебе? Ну так не зевай! На охоте все время скачи рядом с ней и будь как можно любезнее. Дьявольщина, да что с тобой? Уж не заболел ли ты? У тебя такое вытянутое лицо, как у протестантского попа, которого сейчас поведут на костер. Да ну же, черт побери, развеселись!..

— У меня нет особого желания ехать на охоту, я предпочел бы...

— Если вы не поедете на охоту, Коменж вообразит, что вы трусите, — шепнул ему барон де Водрейль.

— Идем! — сказал Бернар и провел ладонью по горячему лбу.

Он решил рассказать о своем приключении брату после охоты. «Какой стыд! — сказал он себе. — Вдруг госпожа де Тюржи подумала бы, что я трушу... Вдруг бы ей показалось, что я отказываюсь от удовольствия поохотиться, потому что мне не дает покоя мысль о предстоящей дуэли!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОХОТА

The very butcher of a silk button, a duellist, a duellist a gentleman of the very first house,— of the first and second cause: Ah! the immortal *passado! the punto reverso!*

*Shakespeare. Romeo and Juliet*¹

Во дворе замка суеилось великое множество дам и кавалеров, нарядно одетых, верхом на знатных конях. Звуки рогов, лай собак, громкие голоса острящих всадников — все это сливалось в шум, радующий слух охотника, но несносный для обычного человеческого слуха.

Бернар машинально пошел вслед за братом во двор и случайно оказался подле прелестной графини; она, уже в маске, сидела верхом на горячей андалусской лошадке, бившей копытом о землю и в нетерпении грызшей удила. Но и на этой лошади, которая поглотила бы все внимание заурядного всадника, графиня чувствовала себя совершенно спокойно, точно сидела в кресле у себя в комнате.

Капитан под предлогом натянуть мундштук у андалусской лошадки приблизился к графине.

— Вот мой брат, — сказал он амазонке вполголоса, однако достаточно громко для того, чтобы его мог услышать Бернар. — Будьте с бедным мальчиком поласковой: он сам не свой с тех пор, как увидел вас в Лувре.

— Я уже забыла его имя, — довольно резким тоном проговорила она. — Как его зовут?

— Бернаром. Обратите внимание, сударыня, что перевязь у него точно такого же цвета, как у вас ленты.

— Он умеет ездить верхом?

— Вы скоро сами в этом удостоверитесь.

Жорж поклонился и поспешил к придворной даме, за которой он недавно начал ухаживать. Он слегка наклонился к седельной луке, взял лошадь своей дамы за уздечку и скоро позабыл и о брате, и об его прекрасной и гордой спутнице.

¹ Он настоящий губитель шелковых пуговиц, дуэлянт, дуэлянт, дворянин с ног до головы, знаток первых и вторых поводов к дуэли. Ах, бессмертное *passado! Punto reverso!* Шекспир. «Ромео и Джульетта» (англ.).

— Оказывается, вы знакомы с Коменжем, господин де Мержи? — спросила графиня.

— Кто, я, сударыня?.. Очень мало, — запинаясь, промолвил Мержи.

— Но ведь вы только что с ним разговаривали.

— Это был первый наш разговор.

— Кажется, я догадываюсь, что вы ему сказали.

А глаза ее, смотревшие из-под маски, словно хотели заглянуть к нему в душу.

Бернара эта беседа смущала невероятно, и он чрезвычайно обрадовался, когда к графине, догнав ее, обратилась какая-то дама. Тем не менее, сам не отдавая себе ясного отчета, зачем, он продолжал ехать рядом с графинею. Быть может, он хотел позлить этим Коменжа, следившего за ним издали.

Охотники выехали наконец из замка. Поднятый олень скрылся в лесу. Вся охота устремилась за ним, и тут Мержи с удивлением заметил, как ловко г-жа де Тюржи правит лошадыю и с каким бесстрашием преодолевает она встречающиеся на пути препятствия. Мержи ехал на берберийском коне превосходных статей и благодаря этому не отставал от нее, но, к его великой досаде, граф де Коменж, у которого конь был такой же удалый, тоже ехал рядом с г-жой де Тюржи и, невзирая на быстрогу бешеного галопа, невзирая на увлеченность охотой, то и дело обращался к амазонке, а Бернар между тем завидовал в глубине души его легкости, беспечности, а главное, его способности болтать милую чепуху, которая, видимо, забавляла графиню и этим злила Бернара. И обоих соперников, вступивших в благородное соревнование, не останавливали ни высокие изгороди, ни широкие рвы, — они уже раз двадцать рисковали сломить себе шею.

Внезапно графиня, отделившись от охоты, свернула с дороги, по которой направились король и его свита, на боковую.

— Куда вы? — крикнул Коменж. — Вы собьетесь со следа! Разве вы не слышите, что рог и лай — с той стороны?

— Ну так и поезжайте другой дорогой. Никто вас не неволит.

Коменж ничего не ответил и поворотил коня туда же, куда и она. Мержи поехал вместе с ними. Когда же они

углубились в лес шагов на сто, графиня попридержала лошадь. Коменж, ехавший справа от нее, и Мержи, ехавший слева, последовали ее примеру.

— У вас славный боевой конь, господин де Мержи, — сказал Коменж, — он даже не вспотел.

— Это берберийский конь, брат купил его у одного испанца. Вот рубец от сабельного удара, — он был ранен под Монконтуром.

— Вы были на войне? — обратившись к Мержи, спросила графиня.

— Нет, сударыня.

— Значит, вы не испытали на себе, что такое огнестрельная рана?

— Нет, сударыня.

— А сабельный удар?

— Тоже нет.

Мержи почудилось, что она улыбнулась. Коменж насмешливо вздернул верхнюю губу.

— Ничто так не украшает молодого дворянина, как глубокая рана, — заметил он. — Ведь правда, сударыня?

— В том случае, если дворянин честно ее заслужил.

— Что значит «честно заслужил»?

— Славу приносит только та рана, которую человек получил на поле боя. А раны, полученные на дуэли, — это совсем другое дело. Они ничего, кроме презрения, во мне не вызывают.

— Я полагаю, что господин де Мержи, прежде чем сесть на коня, имел с вами разговор?

— Нет, — сухо ответила графиня.

Мержи подъехал к Коменжу.

— Милостивый государь! — сказал он тихо. — Как скоро мы присоединимся к охоте, мы с вами можем заехать в чашу, и там я постараюсь доказать вам, что я ничего не предпринимал для того, чтобы уклониться от встречи с вами.

Коменж бросил на него взгляд, в котором можно было прочесть и жалость, и удовольствие.

— Тем лучше! Я не имею оснований вам не верить. Что же касается вашего предложения, то принять его я не могу: только мужичье дерется без свидетелей. Наши друзья, которых мы в это дело втянули, не простят нам, что мы их не подождали.

— Как вам будет угодно, милостивый государь, — сказал Мержи и пустился догонять графиню.

Графиня ехала с опущенной головой: казалось, она была занята своими мыслями. Все трое молча доехали до распутия, — тут и кончалась их дорога.

— Это не рог трубит? — спросил Коменж.

— По-моему, звук долетает слева, вон из того кустарника, — заметил Мержи.

— Да, рог, теперь мне это ясно. Могу даже сказать, что это болонская валторна. Будь я трижды неладен, если это не валторна моего приятеля Помпиньяна. Вы не можете себе представить, господин де Мержи, какая огромная разница между болонской валторной и теми валторнами, которые выделывают наши жалкие парижские ремесленники.

— Ее слышно издалека.

— А какой звук! Какая густота! Собаки, едва заслышав его, забывают, что пробежали добрых десять миль. Откровенно говоря, хорошие вещи делают только в Италии да во Фландрии. Как вам правится мой валлонский воротник? К охотничьему костюму он идет. У меня есть воротники и брыжи «Сумбур» для балов, но и этот совсем простой воротник — вы думаете, его вышивали в Париже? Какое там! Мне его привезли из Бреды. У меня есть друг во Фландрии; если хотите, он вам пришлет такой же... Ах да! — перебил он себя и рассмеялся. — Какой же я рассеянный! Бог ты мой! Совсем из головы вон!

Графиня остановила лошадь.

— Коменж! Охота впереди! Судя по звуку рогов, оленя уже начали травить.

— По-видимому, вы правы, очаровательница.

— А вы разве не хотите принять участие в травле?

— Разумеется, хочу. Иначе мы лишимся славы охотников и наездников.

— В таком случае не мешает поторопиться.

— Да, наши лошади передохнули. Покажите же нам пример!

— Я устала, я дальше не поеду. Со мной побудет господин де Мержи. Поезжайте!

— Но...

— Сколько раз нужно вам повторять? Пришпорьте коня.

Коменж не трогался с места. Кровь прилила у него к щекам. Он бросал злобные взгляды то на Бернара, то на графиню.

— Госпоже де Тюржи хочется побыть вдвоем, — насмешливо улыбнувшись, сказал он.

Графиня показала рукой на кустарник, откуда долетали звуки рога, и кончиками пальцев сделала крайне выразительный жест. Но Коменж, видимо, все еще не склонен был уступать место своему сопернику.

— Что ж, придется сказать вам все начистоту. Оставьте нас, господин де Коменж, ваше присутствие мне несносно. Ну как, теперь вы поняли?

— Отлично понял, сударыня, — отвечал он с бешенством и, понизив голос, прибавил: — А что касается вашего нового любимчика... он недолго будет вас тешить... Счастливо оставаться, господин де Мержи, *до свиданья!*

Последние слова он произнес раздельно, а затем, дав коню шворы, погнал его галопом.

Лошадь графини припустилась было за ним, но графиня натянула поводья и поехала шагом. Время от времени она поднимала голову и поглядывала в сторону Мержи с таким видом, словно ей хотелось заговорить с ним, но потом снова отводила глаза, как бы стыдясь, что не знает, с чего начать разговор.

Мержи был вынужден заговорить первым:

— Я горжусь, сударыня, тем предпочтением, какое вы мне оказали.

— Господин Бернар! Вы умеете драться?..

— Умею, сударыня, — отвечал он с изумлением.

— Просто уметь — это мало. Вы хорошо... вы очень хорошо умеете драться?

— Достаточно хорошо для дворянина и, разумеется, плохо для учителя фехтования.

— У нас в стране дворяне лучше владеют оружием, нежели те, что избрали это своим ремеслом.

— Да, правда, я слышал, что многие дворяне тратят в фехтовальных залах время, которое они могли бы лучше провести где-нибудь в другом месте.

— *Лучше?*

— Ну еще бы! Не лучше ли беседовать с дамами, — спросил он, улыбаясь, — чем обливаться потом в фехтовальной зале?

— Скажите: вы часто дрались на дуэлях?

— Слава богу, ни разу, сударыня! А почему вы мне задаете такие вопросы?

— Да будет вам известно, что у женщины не спрашивают, с какой целью она что-нибудь делает. По крайней мере, так принято у людей благовоспитанных.

— Обещаю придерживаться этого правила, — молвил Мержи и, чуть заметно улынувшись, наклонился к шее своего коня.

— В таком случае... как же вы будете вести себя завтра?

— Завтра?

— Да, завтра. Не прикидывайтесь изумленным.

— Сударыня...

— Отвечайте, я знаю все. Отвечайте! — крикнула она и движением, исполненным царственного величия, вытянула в его сторону руку.

Кончик ее пальца коснулся его рукава, и от этого прикосновения он вздрогнул.

— Буду вести себя как можно лучше, — отвечал он наконец.

— Ответ достойный. Это ответ не труса и не задиры. Но вы знаете, что для начала вам уготована встреча с весьма опасным противником?

— Ничего не поделаешь! Конечно, мне придется трудно, как, впрочем, и сейчас, — с улыбкой добавил он. — Ведь до этого я видел только крестьянок, и не успел я привыкнуть к придворной жизни, как уже очутился наедине с прекраснейшей дамой французского двора.

— Давайте говорить серьезно. Коменж лучше, чем кто-либо из придворных, владеет оружием, а ведь у нас — драчун на драчуна. Он король записных дуэлистов.

— Да, я слышал.

— И что же, вас это не смущает?

— Повторяю: я буду вести себя как можно лучше. С доброй шпагой, а главное, с божьей помощью бояться нечего!..

— С божьей помощью!.. — презрительно произнесла она. — Ведь вы гугенот, господин де Мержи?

— Гугенот, сударыня, — отвечал он серьезно; так он всегда отвечал на этот вопрос.

— Значит, поединок должен быть для вас еще страшнее.

— Осмелюсь спросить: почему?

— Подвергать опасности свою жизнь — это еще ничего, но вы подвергаете опасности нечто большее, чем жизнь, — вашу душу.

— Вы рассуждаете, сударыня, исходя из догматов вашего вероучения, догматы нашего вероучения более утешительны.

— Вы играете в азартную игру. На карту брошено спасение вашей души. В случае проигрыша, — а проигрыш почти неизбежен, — вечная мука!

— Да мне и так и так худо. Умри я завтра *католиком*, я бы умер, совершив *смертный грех*.

— Сравнили! Разница громадная! — воскликнула г-жа де Тюржи, видимо, уязвленная тем, что Бернар в споре с ней приводит довод, основываясь на вероучении, которое исповедовала она. — Наши богословы вам объяснят...

— Я в этом уверен, они все объясняют, сударыня; они берут на себя смелость толковать Писание, как им вздумается. Например...

— Пёрестаньте! С гугенотом нельзя затеять минутный разговор, чтобы он по любому случайному поводу не начал отчитывать вас от Писания.

— Это потому, что мы читаем Писание, а у вас священники — и те его не знают. Лучше давайте поговорим о другом. Как вы думаете, олень уже затравлен?

— Я вижу, вы очень стоите за свою веру?

— Опять вы, сударыня!

— Вы считаете, что это правильная вера?

— Более того, я считаю, что это лучшая вера, самая правильная, иначе я бы ее переменял.

— А вот ваш брат переменял же ее!

— У него были основания для того, чтобы стать католиком, а у меня свои основания для того, чтобы оставаться протестантом.

— Все они упрямы и глухи к голосу разума! — с раздражением воскликнула она.

— Завтра будет дождь, — посмотрев на небо, сказал Мержи.

— Господин де Мержи! Мои дружеские чувства к ва-

шему брату, а также нависшая над вами опасность вызывают во мне сочувствие к вам...

Мержи почтительно поклонился.

— Вы, еретики, в реликвии не верите?

Мержи улыбнулся.

— Вы полагаете, что одно прикосновение к ним оскверняет?.. — продолжала она. — Вы бы отказались носить ладанку, как это принято у нас, приверженцев римско-католической церкви?

— А у нас это не принято, — нам, протестантам, обычно этот представляется по меньшей мере бесполезным.

— Послушайте. Как-то раз один из моих двоюродных братьев повесил ладанку на шею охотничьей собаке, а затем, отойдя от нее на двенадцать шагов, выстрелил из аркебузы крупной дробью.

— И убил?

— Ни одна дробинка не попала.

— Чудо! Вот бы мне такую ладанку!

— Правда?.. И вы бы стали ее носить?

— Конечно. Коли она защитила собаку, то уж... Впрочем, я не уверен, не хуже ли еретик собаки... Я имею в виду собаку католика...

Госпожа де Тюржи, не слушая его, проворно растегнула верхние пуговицы своего узкого лифа и сняла с груди золотой медальон на черной ленте.

— Возьмите! — сказала она. — Вы обещали ее носить. Вернете когда-нибудь потом.

— Если это будет от меня зависеть.

— Но вы будете бережно с ней обращаться?.. Не вздумайте кошунствовать! Обращайтесь с ней как можно бережнее!

— Ее дали мне вы, сударыня!

Госпожа де Тюржи протянула ему ладанку, он взял ее и повесил на шею.

— Католик непременно поблагодарил бы руку, отдавшую ему этот священный талисман.

Мержи схватил руку графини и хотел было поднести к губам.

— Нет, нет, поздно!

— А может, передумаете? Вряд ли мне еще когда-нибудь представится такой случай.

— Снимите перчатку, — сказала она и протянула ему руку.

Снимая перчатку, он ощутил легкое пожатие. И тут он запечатлел пламенный поцелуй на ее прекрасной белой руке.

— Господин Бернар! — с волнением в голосе заговорила графиня. — Вы будете упорствовать до конца, ничто вас не тронет? Когда-нибудь вы обратитесь в нашу веру ради меня?

— Почему я знаю! — отвечал он со смехом. — Попросите получше, подольше. Одно могу сказать наверное: уж если кто меня и обратит, так только вы.

— Скажите мне положая руку на сердце: что, если какая-нибудь женщина... ну, которая бы сумела...

Она запнулась.

— Что сумела?..

— Ну да! Если б тут была, например, замешана любовь? Но смотрите: будьте со мной откровенны! Говорите серьезно!

— Серьезно?

Он попытался снова взять ее руку.

— Да. Любовь к женщине другого вероисповедания... любовь к ней не заставила бы вас измениться?.. Бог пользуется разными средствами.

— Вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно и серьезно?

— Я этого требую.

Мержи, опустив голову, медлил с ответом. Признаться сказать, он подыскивал уклончивый ответ. Г-жа де Тюржи подавала ему надежду, а он вовсе не собирался отвергать ее. Между тем при дворе он был всего несколько часов, и его совесть — совесть провинциала — была еще ужасно щепетильна.

— Я слышу порсканье! — крикнула вдруг графиня, так и не дождавшись этого столь трудно рождавшегося ответа.

Она хлестнула лошадь и пустила ее в галоп. Мержи помчался следом за ней, но ни единого взгляда, ни единого слова он так-от нее и не добился.

К охоте они примкнули мгновенно.

Олень сперва забрался в пруд, — выгнать его оттуда оказалось не так-то просто. Некоторые всадники спешились и, вооружившись длинными шестами, вынудили бедное животное снова пуститься бежать. Но холодная

вода его доконала. Олень вышел из пруда, тяжело дыша, высунув язык, и стал делать короткие скачки. А у собак, наоборот, сил как будто прибавилось вдвое. Пробежав небольшое расстояние, олень почувствовал, что бегством ему не спастись; он сделал последнее усилие и, остановившись у толстого дуба, смело повернулся мордой к собакам. Тех, что бросились на него первыми, он поддел на рога. Одну лошадь он опрокинул вместе со всадником. После этого люди, лошади, собаки, став осторожнее, образовали вокруг оленя широкий круг и уже не решались приблизиться к нему настолько, чтобы он мог их достать своими грозными ветвистыми рогами.

Король с охотничьим ножом в руке ловко соскочил с коня и, подкравшись сзади, перерезал у оленя сухожилия. Олень издал нечто вроде жалобного свиста и тотчас же рухнул. Собаки бросились на него. Они вцепились ему в голову, в морду, в язык, так что он не мог пошевелиться. Из глаз его катились крупные слезы.

— Пусть приблизятся дамы! — крикнул король.

Дамы приблизились; почти все они сошли с коней.

— Вот тебе, *парпайо!* — сказал король и, вонзив нож оленю в бок, повернул его, чтобы расширить рану.

Мощная струя крови залила королю лицо, руки, одежду.

«Парпайо» — это была презрительная кличка кальвинистов: так их часто называли католики.

Самое это слово произвело на некоторых неприятное впечатление, не говоря уже о том, при каких обстоятельствах оно было употреблено, меж тем как другие встретили его одобрительно.

— Король сейчас похож на мясника, — довольно громко, с брезгливым выражением лица произнес зять адмирала, юный Телиньи.

Доброжелатели, — а при дворе таковых особенно много, — не замедлили передать эти слова государю, и тот их запомнил.

Насладившись приятным зрелищем, какое являли собой собаки, пожиравшие внутренности оленя, двор поехал обратно в Париж. Дорогой Мержи рассказал брату, как его оскорбили и как произошел вызов на дуэль. Советы и упреки были уже бесполезны, и капитан обещал поехать завтра вместе с ним.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПИСНОЙ ДУЭЛИСТ И ПРЕ-О-КЛЕР

For one of us must yield his breath,
Ere fram the field on foot, we flee.
«The duel of Stuart and Warton»¹

Несмотря на усталость после охоты, Мержи долго не мог заснуть. Охваченный лихорадочным волнением, он метался на постели, воображение у него разыгралось. Его преследовал неотвязный рой мыслей, побочных и даже совсем не связанных с завтрашним событием. Ему уже не раз приходило на ум, что приступ лихорадки — это начало серьезного заболевания, которое спустя несколько часов усилится и прикует его к постели. Что тогда будет с его честью? Что станут о нем говорить, особенно г-жа де Тюржи и Коменж? Он дорого дал бы за то, чтобы приблизить условленный час дуэли.

К счастью, на восходе солнца Мержи почувствовал, что кровь уже не так бурлит в его жилах, предстоящая встреча не повергала его больше в смятение. Оделся он спокойно; сегодняшний его туалет отличался даже некоторой изысканностью. Он представил себе, что на месте дуэли появляется прелестная графиня и, заметив, что он легко ранен, своими руками перевязывает ему рану и уже не делает тайны из своего чувства к нему. На луврских часах пробило восемь — это вернуло Бернара к действительности, и почти в то же мгновение к нему вошел его брат.

Глубокая печаль изображалась на его лице; было видно, что он тоже плохо провел эту ночь. Тем не менее, пожимая руку Бернару, он выдавил из себя улыбку и попытался показать, что он в отличном расположении духа.

— Вот рапира и кинжал с чашкой, — сказал он, — и то и другое — от Луно, из Толедо. Проверь, не слишком ли для тебя тяжела шпага.

Он бросил на кровать длинную шпагу и кинжал.

Бернар вынул шпагу из ножен, согнул ее, осмотрел кончик и остался доволен. После этого он обратил внимание на кинжал; в его чашке было много дырочек, про-

¹ Ибо один из нас испустит дух,
Прежде чем мы, пешне, убежим с поля боя. *«Дуэль между
Стюартом и Уортоном» (англ.).*

деланных для того, чтобы не пускать дальше неприятельскую шпагу, для того, чтобы она застряла и чтобы ее нелегко было извлечь.

— По-моему, с таким превосходным оружием мне нетрудно будет себя защитить, — проговорил он.

Затем Бернар показал висевшую у него на груди ладанку, которую ему дала г-жа де Тюржи, и, улыбаясь, прибавил:

— А вот талисман — он защищает лучше всякой кольчуги.

— Откуда у тебя эта игрушка?

— Угадай!

Честолюбивое желание показать брату, что он пользуется успехом у женщин, заставило Бернара на минуту забыть и Коменжа, и вынутую из ножен боевую шпагу, лежавшую у него перед глазами.

— Ручаюсь головой, что тебе ее дала эта сумасбродка графиня. Черт бы ее побрал вместе с ее медальоном!

— А ты знаешь, она дала мне этот талисман нарочно, чтобы я им сегодня воспользовался.

— Ненавижу я ее манеру — снимать перчатку и всем показывать свою красивую белую руку!

— Я, конечно, в папистские реликвии не верю, боже меня избави, — густо покраснев, сказал Бернар, — но если мне суждено нынче погибнуть, я все же хотел бы, чтобы она узнала, что, сраженный, я хранил на груди этот ее залог.

— Как ты о себе возомнил! — пожав плечами, заметил капитан.

— Вот письмо к матери, — сказал Бернар, и голос у него дрогнул.

Жорж молча взял его, подошел к столу, увидел маленькую Библию и, чтобы чем-нибудь себя занять, пока брат, кончая одеваться, завязывал уйму шнурков, которые тогда носили на платье, начал было читать.

На той странице, на которой он наудачу раскрыл Библию, он прочел слова, написанные рукой его матери: «1-го мая 1547 года у меня родился сын Бернар. Господи! Охрани его на всех путях твоих! Господи! Огради его от всякого зла!»

Капитан закусил губу и бросил книгу на стол. Заметив это, Бернар подумал, что брату пришла в голову какая-нибудь богопротивная мысль. Он со значительным

видом взял Библию, снова вложил ее в вышитый футляр и благоговейно запер в шкаф.

— Это мамина Библия, — сказал он.

Капитан в это время расхаживал по комнате и ничего ему не ответил.

— Не пора ли нам? — застегивая португую, спросил Бернар.

— Нет, мы еще успеем позавтракать.

Оба приблизились к столу; на столе стояли блюда с пирогами и большой серебряный жбан с вином. За едой они долго, делая вид, что беседа их очень занимает, обсуждали достоинства вина и сравнивали его с другими винами из капитанского погреба. Каждый старался за бессодержательным разговором скрыть от собеседника истинные свои чувства.

Капитан встал первым.

— Идем, — сказал он хрипло.

С этими словами он надвинул шляпу на глаза и сбежал по лестнице.

Они сели в лодку и переехали Сену. Лодочник, догадавшийся по их лицам, зачем они едут в Пре-о-Клер, проявил особую предупредительность и, налегая на весла, рассказал им во всех подробностях, как в прошлом месяце два господина, один из которых был граф де Коменж, оказали ему честь и наняли у него лодку, чтобы в лодке спокойно драться, не боясь, что кто-нибудь им помешает. Г-н де Коменж пронзил своего противника насквозь — вот только фамилии его он, лодочник, дескать, к сожалению, не знает, — раненый свалился в реку, и лодочник так его и не вытащил.

Как раз когда они приставали к берегу, немного ниже показалась лодка с двумя мужчинами.

— Вот и они. Побудь здесь, — сказал капитан и побежал навстречу лодке с Коменжем и де Бевилем.

— А, это ты! — воскликнул виконт. — Кого же Коменж должен убить: тебя или твоего брата?

Произнеся эти слова, он со смехом обнял капитана.

Капитан и Коменж с важным видом раскланялись.

— Милостивый государь! — высвободившись наконец из объятий Бевиля, сказал Коменжу капитан. — Я почитаю за должное сделать усилие, дабы предотвратить пагубные последствия ссоры, которая, однако, не задела

ничей чести. Я уверен, что мой друг (тут он показал на Бевиля) присоединит свои усилия к моим.

Бевиль состроил недовольную мину.

— Мой брат еще очень молод,— продолжал Жорж.— Он человек безвестный, в искусстве владения оружием не искушенный, — вот почему он принужден выказывать особую щепетильность. Вы, милостивый государь, напротив того, обладаете прочно устоявшейся репутацией, ваша честь только выиграет, если вам благоугодно будет признать в присутствии господина де Бевиля и моем, что вы нечаянно...

Коменж прервал его взрывом хохота.

— Да вы что, шутите, дорогой капитан? Неужели вы воображаете, что я стал бы так рано покидать ложе моей любовницы... чтобы я стал переезжать Сену только для того, чтобы извиниться перед каким-то сопляком?

— Вы забываете, милостивый государь, что вы говорите о моем брате и что таким образом вы оскорбляете...

— Да хоть бы это был ваш отец, мне-то что! Меня вся ваша семья весьма мало трогает.

— В таком случае, милостивый государь, вам волей-неволей придется иметь дело со всей нашей семьей. А так как я старший, то будьте любезны, начните с меня.

— Простите, господин капитан, по правилам дуэли мне надлежит драться с тем, кто меня вызвал раньше. Ваш брат имеет неотъемлемое, как принято выражаться в суде, право на первоочередность. Когда я покончу с ним, я буду в вашем распоряжении.

— Совершенно верно! — воскликнул Бевиль. — Иного порядка дуэли я не допущу.

Бернар, удивленный тем, что собеседование затянулось, стал медленно приближаться. Подошел же он как раз, когда его брат принялся осыпать Коменжа градом оскорблений, вплоть до «подлеца», но Коменж на все невозмутимо отвечал:

— После брата я займусь вами.

Бернар схватил брата за руку.

— Жорж! — сказал он. — Хорошую ты мне оказываешь услугу! Ты бы хотел, чтобы я оказал тебе такую же? Милостивый государь! — обратился он к Коменжу. — Я в вашем распоряжении. Мы можем начать когда вам угодно.

— Сию же минуту, — объявил тот.

— Ну и чудесно, мой дорогой, — сказал Бевиль и пожал руку Бернару. — Если только на меня не ляжет печальный долг похоронить тебя нынче здесь, ты далеко пойдешь, мой мальчик.

Коменж снял камзол и развязал ленты на туфлях, — этим он дал понять, что не согласится ни на какие уступки. Таков был обычай заправских дуэлистов. Бернар и Бевиль сделали то же самое. Один лишь капитан даже не сбросил плаща.

— Что с тобой, друг мой Жорж? — спросил Бевиль. — Разве ты не знаешь, что тебе предстоит схватиться со мной врукопашную? Мы с тобой не из тех секундантов, что стоят сложа руки в то время, как дерутся их друзья, мы придерживаемся андалусских обычаев.

Капитан пожал плечами.

— Ты думаешь, я шучу? Честное слово, тебе придется драться со мной. Пусть меня черт возьмет, если ты не будешь со мной драться!

— Ты сумасшедший, да к тому же еще и дурак, — холодно сказал капитан.

— Черт возьми! Или ты сейчас же передо мной извинишься, или я вынужден буду...

Он с таким видом поднял еще не вынутую из ножен шпагу, словно собирался ударить Жоржа.

— Ты хочешь драться? — спросил капитан. — Пожалуйста.

И он мигом стащил с себя камзол.

Коменжу стоило с особым изяществом один только раз взмахнуть шпагой, и ножны отлетели шагов на двадцать. Бевиль попытался сделать то же самое, однако ножны застряли у него на середине шпаги, а это считалось признаком неуклюжести и дурной приметой. Братья обнажили шпаги хоть и не столь эффектно, а все-таки ножны отбросили — они могли им помешать. Каждый стал против своего недруга с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре клинка скрестились одновременно.

Жорж тем приемом, который итальянские учителя фехтования называли тогда *liscio di spada e cavare alla vita*¹ и который заключался в том, чтобы противопоставить слабости силу, в том, чтобы отвести оружие против-

¹ Проворство шпаги спасает жизнь (итал.)

ника и ударить по нему, сразу же выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его незащищенной груди, а затем, вместо того чтобы проткнуть его, хладнокровно опустил шпагу.

— Тебе со мной не тягаться, — сказал он. — Прекратим схватку. Но смотри: не выводи меня из себя!

Увидев шпагу Жоржа так близко от своей груди, Бевиль побледнел. Слегка смущенный, он протянул ему руку, после чего оба воткнули шпаги в землю, и с этой минуты они уже были всецело поглощены наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены.

Бернар был храбр и умел держать себя в руках. Фехтовальные приемы он знал прилично, а физически был гораздо сильнее Коменжа, который вдобавок, видимо, чувствовал усталость после весело проведенной ночи. Первое время Бернар, когда Коменж на него налетал, ограничивался тем, что с великой осторожностью парировал удары и всячески старался путать его карты, кинжалом прикрывая грудь, а в лицо противнику направляя острие шпаги. Это неожиданное сопротивление разозлило Коменжа. Он сильно побледнел. У человека храброго бледность является признаком дикой злобы. Он стал еще яростнее нападать. Во время одного из выпадов он с изумительной ловкостью подбросил шпагу Бернара и, стремительно нанеся ему колющий удар, неминуемо проткнул бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство, которое может показаться почти чудом и благодаря которому удар был отведен: острие рапиры натолкнулось на ладанку из гладкого золота и, скользя по ней, приняло несколько наклонное направление. Вместо того, чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя параллельно ребру, вышла на расстоянии двух пальцев от первой раны. Не успел Коменж извлечь свое оружие, как Бернар ударил его кинжалом в голову с такой силой, что сам потерял равновесие и полетел. Коменж упал на него. Секунданты подумали, что убиты оба.

Бернар сейчас же встал, и первым его движением было поднять шпагу, которая выпала у него из рук при падении. Коменж не шевелился. Бевиль приподнял его. Лицо у Коменжа было все в крови. Отерев кровь платком, Бевиль обнаружил, что удар кинжалом пришелся

в глаз и что друг его был убит наповал, так как лезвие дошло, вне всякого сомнения, до самого мозга.

Бернар невидящим взором смотрел на труп.

— Бернар! Ты ранен? — подбежав к нему, спросил капитан.

— Ранен? — переспросил Бернар и только тут заметил, что рубашка у него намочена от крови.

— Пустяки, — сказал капитан, — шпага только скользнула.

Он вытер кровь своим платком, а затем, чтобы перевязать рану, попросил у Бевиля его платок. Бевиль поддерживал тело Коменжа, но тут он его уронил на траву и поспешил дать Жоржу свой платок, а также платок, который он нашел у Коменжа в кармане камзола.

— Фу, черт! Вот это удар! Ну и рука же у вас, дружище! Дьявольщина! Что скажут парижские записные дуэлисты, если из провинции к нам станут приезжать такие хваты, как вы? Скажите, пожалуйста, сколько раз вы дрались на дуэли?

— Сегодня — увы! — первый раз, — отвечал Бернар. — Помогите же ради бога вашему другу!

— Какая тут к черту помощь! Вы его так угостили, что он уже ни в чем больше не нуждается. Клинок вошел в мозг, удар был нанесен такой крепкой, такой уверенной рукой, что... Взгляните на бровь и на щеку — чашка кинжала вдавилась, как печать в воск.

Бернар задрожал всем телом. Крупные слезы показались по его щекам.

Бевиль поднял кинжал и принялся внимательно осматривать выемки — в них было полно крови.

— Этому оружию младший брат Коменжа обязан поставить хорошую свечку. Благодаря такому чудному кинжалу он сделается наследником огромного состояния.

— Пойдем... Уведи меня отсюда, — упавшим голосом сказал Бернар и взял брата за руку.

— Не горюй, — молвил Жорж, помогая Бернару надеть камзол. — В сущности говоря, этого человека жалеть особенно не за что.

— Бедный Коменж! — воскликнул Бевиль. — Подумать только: тебя убил юнец, который дрался первый раз в жизни, а ты дрался раз сто! Бедный Коменж!

Так он закончил надгробную свою речь.

Бросив последний взгляд на друга, Бевиль заметил часы, висевшие у него, по тогдашнему обычаю, на шее.

— А, черт! — воскликнул он. — Теперь тебе уже не зачем знать, который час.

Он снял часы и, рассудив вслух, что брат Коменжа и так теперь разбогатеет, а ему хочется взять что-нибудь на память о друге, положил их к себе в карман.

Братья двинулись в обратный путь.

— Погодите! — поспешно надевая камзол, крикнул он. — Эй, господин де Мержи! Вы забыли кинжал! Разве можно терять такую вещь?

Он вытер клинок рубашкой убитого и побежал догонять юного дуэлянта.

— Успокойтесь, мой дорогой, — прыгнув в лодку, сказал он. — Не делайте такого печального лица. Послушайтесь моего совета: чтобы разогнать тоску, сегодня же, не заходя домой, подите к любовнице и потрудитесь на славу, так, чтобы девять месяцев спустя вы могли подарить государству нового подданного взамен того, которого оно из-за вас утратило. Таким образом мир ничего не потеряет по вашей вине. А ну-ка, лодочник, греби веселей, получишь пистоль за усердие. К нам приближаются люди с алебардами. Это стражники из Нельской башни, а мы с этими господами ничего общего иметь не желаем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ БЕЛАЯ МАГИЯ

Ночью мне снились дохлая рыба и разбитые яйца, а господин Анаксарх мне сказал, что разбитые яйца и дохлая рыба — это к несчастью.

*Мольер.
Блистательные любовники*

Вооруженные алебардами люди составляли отряд караульных, находившийся по соседству с Пре-о-Клер на предмет улаживания ссор, которые в большинстве случаев разрешались на этом классическом месте дуэлей. Ехали стражники в лодке, по своему обыкновению, крайне медленно, с тем чтобы прибыть и удостовериться,

что все уже кончено. И то сказать: их попытки водворить мир чаще всего не встречали ни малейшего сочувствия. А сколько раз бывало так, что ярые враги прерывали смертный бой и дружно нападали на солдат, которые старались их разнять! Вот почему обязанности дозора обыкновенно ограничивались тем, что солдаты оказывали помощь раненым или уносили убитых. Сегодня стрелкам предстояло исполнить только эту вторую обязанность, и они сделали свое дело так, как это у них было принято, то есть предварительно опустошив карманы несчастного Коменжа и поделив между собой его платье.

— Дорогой друг! — обратился к Бернару Бевиль. — Даю вам благой совет: пусть вас с соблюдением строжайшей тайны доставят к мэтру Амбруазу Паре: если нужно зашить рану или вправить сломанную руку, — тут уж он мастак. По части ереси он, правда, самому Кальвину не уступит, но дело свое знает, и к нему обращаются самые ревностные католики. Одна лишь маркиза де Буасьер не захотела, чтобы ей спас жизнь гугенот, и храбро предпочла умереть. Спорю на десять пистолей, что она теперь в раю.

— Рана у тебя пустячная, — заметил Жорж, — через три дня заживет. Но у Коменжа есть в Париже родственники, — боюсь, как бы они не приняли его кончину слишком близко к сердцу.

— Ах да! У него есть мать, и она из приличия возбudit против нашего друга преследование. Ну ничего! Хлопочите через Шатильона. Король согласится помиловать: ведь он что воск в руках адмирала.

— Мне бы хотелось, чтобы до адмирала это происшествие, если можно, не дошло, — слабым голосом молвил Бернар.

— А, собственно, почему? Вы полагаете, что старый бородач разозлится, когда узнает, с каким невиданным проворством протестант отправил на тот свет католика? Вместо ответа Бернар глубоко вздохнул.

— Коменж хорошо известен при дворе, и его смерть не может не наделать шуму, — сказал капитан. — Но ты исполнил долг дворянина; в том, что случилось, нет ничего затрагивающего твою честь. Я давно не был у старика Шатильона — теперь мне представляется случай возобновить знакомство.

— Провести несколько часов за тюремной решеткой — удовольствие из средних, — снова заговорил Бевиль. — Я спрячу твоего брата в надежном месте — так, что никто не догадается. Он может там жить совершенно спокойно до тех пор, пока его дело не уладится. А то ведь в монастырь его как еретика вряд ли примут.

— Я очень вам благодарен, — сказал Бернар, — но воспользоваться вашим предложением не могу, — это вам повредит.

— Ничуть, ничуть, дорогой мой. На то и дружба! Я вас помещу в доме одного из моих двоюродных братьев — его сейчас нет в Париже. Дом в полном моем распоряжении. Я пустил туда одну старушку, она за вами приглядит. Старушка предана мне всецело, для молодых людей такие старушки — клад. Она понимает толк в медицине, в магии, в астрономии. Она мастерица на все руки. Но особый дар у нее к сводничеству. Разрази меня гром, если она по моей просьбе не возьмется передать любовную записку самой королеве.

— Добро! — заключил капитан. — Мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь, а потом мы его незамедлительно переправим в тот дом.

Разговаривая таким образом, они причалили наконец к правому берегу. Не без труда взмолив Бернара на коня, Жорж и Бевиль отвезли его сперва к прославленному хирургу, оттуда — в Сент-Антуанское предместье, в уединенный дом, и расстались с ним уже вечером, уложив его в мягкую постель и вверив попечению старухи.

Если человек убил другого и если это первое на его душе убийство, то потом в течение некоторого времени убийцу мучает, преимущественно с наступлением ночи, яркое воспоминание о предсмертной судороге. В голове полно мрачных мыслей, так что трудно, очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом — он утомляет и надоедает. А между тем одиночество пугает убийцу, ибо в одиночестве гнетущие мысли приобретают особую силу. Несмотря на частые посещения брата и Бевиля, первые дни после дуэли Бернар не находил себе места от страшной тоски. По ночам он не спал: рана воспалилась, и все тело у него горело, — это были самые тяжелые для Бернара часы. Только мысль, что г-жа де Тюржи думает о нем и восхищается его бес-

страшием, несколько утешала его — утешала, но не успокаивала.

Дом, где жил Бернар, находился в глубине запущенного сада, и однажды, июльской ночью, когда Бернару стало нестерпимо душно, он решил прогуляться и подышать воздухом. Он уже накинул на плечи плащ и направился к выходу, но дверь оказалась запертой снаружи. Он подумал, что старуха заперла его по рассеянности. Спала она далеко от него, в такой час сон ее должен был быть особенно крепок, и он рассудил, что ее все равно не дозовешься. Притом окно его было невысоко, земля под окном была мягкая, так как ее недавно перекапывали. Мгновение — и он в саду. Небо заволокли тучи; *ни одна звездочка не высывала кончика своего носа*; редкие порывы ветра как бы пробивались сквозь толщу знойного воздуха. Было около двух часов ночи, кругом царила глубокая тишина.

Мержи прогуливался, отдавшись во власть своих мечтаний. Вдруг кто-то стукнул в калитку. В этом слабом ударе молотком было что-то таинственное; тот, кто стучал, должно быть, рассчитывал, что, едва услышав стук, ему отворят. Кому-то в такую пору понадобилось прийти в уединенный дом — это не могло не показаться странным. Мержи забился в темный угол сада, — оттуда он мог, оставаясь незамеченным, за всем наблюдать. Из дома с потайным фонарем в руке сейчас же вышла, вне всякого сомнения, старуха, — а кроме нее, и выйти-то было некому, — отворила калитку, и в сад вошел кто-то в широком черном плаще с капюшоном.

Любопытство Бернара было сильно возбуждено. Судя по фигуре и отчасти по платью, это была женщина. Старуха встретила ее низкими поклонами, а та едва кивнула ей головой. Зато она сунула старухе в руку нечто такое, отчего старуха пришла в восторг. По раздавшемуся затем чистому металлическому звуку, равно как и по той стремительности, с какой старуха нагнулась и стала что-то искать на земле, Мержи окончательно убедился, что ей дали денег. Старуха, прикрывая фонарь, пошла вперед, незнакомка — за ней. В глубине сада находилось нечто вроде зеленой беседки, — ее обривывали посаженные кругом липы и сплошная стена кустарника между ними. В беседку вели два входа, вернее сказать, две арки, посреди стоял каменный стол. Сю-

да-то и вошли старуха и закутанная в плащ женщина. Мержи, затаив дыхание, крался за ними и, дойдя до кустарника, стал так, чтобы ему было хорошо слышно, а видно настолько, насколько это ему позволял слабый свет, озарявший беседку.

Старуха сперва зажгла в жаровне, стоявшей на столе, нечто такое, что тотчас же вспыхнуло и осветило беседку бледно-голубым светом, точно это горел спирт с солью. Затем она то ли погасила, то ли чем-то прикрыла фонарь, и при дрожащем огне жаровни Бернару трудно было бы рассмотреть незнакомку, даже если бы она была без вуали и накидки. Старуху же он сразу узнал и по росту, и по сложению. Вот только лицо у нее было вымазано темной краской, что придавало ей сходство с медной статуей в белом чепце. На столе виднелись странные предметы. Мержи не мог понять, что это такое. Разложены они были в каком-то особом порядке. Бернару показалось, что это плоды, кости животных и окровавленные лоскуты белья. Меж отвратительных тряпок стояла вылепленная, по-видимому, из воска человеческая фигурка высотой с фут, не более.

— Ну так как же, Камилла, — вполголоса произнесла дама под вуалью, — ты говоришь, ему лучше?

Услышав этот голос, Мержи вздрогнул.

— Немного лучше, сударыня, — отвечала старуха, — а все благодаря вашему искусству. Но только на этих лоскутах так мало крови, что я тут особенно помочь не могла.

— А что говорит Амбруаз Паре?

— Этот невежда? А не все ли вам равно, что он говорит? Рана глубокая, опасная, страшная, уверяю вас, ее можно залечить, только если прибегнуть к симпатической магии. Но духам земли и воздуха нужно часто приносить жертвы... а для жертв...

Дама быстро сообразила.

— Если он поправится, ты получишь вдвое больше того, что я тебе сейчас дала, — сказала она.

— Надейтесь крепко и положитесь на меня.

— Ах, Камилла! А вдруг он умрет?

— Не бойтесь. Духи милосердны, небесные светила нам благоприятствуют, черный баран — последнее наше жертвоприношение — расположил в нашу пользу того.

— Я с великим трудом раздобыла для тебя одну

вещь. Я велела ее купить у одного из стрелков, которые обчистили мертвое тело.

Дама что-то достала из-под плаща, и вслед за тем Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла шпагу и поднесла к огню.

— Слава богу! На лезвии кровь, оно заржавело. Да, кровь у него, как все равно у китайского василиска: если она попала на сталь, так уж ее потом ничем не отчистишь.

Старуха продолжала рассматривать клинок. Дама между тем обнаруживала все признаки охватившего ее чрезвычайного волнения.

— Камилла! Посмотри, как близко от рукоятки кровь. Быть может, то был удар смертельный?

— Это кровь не из сердца. Он выздоровеет.

— Выздоровеет?

— Да, и тут же заболит болезнью неизлечимой.

— Какой болезнью?

— Любовью.

— Ах, Камилла, ты правду говоришь?

— А разве я когда-нибудь говорю неправду? Разве я когда-нибудь предсказываю неверно? Разве я вам не предсказала, что он одержит победу на поединке? Разве я вам не возвестила, что за него будут сражаться духи? Разве я не зарыла в том месте, где ему предстояло драться, черную курицу и шпагу, которую освятил священник?

— Да, правда.

— И разве вы не пронзили изображение его недруга в сердце, чтобы направить удар того человека, ради которого я применила свое искусство?

— Да, Камилла, я пронзила изображение Коменжа в сердце, но говорят, что его сразил удар в голову.

— Да, конечно, его ударили кинжалом в голову, но раз он умер, не значит ли это, что в сердце у него свернулась кровь?

Это последнее доказательство, видимо, заставило даму сдаться. Она умолкла. Старуха, смазав клинок шпаги елеем и бальзамом, с крайним тщанием завернула его в тряпки.

— Понимаете, сударыня, я натираю шпагу скорпионьим жиром, а он симпатической силой переносится на рану молодого человека. Молодой человек испыты-

ваает такое же точно действие африканского этого бальзама, как будто я лью ему прямо на рану. А если б мне припала охота накалить острие шпаги на огне, бедному раненому было бы так больно, словно его самого жгут огнем.

— Смотри не вздумай!

— Как-то вечером сидела я у огня и тщательно натирала бальзамом шпагу, — хотелось мне вылечить одного молодого человека, которого этой шпагой два раза из всех сил ударили по голове. Натирала, натирала, да и задремала. Стук в дверь — лакей больного; говорит, что его господин терпит смертную муку; когда, мол, он уходил, тот был словно на углях. А знаете, отчего? Шпага-то у меня, у сонной, соскользнула, и клинок лежал на углях. Я сейчас же сняла шпагу и сказала лакею, что к его приходу господин будет чувствовать себя отлично. И в самом деле: я насыпала в ледяную воду кое-каких снадобий, скорей туда шпагу и пошла навещать больного. Вхожу, а он мне и говорит: «Ах, дорогая Камилла! До чего же мне сейчас приятно! У меня такое чувство, как будто я ванну прохладную принимаю, а перед этим чувствовал себя, как святой Лаврентий на раскаленной решетке».

Старуха перевязала шпагу и с довольным видом молвила:

— Ну, хорошо. Теперь я за него спокойна. Можете совершить последний обряд.

Старуха бросила в огонь несколько щепоток душистого порошку и, непрерывно крестясь, произнесла какие-то непонятные слова. Дама взяла дрожащей рукой восковое изображение и, держа его над жаровней, с волнением в голосе проговорила:

— *Подобно тому как этот воск топится и плавится от огня жаровни, так и сердце твое, о Бернар Мержи, пусть топится и плавится от любви ко мне!*

— Отлично. А теперь вот вам зеленая свеча, — она была вылита в полночь по всем правилам искусства. Затеплите ее завтра перед образом божьей матери.

— Непременно... Ты меня успокаиваешь, а все-таки я страшно тревожусь. Вчера мне снилось, что он умер.

— А вы на каком боку спали — на правом или на левом?

— А лежа на... на каком боку, видишь вещие сны?

— Скажите сперва, на каком боку вы обыкновенно спите. Я вижу, вы хотите прибегнуть к самообману, к самовнушению.

— Я сплю всегда на правом боку.

— Успокойтесь, ваш сон — к большой удаче.

— Дай-то бог!.. Но он приснился мне мертвенно-бледный, окровавленный, одетый в саван.

Тут она обернулась и увидела Мержи, стоявшего возле одного из входов в беседку. От неожиданности она так пронзительно вскрикнула, что ее испуг передался Бернару. Старуха не то нечаянно, не то нарочно опрокинула жаровню, и яркое пламя, взметнувшееся до самых верхушек лип, на несколько мгновений ослепило Мержи. Обе женщины юркнули в другой выход. Углядев лазейку в кустарнике, Мержи, нимало не медля, пустился за ними вдогонку, но, споткнувшись о какой-то предмет, чуть было не упал. Это оказалась та самая шпага, коей он был обязан своим исцелением. Для того чтобы убрать шпагу и выйти на дорогу, потребовалось время. Когда же он выбрался на широкую, прямую аллею и решил, что теперь-то ничто не помешает ему нагнать беглянок, калитка захлопнулась. Обе женщины были вне досягаемости.

Слегка уязвленный тем, что выпустил из рук столь прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и повалился на кровать. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, все угрызения совести, если только они у него были, все тревожные чувства, какие могло ему внушить его положение, исчезли точно по волшебству. Теперь он думал о том, какое счастье любить самую красивую женщину во всем Париже и быть любимым ею, а что дама под вуалью — г-жа де Тюржи, это для него сомнению не подлежало. Уснул он вскоре после восхода солнца, а проснулся уже белым днем. На подушке он нашел запечатанную записку, неизвестно как сюда попавшую. Он распечатал ее и прочел:

«Кавалер! Честь дамы зависит от Вашей скромности».

Спустя несколько минут вошла старуха и принесла ему бульону. Сегодня у нее, против обыкновения, висели на поясе крупные четки. Лицо она старательно вымыла,

и кожа на нем напоминала уже не медь, а закопченный пергамент. Ступала она медленно, опустив глаза, — так идет человек, который боится, как бы земные предметы не отвлекли его от выпренных созерцаний.

Мержи решил, что, дабы наилучшим образом выказать ту добродетель, коей требовала от него таинственная записка, ему прежде всего надлежит получить точные сведения, что именно он должен от всех скрывать. Он взял у старухи бульон и, прежде чем она успела дойти до двери, проговорил:

— А вы мне не сказали, что вас зовут Камиллой.

— Камиллой?.. Меня Мартой зовут, господин хороший... Мартой Мишлен, — делая вид, что Мержи ее крайне удивил, молвила старуха.

— Ну, хорошо, Мартой так Мартой, но этим именем вы велите себя звать людям, а с духами вы знаете под именем Камиллы.

— С духами?.. Иисусе сладчайший! Что это вы такое говорите?

Она осенила себя широким крестом.

— Полно, не стройте из меня дурачка! Я никому не скажу, этот разговор останется между нами. Кто эта дама, которая так беспокоится о моем здоровье?

— Какая дама?..

— Полно, не виляйте, говорите начистоту. Даю вам слово дворянина, я вас не выдам.

— Право же, господин хороший, я не понимаю, о чем вы толкуете.

Мержи, видя, как она прикидывается изумленной и прикладывает руку к сердцу, не мог удержаться от смеха. Он вынул из кошелька, висевшего у него над изголовьем, золотой и протянул старухе.

— Возьмите, добрая Камилла. Вы так обо мне заботитесь и до того тщательно натираете скорпионьим жиром шпаги, чтобы я поскорей поправился, что, откровенно говоря, мне давно уже следовало что-нибудь вам подарить.

— Да что вы, господин! Ну право же, ну право же, мне невдомек!

— Слушайте, вы, Марта, или, черт вас там знает, Камилла, не злите меня, извольте отвечать! Кто эта дама, для которой вы минувшей ночью так забавно вожили?

— Господи Иисусе! Он осерчал... Уж не начинается ли у него бред?

Мержи, выйдя из терпения, швырнул подушку прямо старухе в голову. Та смиренно положила подушку на место, подобрала упавшую на пол золотую монету, но тут вошел капитан и избавил ее от допроса, последствий которого она опасалась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ КЛЕВЕТА

King Henry IV
Thou dost belie him, Percy, thou dost belie him.
Shakespeare. King Henry IV¹

В то же утро Жорж отправился к адмиралу поговорить о брате. В двух словах он рассказал ему, в чем состоит дело.

Адмирал, слушая его, грыз зубочистку — то был знак неудовольствия.

— Мне это уже известно, — сказал он. — Не понимаю, зачем вам понадобилось рассказывать о происшествии, о котором говорит весь город.

— Я докучаю вам, господин адмирал, единственно потому, что знаю вашу неизменную благосклонность к нашей семье, и смею надеяться, что вы будете так добры и замолвите перед королем слово о моем брате. Ваше влияние на его величество...

— Мое влияние, если только я действительно им пользуюсь, — живо перебил капитана адмирал, — основывается на том, что я обращаюсь к его величеству только с законными просьбами.

Произнеся слова «его величество», адмирал снял шляпу.

— Обстоятельства, вынудившие моего брата злоупотребить вашей отзывчивостью, к несчастью, в наше время стали явлением обычным. В прошлом году король подписал более полутора тысяч указов о помиловании. Милость короля нередко распространялась также и на противника Бернара.

¹ Король Генрих IV

Солгал ты, Перси, про него, солгал! *Шекспир. «Король Генрих IV» (англ.).*

— Зачинщиком был ваш брат. Впрочем, может быть, — и дай бог, чтобы это было именно так, — какой-нибудь негодяй его натравил.

Сказавши это, адмирал взглянул на капитана в упор.

— Я кое-что предпринимал для того, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры. Но вы же знаете, что господин де Коменж признавал только то удовлетворение, которое доставляет острое шпаги. Дворянская честь и мнение дам...

— Вот что вы внушаете молодому человеку! Вам хочется сделать из него записного дуэлиста? О, как горевал бы его отец, если б ему сказали, что сын презрел его наставления! Боже правый! Еще и двух лет не прошло с тех пор, как утихла гражданская война, а они уже забыли о потоках пролитой ими крови! Им все еще мало. Им нужно, чтобы французы каждый день истребляли французов!

— Если б я знал, что моя просьба будет вам неприятна...

— Послушайте, господин де Мержи: я бы еще мог по долгу христианина подавить в себе негодование и простить вашему брату вызов на дуэль. Но его поведение на дуэли было, как слышно...

— Что вы хотите сказать, господин адмирал?

— Что он дрался не по правилам, не так, как принято у французских дворян.

— Кто смеет распространять о нем такую подлую клевету? — воскликнул Жорж, и глаза его гневно сверкнули.

— Успокойтесь. Вызов вам посылать некому, — ведь пока еще с женщинами не дерутся... Мать Коменжа сообщила королю подробности, которые служат не к чести вашему брату. Они проливают свет на то, каким образом столь грозный боец так скоро пал от руки мальчишки, который еще совсем недавно в пажах мог бы ходить.

— Горе матери — великое, священное горе. Как она может видеть истину, когда глаза у нее еще полны слез? Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что вы будете судить о моем брате не по рассказу госпожи де Коменж.

Колиньи, видимо, поколебался; язвительная насмешка уже не так резко звучала теперь в его тоне.

— Однако вы же не станете отрицать, что секундант Коменжа Бевиль — ваш близкий друг.

— Я его знаю давно и даже кое-чем ему обязан. Но ведь он был приятелем и Коменжа. Помимо всего прочего, Коменж сам выбрал его себе в секунданты. Наконец, Бевиллю служат порукой его храбрость и честность.

Адмирал скривил губы в знак глубочайшего презрения.

— Честность Бевилья! — пожав плечами, повторил он. — Безбожник. Человек, погрязший в распутстве!

— Да, Бевиль — честный человек! — твердо вымолвил Жорж. — Впрочем, о чем тут говорить? Я же сам был на поединке. Вам ли, господин адмирал, ставить под сомнение нашу честь, вам ли обвинять нас в убийстве?

В тоне капитана слышалась угроза. Колиньи то ли не понял, то ли пропустил мимо ушей намек на убийство герцога Франсуа де Гиза, которое ему приписывали ненавидевшие его католики. Во всяком случае, ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Господин де Мержи! — сказал он холодно и пренебрежительно. — Человек, отрекшийся от своей религии, не имеет права говорить о своей чести: все равно ему никто не поверит.

Капитан сначала вспыхнул, потом смертельно побледнел. словно для того, чтобы не поддаться искушению и не ударить старика, он на два шага отступил.

— Милостивый государь! — воскликнул он. — Только ваш возраст и ваше звание позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина, порочить самое дорогое, что у него есть. Но я вас умоляю: прикажите кому-нибудь или даже сразу нескольким вашим приближенным повторить то, что вы сейчас сказали. Клянусь богом, я заставлю их проглотить эти слова, и они ими подавятся.

— Таков обычай господ записных дуэлистов. Я их правил не придерживаюсь и выгоняю тех моих приближенных, которые берут с них пример, — сказал Колиньи и повернулся к Жоржу спиной.

Капитан с адом в душе покинул дворец Шатильонов, вскочил на коня и, словно для того, чтобы утолить свою ярость, погнал бедное животное бешеным галопом, поминутно вонзая шпоры ему в бока. Он так летел, что чуть было не передавил мирных прохожих. И Жоржу

еще повезло, что на пути ему не встретился никто из записных дуэлистов, а то при его тогдашнем расположении духа он неминуемо ухватил бы за вихор случай обнажить шпагу.

Только близ Венсена Жорж начал понемногу приходить в себя. Он повернул своего окровавленного, взмыленного коня и двинулся по направлению к Парижу.

— Бедный ты мой друг! — сказал он ему с горькой усмешкой. — Свою обиду я вымещаю на тебе.

Он потрепал невинную жертву по холке и шагом поехал по направлению к дому, где скрывался его брат.

Рассказывая Бернару о встрече с адмиралом, он опустил некоторые подробности, не скрыв, однако, что Колиньи не захотел хлопотать за него.

А несколько минут спустя в комнату ворвался Бевиль и прямо бросился к Бернару на шею.

— Поздравляю вас, мой дорогой! — воскликнул он. — Вот вам помилование. Вы его получили благодаря заступничеству королевы.

Бернар не так был удивлен, как его брат. Он понимал, что обязан этой милостью даме под вуалью, то есть графине де Тюржи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СВИДАНИЕ

Так вот что: барыня хотела быть здесь вскоре
И очень просит вас о кратком разговоре.

Мольер. Тартюф

Бернар переехал к брату. Он лично поблагодарил королеву-мать, а потом снова появился при дворе. Войдя в Лувр, он сразу заметил, что часть славы Коменжа перешла по наследству к нему. Люди, которых он знал только в лицо, кланялись ему почтительно-дружественно. У мужчин, разговаривавших с ним, из-под личины заискивающей учтивости проглядывала зависть. Дамы не спускали с него глаз и заигрывали с ним; репутация дуэлиста являлась в те времена наиболее верным средством тронуть их сердца. Если мужчина убил на поединке трех-четыре человека, то это заменяло ему и красоту, и богатство, и ум. Коротко говоря, стоило нашему герою

появиться в Луврской галерее, и все вокруг зашептали: «Вот младший Мержи, тот самый, который убил Коменжа», «Как он молод!», «Как он изящен!», «Как он хорош собой!», «Как лихо закручены у него усы!», «Не знаете, кто его возлюбленная?»

А Бернар напрасно старался отыскать в толпе синие глаза и черные брови г-жи де Тюржи. Он потом даже съездил к ней, но ему сказали, что вскоре после гибели Коменжа она отбыла в одно из своих поместий, расположенное в двадцати милях от Парижа. Злые языки говорили, что после смерти человека, который за нею ухаживал, ей захотелось побыть одной, захотелось поговорить в тишине.

Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака, лежа на диване, читал *Преужасную жизнь Пантагрюэля*, а Бернар брал у сеньора Уберто Винибеллы урок игры на гитаре, лакей доложил Бернару, что внизу его дожидается опрятно одетая старуха, что вид у нее таинственный и что ей нужно с ним поговорить. Бернар тотчас же сошел вниз и получил из высохших рук — не Марты и не Камиллы, а какой-то неведомой старухи — письмо, от которого исходил сладкий запах. Перевязано оно было золотой ниткой, а запечатано широкой, зеленого воску, печатью, на которой вместо герба изображен был Амур, приложивший палец к губам, и по-кастильски написан девиз: *Callad*¹. Бернар вскрыл письмо — в нем была только одна строчка по-испански, он с трудом понял ее смысл: *Esta noche una dama espera a V. M.*².

— От кого письмо? — спросил он старуху.

— От дамы.

— Как ее зовут?

— Не знаю. Мне она сказала, что она испанка.

— Откуда же она меня знает?

Старуха пожала плечами.

— Пеняйте на себя: вы себе это накликали благодаря своей славе и своей любезности, — сказала она насмешливо. — Вы мне только ответьте: придете?

— А куда прийти?

— Будьте сегодня вечером в половине девятого у Германа Оксерского, в левом приделе.

¹ Молчите (*исп.*).

² Сегодня вечером вас будет ждать одна дама (*исп.*).

- Значит, я с этой дамой увижусь в церкви?
- Нет. За вами придут и отведут вас к ней. Но только молчок, и приходите один.
- Хорошо.
- Обещаете?
- Даю слово.
- Ну, прощайте. За мной не ходите.

Старуха низко поклонилась и, нимало не медля, вышла.

— Что же от тебя нужно было этой почтенной сводне? — спросил капитан, как скоро брат вернулся, а учитель музыки ушел.

— Ничего, — наигранно равнодушным тоном отвечал Бернар, чрезвычайно внимательно рассматривая изображение мадонны.

— Полно! У тебя не должно быть от меня секретов. Может, проводить тебя на свидание, посторожить на улице, встретить ревнивца ударами шпаги плашмя?

— Говорят тебе, ничего не нужно.

— Дело твое. Храни свою тайну. Но только я ручаюсь, что тебе так же хочется рассказать, как мне услышать.

Бернар рассеянно перебирал струны гитары.

— Кстати, Жорж, я не пойду сегодня ужинать к Водрейлю.

— Ах, значит, свидание сегодня вечером? Хорошенькая? Придворная дама? Мещаночка? Торговка?

— По правде сказать, не знаю. Меня должны представить даме... нездешней... Но кто она... понятия не имею.

— По крайней мере, тебе известно, где ты должен с ней встретиться?

Бернар показал записку и повторил то, что старуха дополнительно ему сообщила.

— Почерк измененный, — сказал капитан, — не знаю, как истолковать все эти предосторожности.

— Наверно, знатная дама, Жорж.

— Ох, уж эти наши молодые люди! Подай им самый ничтожный повод — и они уже возмечтали, что самые родовитые дамы сейчас бросятся им на шею!

— Понюхай, как пахнет записка.

— Это еще ничего не доказывает.

Внезапно лицо у капитана потемнело: ему пришла на ум тревожная мысль.

— Коменжи злопамятны, — заметил он. — Может статься, они этой запиской хотят заманить тебя в укромное место и там заставить дорого заплатить за удар кинжалом, благодаря которому они получили наследство.

— Ну что ты!

— Да ведь не в первый раз мщение избирает своим орудием любовь. Ты читал Библию. Вспомни, как Далила предала Самсона.

— Каким же я должен быть трусом, чтобы из-за нелепой догадки отказаться от, вернее всего, очаровательного свидания! Да еще с испанкой!..

— Во всяком случае, безоружным на свидание не ходи. Хочешь взять с собой двух моих слуг?

— Еще чего! Зачем делать весь город свидетелем моих любовных походов?

— Нынче так водится. Сколько раз я видел, как мой большой друг д'Арделе шел к своей любовнице в кольчуге и с двумя пистолетами за поясом!.. А позади шагали четверо солдат из его отряда, и у каждого в руках заряженная аркебуза. Ты еще не знаешь Парижа, мой мальчик. Лишняя предосторожность не помешает, поверь. А если кольчуга стесняет — ее всегда можно снять.

— У меня нет дурного предчувствия. Родственникам Коменжа проще было бы напасть на меня ночью на улице, если б они тайли против меня зло.

— Как бы то ни было, я отпущу тебя с условием, что ты возьмешь пистолеты.

— Пожалуйста, могу и взять, только надо мной будут смеяться.

— И это еще не все. Нужно плотно пообедать, съесть пару куропаток и изрядный кусок пирога с петушиными гребешками, чтобы вечером поддержать честь семейства Мержи.

Бернар ушел к себе в комнату и, по крайней мере, четыре часа причесывался, завивался, душился и составлял в уме красивые фразы, с которыми он собирался обратиться к прелестной незнакомке.

Читатели сами, верно, догадаются, что на свидание он не опоздал. Полчаса с лишним расхаживал он по церкви. Уже три раза пересчитал свечи, колонны,

ex-voto¹, и вдруг какая-то старуха, закутанная в коричневый плащ, взяла его за руку и молча вывела на улицу. Несколько раз сворачивая с одной улицы на другую и все так же упорно храня молчание, она наконец привела его в узенький и, по первому впечатлению, необитаемый переулок. В самом конце переулочка она остановилась возле сводчатой низенькой дверцы и, достав из кармана ключ, отперла ее. Она вошла первой, Мержи, в темноте держась за ее плащ, шагнул следом за ней. Войдя, он услышал, как за ним задвинулись тяжелые засовы. Провожатая шепотом предупредила его, что перед ним лестница и что ему надо будет подняться на двадцать семь ступеней. Лестница была узкая, ступени неровные, разбитые, так что он несколько раз чуть было не загремел. Наконец, поднявшись на двадцать семь ступенек и взойдя на небольшую площадку, старуха отворила дверь, и яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он вошел в комнату и подивился изящному ее убранству, — внешний вид дома ничего подобного не предвещал.

Стены были обиты штофом с разводами, правда, слегка потертым, но еще вполне чистым. Посреди комнаты стоял стол, на котором горели две розового воску свечи, высились груды фруктов и печений, сверкали хрустальные стаканы и графины, по-видимому, с винами разных сортов. Два больших кресла по краям стола, должно быть, ожидали гостей. В алькове, наполовину задернутом шелковым пологом, стояла накрытая алым атласом кровать с причудливыми резными украшениями. Курильницы струили сладкий аромат.

Старуха сняла капюшон, Бернар — плащ. Он сейчас узнал в ней посланницу, приносившую ему письмо.

— Мать божья! — заметив пистолеты и шпагу, воскликнула старуха. — Вы что же это, собрались великанов рубить? Прекрасный кавалер! Здесь если и понадобятся удары, то, во всяком случае, не сокрушительные удары шпагой.

— Я понимаю, однако может случиться, что братья или разгневанный муж помешают нашей беседе, и тогда придется им застлать глаза дымом от выстрелов.

— Этого вы не бойтесь. Скажите лучше, как вам нравится комната?

¹ Приношения по обету (лат.).

— Комната великолепная, спору нет. Но только одному мне здесь будет скучно.

— Кто-то придет разделить с вами компанию. Обещайте мне сначала одну вещь.

— А именно?

— Если вы католик, протяните руку над распятием (она вынула его из шкафа), а если гугенот, то поклянитесь Кальвином... Лютером... словом, всеми вашими богами...

— В чем же я должен поклясться? — перебил он ее, смеясь.

— Поклянитесь, что не станете допытываться, кто эта дама, которая должна прийти сюда.

— Условие нелегкое.

— Смотрите. Клянитесь, а то я выведу вас на улицу.

— Хорошо, даю вам честное слово, оно стоит глупейших клятв, коих вы от меня потребовали.

— Ну и ладно. Запаситесь терпением. Ешьте, пейте, коли хотите. Скоро вы увидите даму-испанку.

Она накинула капюшон и, выйдя, заперла дверь двойным поворотом ключа.

Мержи бросился в кресло. Сердце у него колотилось. Он испытывал почти такое же сильное и почти такого же рода волнение, как за несколько дней до этого на Пре-о-Клер при встрече с противником.

В доме царила мертвая тишина. Прошло мучительных четверть часа, и в течение этого времени его воображению являлась то Венера, сходявшая с обоев и кидавшаяся к нему в объятия, то графиня де Тюржи в охотничьем наряде, то принцесса крови, то шайка убийц и, наконец, — это было самое страшное видение — влюбленная старуха.

Все было тихо, ничто не возвещало Бернару, что кто-то идет, и вдруг — быстрый поворот ключа в замочной скважине — дверь отворилась и как будто сама собой тут же затворилась, и вслед за тем в комнату вошла женщина в маске.

Она была высокого роста, хорошо сложена. Платье, узкое в талии, подчеркивало стройность ее стана. Однако ни по крохотной ножке в белой бархатной туфельке, ни по маленькой ручке, которую, к сожалению, облежала вышитая перчатка, нельзя было с точностью определить возраст незнакомки. Лишь по каким-то неуловимым при-

знакам, благодаря некоей магической силе или, если хотите, провидению, можно было догадаться, что ей не больше двадцати пяти лет. Наряд на ней был дорогой, изящный и в то же время простой.

Мержи вскочил и опустился перед ней на одно колено. Дама шагнула к нему и ласково проговорила:

— Dios os guarde, caballero. Sea V. M. el bien venido¹.

Мержи посмотрел на нее с изумлением.

— Habla V. M. espanol?²

Мержи не только не говорил по-испански, он даже плохо понимал этот язык.

Дама, видимо, была недовольна. Она села в кресло, к которому подвел ее Мержи, и сделала ему знак сесть напротив нее. Потом она заговорила по-французски, но с акцентом, причем этот акцент то становился резким, нарочитым, то вдруг исчезал совершенно.

— Милостивый государь! Ваша доблесть заставила меня позабыть осторожность, свойственную нашему полу. Мне захотелось посмотреть на безупречного кавалера, и вот я вижу этого кавалера именно таким, каким его изображает молва.

Мержи, вспыхнув, поклонился даме.

— Неужели вы будете так жестоки, сударыня, и не снимете маску, которая, подобно завистливому облаку, скрывает от меня солнечные лучи? (Эту фразу он вычитал в какой-то книге, переведенной с испанского.)

— Сеньор кавалер! Если я останусь довольна вашей скромностью, то вы не раз увидите мое лицо, но сегодня удовольствуйтесь беседой со мной.

— Ах, сударыня! Это очень большое удовольствие, но оно возбуждает во мне страстное желание видеть вас!

Он стал перед ней на колени и сделал такое движение, словно хотел снять с нее маску.

— Росо а росо³, сеньор француз, вы что-то не в меру проворны. Сядьте, а то я уйду. Если б вы знали, кто я и чем я рискнула, вызвав вас на свидание, вы были бы удовлетворены той честью, которую я вам оказала, явившись сюда.

— По правде говоря, голос ваш мне знаком.

¹ Да хранит вас господь, сударь. Милости просим (исп.).

² Вы говорите по-испански? (исп.).

³ Не все сразу (исп.).

— А все-таки слышите вы меня впервые. Скажите, вы способны полюбить преданной любовью женщину, которая полюбила бы вас?..

— Уже одно сознание, что вы тут, рядом...

— Вы никогда меня не видали, значит, любить меня не можете. Почему вы знаете, красива я или уродлива?

— Я убежден, что вы обольстительны.

Мержи успел завладеть рукой незнакомки, незнакомка вырвала руку и поднесла к маске, как бы собираясь снять ее.

— А что, если бы вы сейчас увидели пятидесятилетнюю женщину, страшную уродину?

— Этого не может быть.

— В пятьдесят лет еще влюбляются.

Она вздохнула, молодой человек вздрогнул.

— Стройность вашего стана, ваша ручка, которую вы напрасно пытаетесь у меня отнять, — все это доказывает, что вы молоды.

Эти слова он произнес скорее любезным, чем уверенным тоном.

— Увы!

Бернаром начало овладевать беспокойство.

— Вам, мужчинам, любви недостаточно. Вам еще нужна красота.

Она снова вздохнула.

— Умоляю вас, позвольте мне снять маску...

— Нет, нет!

Она быстрым движением оттолкнула его.

— Вспомните, что вы мне обещали.

После этого она заговорила приветливее:

— Мне приятно видеть вас у моих ног, а если б я оказалась немолодой и некрасивой... по крайней мере, на ваш взгляд... быть может, вы бы меня покинули.

— Покажите мне хотя бы вашу ручку.

Она сняла надушенную перчатку и протянула ему белоснежную ручку.

— Узнаю эту руку! — воскликнул он. — Другой столь же красивой руки во всем Париже не сыщешь.

— Вот как? Чья же это рука?

— Одной... одной графини.

— Какой графини?

— Графини де Тюржи.

— А!.. Знаю, о ком вы говорите. Да, у Тюржи красивые руки, но этим она обязана миндальному притиранию, которое для нее изготавливают. А у меня руки мягче, и я этим горжусь.

Все это было сказано до того естественным тоном, что в сердце Бернара, как будто бы узнавшего голос прелестной графини, закралось сомнение, и он уже готов был сознаться самому себе в своей ошибке.

«Целых две вместо одной... — подумал он. — Решительно, мне вороват добрые феи».

Мержи поискал на красивой руке графини отпечаток перстня, который он заметил у Тюржи, но не обнаружил на этих округлых, изящных пальцах ни единой вдавленки, ни единой, хотя бы едва заметной полоски.

— Тюржи! — со смехом воскликнула незнакомка. — Итак, вы приняли меня за Тюржи? Покорно вас благодарю! Слава богу, я, кажется, чуточку лучше ее.

— По чести, графиня — самая красивая женщина из всех, каких я когда-либо видел.

— Вы что же, влюблены в нее? — живо спросила незнакомка.

— Может быть. Но только умоляю вас, снимите маску, покажите мне женщину красивее Тюржи.

— Когда я удостоверюсь, что вы меня любите... только тогда вы увидите мое лицо.

— Полюбить вас!.. Как же, черт возьми, я могу полюбить вас не видя?

— У меня красивая рука. Вообразите, что у меня такое же красивое лицо.

— Теперь я знаю наверное, что вы прелестны: вы забыли изменить голос и выдали себя. Я его узнал, ручаясь головой.

— И это голос Тюржи? — смеясь, спросила она с сильным испанским акцентом.

— Ну конечно!

— Ошибаетесь, ошибаетесь, сеньор Бернардо. Меня зовут донья Мария... донья Мария де... Потом я вам назову свою фамилию. Я из Барселоны. Мой отец держит меня в большой строгости, но теперь он путешествует, и я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и посмотреть парижский двор. Что касается Тюржи, то я

прошу вас не говорить со мной больше о ней. Я не могу спокойно слышать ее имя. Она хуже всех придворных дам. Кстати, вам известно, как именно она овдовела?

— Я что-то слышал.

— Ну так расскажите... Что вы слышали?..

— Будто бы она застала мужа в ту минуту, когда он изливал свой пламень камеристке, и, схватив кинжал, нанесла супругу довольно сильный удар. Через месяц бедняга скончался.

— Ее поступок вам представляется... ужасным?

— Признаться, я ее оправдываю. Говорят, она любила мужа, а ревность вызывает во мне уважение.

— Вы думаете, что я — Тюржи, вот почему вы так рассуждаете, однако я убеждена, что в глубине души вы относитесь к ней с презрением.

В голосе ее слышались грусть и печаль, но это был не голос Тюржи. Бернар не знал, что подумать.

— Как же так? — сказал он. — Вы, испанка, не уважаете чувство ревности?

— Не будем больше об этом говорить. Что это за черная лента у вас на шее?

— Ладанка.

— Я считала вас протестантом.

— Да, я протестант. Но ладанку дала мне одна дама, и я ношу ее в память о ней.

— Послушайте: если вы хотите мне понравиться, то не думайте ни о каких дамах. Я хочу заменить вам всех дам. Кто дал вам ладанку? Та же самая Тюржи?

— Честное слово, нет.

— Лжете.

— Значит, вы госпожа де Тюржи!

— Вы себя выдали, сеньор Бернардо!

— Каким образом?

— При встрече с Тюржи я ее спрошу, как она могла решиться на такое кощунство — вручить святыню еретику.

Мержи терялся все более и более.

— Я хочу эту ладанку. Дайте ее мне.

— Нет, я не могу ее отдать.

— А я хочу ладанку. Вы посмеете отказать мне?

— Я обещал ее вернуть.

— А что такое обещания! Обещание, данное фальшивой женщине, ни к чему не обязывает. Помимо всего прочего, берегитесь: почему знать, может, вы носите опасный талисман, может, он нашептает! Говорят, Тюржи — злая колдунья.

— Я в колдовство не верю.

— И в колдунов тоже?

— Я немного верю в колдуний. — Последнее слово он подчеркнул.

— Ну дайте же мне ладанку, — может, я тогда сброшу маску.

— Как хотите, а это голос графини де Тюржи!

— В последний раз: вы дадите мне ладанку?

— Я вам ее верну, если вы снимете маску.

— Вы мне надоели с вашей Тюржи! Любите ее на здоровье, мне-то что!

Делая вид, что сердится, незнакомка отодвинулась от Бернара. Атлас, который натягивала ее грудь, то поднимался, то опускался.

Несколько минут она молчала, затем, резким движением повернувшись к нему, насмешливо проговорила:
— *Válate Dios! V. M. no es caballero, es un monje*¹.

Ударом кулака она опрокинула две свечи, горевшие на столе, и половину бутылок и блюд. В комнате сразу стало темно. В то же мгновение она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то жаркие уста ищут его губ и кто-то душит его в объятиях.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ В ТЕМНОТЕ

Ночью все кошки серы.

На ближайшей церкви пробило четыре часа.

— Боже! Четыре часа! Я едва успею вернуться домой, пока не рассвело.

— Бессердечная! Вы меня покидаете?

— Так надо. Мы скоро увидимся.

¹ Прости, господи, мое согрешение! Вы монах, а не кавалер (исп.).

— Увидимся! Дорогая графиня! Ведь я же вас не видел!

— Ах, какой вы еще ребенок! Бросьте свою графиню. Я донья Мария. При свете вы удостоверитесь, что я не та, за кого вы меня принимаете.

— Где дверь? Я сейчас позову...

— Никого не надо звать. Пустите меня, Бернардо. Я знаю эту комнату, я сейчас найду огниво.

— Осторожней! Не наступите на битое стекло. Вы вчера устроили разгром.

— Пустите!

— Нашли?

— Ах, это мой корсет! Матерь божья! Что же мне делать? Я все шнурки перерезала вашим кинжалом.

— Надо попросить у старухи.

— Лежите, я сама. *Adiós, querido Bernardo!*¹

Дверь отворилась и тут же захлопнулась. За дверью тотчас послышался веселый смех. Мержи понял, что добыча от него ускользнула. Он попробовал пуститься в погоню, но в темноте наткнулся на кресла, запутывался то в платьях, то в занавесках и так и не нашел двери. Внезапно дверь отворилась, и кто-то вошел с потайным фонарем в руке. Мержи, не долго думая, сдавил вошедшую женщину в объятиях.

— Что? Попались? Теперь я вас не выпущу! — воскликнул он и нежно поцеловал ее.

— Оставьте, господин де Мержи! — сказал кто-то грубым голосом. — Вы меня задушите.

Мержи узнал по голосу старуху.

— Чтоб вас черт подрал! — крикнул он, молча оделся, забрал свое оружие, плащ и вышел из дому с таким чувством, точно он пил отменную малагу, а затем по недосмотру слуги влил в себя стакан противояцинготной настойки из той бутылки, которую когда-то давно поставили в погреб и забыли.

Дома Бернар не откровенничал со своим братом. Он только сказал, что это была, насколько он мог судить в темноте, дивной красоты испанка, но своими подозрениями относительно того, кто она такая, поделиться не захотел.

¹ Прощайте, дорогой Бернардо! (*исп.*).

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ПРИЗНАНИЕ

Амфитрион

Алкмена, я молю, послушайтесь рассудка.—
Поговорим без лишних слов.

Мольер, Амфитрион

Два дня он не получал от мнимой испанки никаких известий. На третий день братья узнали, что г-жа де Тюржи накануне приехала в Париж и сегодня не преминет поехать на поклон к королеве-матери. Они поспешили в Лувр и встретились с ней в галерее — она разговаривала с окружавшими ее дамами. При виде Бернара она нимало не смутилась. Даже легкая краска не покрыла ее, как всегда, бледных щек. Заметив его, она, как старому знакомому, кивнула ему головой, поздоровалась, а затем нагнулась к его уху и зашептала:
— Надеюсь, теперь ваше гугенотское упрямство сломлено? Чтобы вас обратить, понадобилось чудо.

— То есть?

— А разве вы не испытали *на самом себе* чудотворную силу святыни?

Бернар недоверчиво усмехнулся.

— Мне придали силы и ловкости воспоминание о прелестной ручке, которая дала мне ладанку, и любовь, которую она во мне пробудила.

Графиня засмеялась и погрозила ему пальцем.

— Вы забываетесь, господин корнет! Разве можно со мной так говорить?

Она сняла перчатку и поправила волосы; Бернар между тем впился глазами в ее руку, а потом заглянул в живые, смотревшие на него почти сердито глаза очаровательной графини. Изумленный вид молодого человека вызвал у нее взрыв хохота.

— Что вы смеетесь?

— А что вы на меня так удивленно смотрите?

— Извините, но последние дни я только и делаю, что даюсь диву.

— Да что вы? Любопытно! Расскажите же нам хоть об одном из удивительных происшествий, которые случаются с вами на каждом шагу.

— *Сейчас* и в этом месте я вам рассказывать о них

не стану. А кроме того, я запомнил испанский девиз, которому меня научили назад тому три дня.

— Какой девиз?

— Он состоит из одного слова: Callad.

— Что же это значит?

— Как? Вы не знаете испанского языка? — глядя на нее в упор, спросил Бернар.

Графиня, однако, выдержала испытание, — она притворилась, что не постигает скрытого смысла его слов, и молодой человек, глядевший ей прямо в глаза, в конце концов под взглядом той, кому он бросал вызов, принужден был потупить взор.

— В детстве я знала несколько слов по-испански, а теперь, наверно, забыла, — совершенно спокойным тоном отвечала она. — Поэтому, если хотите, чтобы я вас понимала, говорите со мной по-французски. Ну так что же это за девиз?

— Он советует быть молчаливым, сударыня.

— Вот бы нашим молодым придворным взять себе такой девиз, но только с условием, что они станут претворять его в жизнь. Однако вы человек сведущий, господин де Мержи! У кого вы учились испанскому языку? Верно уж, у какой-нибудь дамы?

Мержи взглянул на нее с нежной улыбкой.

— Я знаю по-испански всего лишь несколько слов, — тихо сказал он, — в моей памяти их запечатлела любовь.

— Любовь? — насмешливо переспросила графиня.

Она говорила громко, и при слове «любовь» дамы вопросительно поглядели в ее сторону. Мержи был слегка задет насмешливым ее тоном, такое обхождение с ним его коробило; он вынул из кармана полученную накануне записку на испанском языке и протянул ее графине.

— Я уверен, что вы не менее сведущи, чем я, — сказал он, — уж такой-то испанский язык вам не трудно будет понять.

Диана де Тюржи схватила записку, прочла, а может быть, только сделала вид, что прочла, и, залившись хохотом, передала даме, которая была к ней ближе всех.

— Вот, госпожа де Шатовье, прочтите эту любовную записку, — господин де Мержи недавно получил ее от своей возлюбленной и намерен, по его словам, подарить ее мне. Любопытней всего, что почерк мне знаком.

— В этом я не сомневаюсь, — довольно насмешливо, однако не повышая голоса, заметил Мержи.

Госпожа де Шатовье прочла записку, засмеялась и передала одному из кавалеров, тот передал другому, и скоро во всей галерее не осталось человека, который не знал бы, что к Мержи равнодушна какая-то испанка.

Когда взрывы хохота стали ослабевать, графиня насмешливым тоном спросила Мержи, красива ли та особа, которая написала ему записку.

— По чести, сударыня, она не уступает вам.

— Боже! Что я слышу! Вы ее, наверно, видели ночью, я же ее отлично знаю... Ну что ж, вас можно поздравить.

И она засмеялась еще громче.

— Прелесть моя! — обратилась к ней Шатовье. — Скажите, как зовут эту счастливицу испанку, которой удалось завладеть сердцем господина де Мержи?

— Я назову ее имя, но пусть сначала господин де Мержи скажет при всех этих дамах, видел ли он свою возлюбленную при дневном свете.

На Мержи нельзя было смотреть без улыбки: он чувствовал себя крайне неловко, лицо его выражало попеременно то замешательство, то досаду. Он молчал.

— Ну хорошо, довольно тайн, — молвила графиня. — Записку эту написала сеньора донья Мария Родригес. Ее почерк я знаю не хуже, чем почерк моего отца.

— Мария Родригес! — воскликнули дамы и опять расхохотались.

Марии Родригес перевалило за пятьдесят. В Мадриде она была дуэньей. Каким ветром ее занесло во Францию и за какие заслуги Маргарита Валуа взяла ее ко двору, остается загадкой. Быть может, Маргарита держала около себя это чудище, чтобы при сопоставлении резче означились ее прелести, — так художники писали красавицу вместе с уродливым карликом. В Лувре Родригес смешила всех придворных дам чванным видом и старомодностью нарядов.

Мержи внутренне содрогнулся. Он видел дуэнью и сейчас, к ужасу своему, вспомнил, что дама в маске назвала себя доньей Марией. У него все поплыло перед глазами. Он окончательно растерялся, а смех кругом становился все неудержимее.

— Она дама скромная, — продолжала графиня де

Тюржи. — Лучшего выбора вы сделать не могли. Когда она вставит зубы и наденет черный парик, то еще хоть куда. Да и потом, ей, конечно, не больше шестидесяти.

— Она его приворожила! — воскликнула Шатовье.

— Так вы, значит, любитель древностей? — спросила еще одна дама.

— Жаль мне мужчин, — вздохнув, произнесла фрейлина королевы. — На них часто находит блажь.

Бернар по мере сил защищался. На него сыпался град издевательских поздравлений, он был в глупейшем положении, но тут вдруг в конце галереи появился король, шутки и смех разом стихли. Все спешили уступить ему дорогу, говор сменился молчанием.

Король имел долгую беседу с адмиралом у себя в кабинете и теперь, непринужденно опираясь на плечо Колиньи, провожал его. Седая борода и черное платье адмирала составляли резкую противоположность с молодым лицом Карла и его блиставшим отделкой нарядом. Глядя на них, можно было подумать, что юный король с редкой для монарха проницательностью избрал своим фаворитом добродетельнейшего и мудрейшего из подданных.

Пока они шли по галерее, все взоры были прикованы к ним, и вдруг Мержи услышал над самым своим ухом чуть слышный шепот графини:

— Перестаньте дуться! Держите! Прочтите, только когда выйдете наружу.

Он держал в руках шляпу, и в ту же минуту что-то туда упало. Это был запечатанный лист бумаги, в который был завернут твердый предмет. Мержи переложил его в карман и через четверть часа, выйдя из Лувра, вскрыл — там оказались ключик и записка:

«Этим ключом отворяется калитка в мой сад. Сегодня, в десять часов вечера. Я люблю Вас. Маски я уже не надену, и Вы увидите наконец донью Марию и Диану».

Король проводил адмирала до конца галерей.

— Прощайте, отец, — сказал он и пожал ему руку. — Вам известно, что я вас люблю, а я знаю, что вы мой — и телом, и душою, со всеми потрохами.

Произнеся эти слова, король расхохотался на всю

галерею. Когда же, возвращаясь в кабинет, он проходил мимо капитана Жоржа, то остановился и обронил:

— Завтра после мессы зайдите ко мне в кабинет.

Внезапно король оглянулся и с некоторым страхом посмотрел на дверь, в которую только что вышел Колиньи, затем проследовал в кабинет и заперся с маршалом Ретцем.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ АУДИЕНЦИЯ

Macbeth

Do you find
Your patience so predominant in your nature,
That you can let this go?

*Shakespeare*¹

В назначенный час капитан Жорж явился в Лувр. Как скоро о нем доложили, придворник поднял ковровую портьеру и ввел его в кабинет короля. Государь сидел за маленьким столиком и, видимо, что-то писал; боясь, должно быть, потерять нить мыслей, которыми он был сейчас занят, он сделал знак капитану подождать. Капитан шагах в шести от стола замер в почтительной позе и от нечего делать стал водить глазами по комнате и изучать во всех подробностях ее убранство.

Убранство было весьма несложное; оно состояло почти исключительно из охотничьих принадлежностей, как попало развешанных по стене. Между длинной аркебузой и охотничьим рогом висела довольно хорошая картина, изображавшая деву Марию; над картиной была прикреплена к стене большая ветка букса. Столик, за которым писал государь, был завален бумагами и книгами. На полу валялись четки, молитвенничек, сетки для ловли птиц, сокольников колокольчики — все было свалено в одну кучу. Тут же на подушке спала большущая борзая собака.

Внезапно король в бешенстве швырнул перо на пол, и с языка у него сорвалась непристойная брань. Опустив голову, он несколько раз неровным шагом прошелся по

¹ *Макбет*

Иль так вы терпеливы,
Чтоб все спускать обидчику и впредь? *Шекспир (англ.)*.

кабинету, потом неожиданно остановился перед капитаном и, словно только сейчас заметив его, бросил на него испуганный взгляд.

— Ах, это вы! — слегка подавшись назад, воскликнул он.

Капитан поклонился ему до земли.

— Очень рад вас видеть. Мне нужно было с вами поговорить... но...

Король заппулся.

Ловя окончание фразы, Жорж стоял с полуоткрытым ртом и вытянутой шеей, дюймов на шесть выставив левую ногу, — словом, если бы художник захотел изобразить ожидание, то более удачной позы для своей натуры он, по моему мнению, не мог бы выбрать. Король, однако, снова свесил голову на грудь, — мысли его, казалось, витали теперь бесконечно далеко от того, что он хотел было высказать.

Несколько минут длилось молчание. Король сел и усталым жестом провел рукой по лбу.

— Чертова рифма! — воскликнул он, топнув ногой, и вслед за тем раздалось звяканье длинных шпор, которые он носил на ботфортах.

Проснувшись борзая и, решив, что хозяин ее зовет, вскочила, подошла к креслу, положила обе лапы ему на колени и, подняв острую свою морду, так что она оказалась гораздо выше головы Карла, разинула широкую пасть и без всяких церемоний зевнула, — собаку трудно было обучить хорошим манерам.

Король прогнал собаку, — она вздохнула и пошла на место.

Вновь как бы случайно встретившись глазами с капитаном, король сказал:

— Извините, Жорж! От этой... рифмы меня в пот ударило.

— Я вам мешаю, ваше величество? — низко поклонившись, спросил капитан.

— Ничуть, ничуть, — отвечал король.

Он встал и в знак особого благоволения положил капитану руку на плечо. При этом он улыбался, но одними губами, — его отсутствующий взгляд не принимал в улыбку никакого участия.

— Вы еще не отдохнули после охоты? — спросил ко-

роль. Приступить прямо к делу ему было, видимо, неловко. — С оленем пришлось повозиться.

— Государы! Если б давешний гон меня утомил, я был бы недостоин командовать отрядом легкой кавалерии вашего величества. Во время последних войн господин де Гиз видел, что я не слезаю с коня, и прозвал меня «албанцем».

— Да, правда, мне говорили, что ты лихой конник. Скажи-ка, а из аркебузы ты хорошо стреляешь?

— Да, государь, недурно, хотя, конечно, до вашего величества мне далеко. Такое искусство не всем дается.

— Вот что, видишь эту длинную аркебузу? Заряди ее двенадцатью дробинками. Не сойти мне с этого места, если ты в шестидесяти шагах прицелишься в какого-нибудь безбожника и хоть одна из них пролетит мимо!

— Шестидесят шагов — расстояние большое, но не очень. И все же с таким стрелком, как вы, ваше величество, я бы тягаться не стал.

— А в двухстах шагах ты из этой аркебузы всадишь в человека пулю, лишь бы пуля была соответствующего калибра.

Король вложил аркебузу в руки капитана.

— Красиво отделана и, должно думать, бьет метко, — внимательно осмотрев аркебузу и проверив спуск, заключил Жорж.

— Я вижу, мой милый, ты разбираешься в оружии. Возьми-ка на прицел — я хочу посмотреть, как это у тебя получается.

Капитан прицелился.

— Хорошая штука аркебуза! — медленно продолжал Карл. — В ста шагах одним таким движением пальца можно покончить с недругом, — перед меткой пуль ни кольчуга, ни панцирь не устоят!

Я говорил, что Карл IX то ли по привычке, которая появилась у него еще в детстве, то ли в силу врожденной застенчивости почти никогда не глядел в глаза своему собеседнику. Но сейчас он смотрел на капитана пристально, и выражение лица у него было необычное. Жорж невольно опустил глаза, тогда и король почти тотчас потупился. На минуту воцарилось молчание. Первым нарушил его Жорж.

— Хорошо быть искусным стрелком, а все же шпага и копье надежнее.

— Справедливо. Зато аркебуза... — Карл странно усмехнулся и вдруг спросил: — Говорят, Жорж, адмирал тебя горько обидел?

— Государь...

— Мне об этом известно доподлинно. И все же я бы хотел... Расскажи мне про это сам.

— Совершенная правда, государь. Я говорил с ним об одном злополучном деле, в котором я принимал самое живое участие...

— О дуэли твоего брата? Красив, негодник, и за себя постоять умеет: проколет кого угодно. Я таких людей уважаю. Коменж был хлыщ, он получил по заслугам, только и всего. Но за что же тебя изругал чертом бородач? Хоть убей, не могу взять в толк.

— Боюсь, что причиной тому злополучное различие вероисповеданий, мое обращение, о котором, как мне казалось, все давно забыли...

— Забыли?

— Вы, ваше величество, подали пример забвения религиозных распрей, ваше поразительное беспристрастие, справедливость...

— Да будет тебе известно, друг мой, что адмирал ничего не забывает.

— Я это заметил, государь.

Жорж снова потемнел в лице.

— Что же ты думаешь делать, Жорж?

— Кто, я, государь?

— Да. Говори без обиняков.

— Государы! Я бедный дворянин, адмирал — старик, я не могу вызвать его на дуэль. Кроме того, государь, — поклонившись, сказал он, видимо, желая учтивой фразой загладить впечатление, которое должна была, как он полагал, произвести на короля его дерзость, — если бы даже я имел возможность бросить вызов, я бы все-таки этого не сделал: меня бы остановил страх заслужить немилость вашего величества.

— Ну что ты! — молвил король и положил правую руку на плечо Жоржа.

— К счастью, — продолжал капитан, — разговор с адмиралом моей чести не затрагивает. А вот если бы кто-нибудь из тех, кто со мной на равной ноге, осмелился усомниться в моей чести, я бы испросил у вашего величества соизволения...

— Значит, ты не намерен мстить адмиралу? А ведь этот... наглеет не по дням, а по часам!

Жорж широко раскрыл глаза от изумления.

— И он же тебя оскорбил, черт возьми, смертельно оскорбил, как мне передавали! — продолжал король. — Дворянин — не лакей: есть вещи, которые нельзя простить даже государю.

— Как же я ему отомщу? Драться со мной — это он сочтет ниже своего достоинства.

— Допустим. Но...

Король опять взял аркебузу и прицелился.

— Понимаешь?

Капитан попятился. Самый жест монарха был достаточно выразителен, а демоническое выражение его лица не оставляло никаких сомнений относительно того, что этот жест обозначал.

— Как, государь? Вы мне советуете...

Король изо всех сил стукнул об пол прикладом и, устремив на Жоржа бешеный взгляд, крикнул:

— Советую? А, чтоб! Ничего я тебе не советую.

Капитан не знал, что ему делать. В конце концов, он поступил так, как поступили бы многие на его месте: поклонился и опустил глаза.

Карл мгновенно изменил тон:

— Это вовсе не значит, что если бы ты, мстя за свою честь, вогнал в него пулю... то мне это было бы безразлично. Клянусь потрохами папы, самое драгоценное, что есть у дворянина, — это его честь, и ради того, чтобы смыть с нее пятно, он не должен останавливаться ни перед чем. Притом Шатильоны надменны и нахальны, как подручные палача. Я же знаю: эти мерзавцы с наслаждением свернули бы мне шею и сели на мое место... При виде адмирала я иной раз готов выщипать ему бороду!

Капитан ничего не ответил на это словонизвержение, исходившее из уст обычно молчаливого человека.

— Ну так что же ты, в душу, в кровь, собираешься делать? Послушай: я бы на твоём месте подстерег его, когда кончится их протестантское собирище и он будет выходить, — вот тут бы ты из окна и выстрелил ему в спину. Тьфу, пропасть! Мой кузен Гиз был бы тебе благодарен, ты бы этим много поспособствовал умиротворению страстей в моем королевстве. Получается, что король Франции не столько я, сколько этот безбожник, по-

нимаешь? В конце концов, мне это надоело... Я говорю тебе напрямик: нужно отучить этого... дырывать честь дворянина. Он тебе дырывает честь, а ты ему продыравь шкуру — долг платежом красен.

— Убийство из-за угла не сшивает чести дворянина, оно только еще сильнее разрывает ее.

Этот ответ оказал на государя такое действие, как если бы в него ударила молния. Остолбеневший, он все еще держал в протянутых к капитану руках аркебузу — он точно без слов предлагал ему воспользоваться этим оружием мести. Король полуоткрыл рот, губы у него помертвели, глаза, дико смотревшие на Жоржа, казалось, заворачивали его и в то же время ощущали на себе силу жуткого этого заворачивания.

Наконец аркебуза выскользнула из дрожащих рук короля и с громким стуком упала на пол. Капитан бросился поднимать ее, а король сел в кресло и понурил голову. Губы у него шевелились, брови двигались — видно было, что в душе у него идет борьба.

— Капитан! — сказал он после долгого молчания. — Где стоит твой легкоконный отряд?

— В Мо, государь.

— Тебе придется съездить за ним и привести его в Париж. Через... через несколько дней получишь приказ. Прощай.

Король произнес это резко и раздраженно. Капитан низко поклонился, а Карл, указав на дверь, дал ему понять, что аудиенция окончена.

Капитан пятился к двери, отвешивая приличествующие случаю поклоны, как вдруг король вскочил и схватил его за руку.

— Держи, по крайней мере, язык на привязи. Понял?

Жорж еще раз поклонился и прижал руку к сердцу. Выходя из королевских покоев, он слышал, как государь сердитым голосом позвал собаку и шелкнул арапником, — должно быть, он собирался сорвать зло на неповинном животном.

Дома Жорж написал записку и велел передать ее адмиралу:

«Некто, не любящий Вас, но любящий свою честь, советует Вам не доверять герцогу Гизу и, пожалуй, еще

одному лицу, более могущественному, чем герцог. Ваша жизнь в опасности».

На бесстрашного Колиньи это письмо не произвело ни малейшего впечатления. Известно, что вскоре после этого, 22 августа 1572 года, выстрелом из аркебузы его ранил негодяй, по имени Морвель, которого за это прозвали *убийцей на службе у короля*.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ НОВООБРАЩАЕМЫЙ

'This pleasing to beschool'd in a strange tongue
By female lips and eyes.

L. Byron. D. Juan, canto III

Если любовники осмотрительны, то может пройти неделя, прежде чем общество догадается. По прошествии недели бдительность обыкновенно притупляется, предосторожности кажутся уже смешными. Взгляды, которыми обмениваются любовники, легко перехватить, еще легче истолковать — и вот уже все известно.

Связь графини и младшего Мержи тоже в конце концов перестала быть тайной для двора Екатерины. Множество *явных* доказательств могло бы открыть глаза даже слепым. Так, например, г-жа де Тюржи обыкновенно носила лиловые ленты, а у Бернара эфес шпаги, низ камзола и башмаки были украшены завязанными бантом лиловыми лентами. Графиня особенно не скрывала, что она терпеть не может бороды, а любит ловко закрученные усы. С недавнего времени Мержи стал тщательно выбривать подбородок, а его *лихо* закрученные, напояженные и расчесанные металлической гребенкой усы образовывали нечто вроде полумесяца, кончики которого поднимались гораздо выше носа. Наконец, распустили слух, будто некий дворянин однажды чуть свет отправился по своим делам, и когда он проходил по улице Аси, то на его глазах калитка, ведущая в сад графини, отворилась, и из сада вышел человек, которого, как

¹ Приятно изучать чужой язык
Через посредство женских уст и глаз. *Лорд Байрон.*
«Дон Жуан», песнь II (англ.).

тот ни завертывался в плащ, дворянин сейчас узнал — это был сеньор де Мержи.

Но особенно всех удивляло и служило наиболее веским доказательством то, что юный гугенот, открыто глумившийся над всеми католическими обрядами, теперь ходит в церковь, участвует в процессиях, даже окунает пальцы в святую воду, а ведь еще так недавно он считал это чудовищным кошунством. Шепотом передавали друг другу, что Диана возвращает богу заблудшую овечку, а молодые дворяне протестантского вероисповедания говорили, что они, пожалуй, хорошенько подумали бы, не переменить ли им веру, если бы вместо капуцинов и францисканцев их наставляли молодые хорошенькие богомолки вроде графини де Тюржи.

Однако обращением Бернара пока что и не пахло. Он ходил с графиней в церковь, что правда, то правда, но, ставши рядом, всю обедню, к вящему неудовольствию святош, шептал ей что-то на ухо. Мало того, что он сам не внимал богослужению, он отвлекал истинно верующих. А ведь тогда, как известно, всякая процессия представляла собой не менее любопытное увеселение, чем костюмированный бал. Наконец, Мержи не испытывал более угрызений совести, когда окунал пальцы в святую воду, единственно потому, что это давало ему право пожимать при всех прелестную ручку, которая всякий раз вздрагивала, ощутив прикосновение его руки. Как бы то ни было, хоть он и держался за свою веру, все же ему приходилось вести за нее жаркие бои, а на долю Дианы выпадал тем более значительный успех, что для богословских диспутов она обыкновенно выбирала такие минуты, когда Мержи было особенно трудно в чем-либо ей отказать.

— Милый Бернар! — сказала она в один из вечеров, обвинив шею любовника длинными прядями своих черных волос и положив ему на плечо голову. — Сегодня мы с тобой слушали проповедь. Неужели же такие прекрасные слова не запали тебе в душу? Долго ты еще будешь к ним глух?

— Ах, ты, моя дорогая! Если уж твой сладкий голос и твоя богословская аргументация, столь мощным подкреплением которой служат твои влюбленные взгляды, ничего не могли со мной поделать, то чего же ты ждешь, милая Диана, от гнусавого капуцина?

— Противный! Я задушу тебя!

Покрепче обмотав вокруг шеи Бернара одну из своих прядей, она притянула его к себе.

— Знаешь, как я развлекался во время проповеди? Пересчитывал жемчужины у тебя в волосах. Кстати, что ж ты их рассыпала по всей комнате?

— Так я и знала! Ты не слушал проповеди. И это каждый раз! Ну что ж,— продолжала она, и в голосе ее зазвучала грустная нотка,— я люблю тебя больше, чем ты меня, это ясно. Если б ты меня любил по-настоящему, ты бы уж давно перешел в мою веру.

— Диана! Ну к чему эти нескончаемые споры? Пусть спорят сорбонские богословы и наши пасторы,— неужели нет более веселого времяпрепровождения?

— Перестань... Ах, если б мне удалось тебя спасти, как бы я была счастлива! Знаешь, Бернардо, ради твоего спасения я согласилась бы пробыть в чистилище вдвое дольше того, что мне предназначено.

Он улыбнулся и крепко обнял Диану, но она с выражением непередаваемой грусти оттолкнула его.

— А вот ты, Бернар, не принес бы такой жертвы ради меня. Тебя не пугает мысль, какой опасности подвергается моя душа, когда я отдаюсь тебе...

И тут из ее прекрасных глаз покатались слезы.

— Родная моя! Разве ты не знаешь, что любовь оправдывает многое и что...

— Да, я все это хорошо знаю. Но если б я сумела спасти твою душу, мне отпустились бы все мои грехи. Все те, которые мы с тобой совершили вместе, все те, которые мы с тобой, возможно, еще совершим... все было бы нам отпущено. Этого мало, наши грехи послужили бы к нашему спасению!

Говоря это, она крепко-крепко обнимала его, и в той восторженной страстности, какой дышали ее слова, в этом странном способе проповедовать было, если принять во внимание обстоятельства, при которых проповедь произносилась, что-то до того смешное, что Мержи еле сдерживался, чтобы не прыснуть.

— Подождем еще с обращением, Диана. Когда мы с тобой состаримся... когда нам будет уже не до любовных утех...

— Что мне с тобой делать, противный? Зачем у тебя

на губах демоническая усмешка? Разве я стану целовать такие губы?

— Вот я уже и не улыбаюсь.

— Хорошо, хорошо, только не сердись. Послушай, querido Bernardo¹: ты прочитал ту книгу, что я тебе дала?

— Да, еще вчера.

— Понравилась она тебе? Вот умная книга! Неверующие — и те, прочитав ее, прикусят язычки.

— Твоя книга, Диана, — сплошная ложь и нелепица. Это самое глупое из всех папистских творений. Ты так уверенно о ней рассуждаешь, а между тем даю голову на отсечение, что ты в нее даже не заглянула.

— Да, я еще не успела ее прочесть, — слегка покраснев, призналась Диана, — но я убеждена, что в ней много глубоких и верных мыслей. Гугеноты недаром бранят ее на все корки.

— Хочешь, я тебе просто так, от нечего делать, со Священным писанием в руках докажу...

— Даже и не думай, Бернар! Упаси бог! Я не еретичка, я Священного писания не читаю. Я тебе не дам подрывать мою веру. Ты только время зря потеряешь. Вы, гугеноты, такие начетчики, прямо ужас! На диспутах вы нам своей ученостью пыль в глаза пускаете, а мы, бедные католики, ни Аристотеля, ни Библии не читали и не знаем, что вам ответить.

— А все потому, что вы, католики, желаете верить не рассуждая, не давая себе труда подумать, разумно это или нет. Мы действуем иначе: прежде чем что-либо защищать, а, главное, прежде чем что-либо проповедовать, мы изучаем.

— Ах, если б я была так же красноречива, как, францисканец Жирон!

— Твой Жирон дурак и пустобрех. Кричать он здоров, а все-таки назад тому шесть лет во время открытого словопрения наш пастор Удар посадил его в лужу.

— Это ложь! Ложь, которую распространяют еретики!

— Как! Разве ты не знаешь, что во время спора, на виду у всех, капли пота со лба досточтимого отца капали

¹ Милый Бернардо (исп.).

прямо на Иоанна Златоуста, который был у него в руках? Еще по сему случаю один шутник сочинил стишки...

— Молчи, молчи! Не отравляй мне слух богопротивной ересью! Бернар, милый мой Бернар, заклинаю тебя: отрекись ты от прислужников сатаны,— они тебя обманывают, они тебя тащат в ад! Умоляю тебя: спаси свою душу, вернись в лоно нашей церкви!

Но уговоры не действовали на любовника Дианы: вместо ответа он недоверчиво усмехнулся.

— Если ты меня любишь,— наконец воскликнула она,— то откажись ради меня, ради любви ко мне от своего вредного образа мыслей!

— Милая Диана! Мне легче отказаться ради тебя от жизни, чем от того, что разум мой признает за истину. Как ты думаешь: может любовь принудить меня разувериться в том, что дважды два — четыре?

— Бессердечный!..

В распоряжении у Бернара было самое верное средство, прекратить подобного рода пререкания, и он им воспользовался.

— Ах, милый Бернардо! — томным голосом проговорила графиня, когда Мержи с восходом солнца волея-неволей собрался воссоединиться. — Ради тебя я погублю свою душу и не спасу твоей, так что мне и эта отрадная мысль не послужит утешением.

— Полно, мой ангел! Отец Жирон в лучшем виде даст нам с тобой отпущение *in articulo mortis*¹.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ФРАНЦИСКАНЕЦ

Monachus in claustro
Non valet ova duo;
Sed quando est extra,
Bene valet triginta².

На другой день после бракосочетания Маргариты с королем Наваррским капитан Жорж по распоряжению министра двора выехал из Парижа к своему легкоконно-

¹ За секунду до смерти (лат.).

² В обители за монаха

Не дашь и пары яиц,

А только он выйдет за ее сгены —

И за него уже можно дать целых три десятка (искаж. лат.).

му отряду, стоявшему в Мо. Так как Бернар был уверен, что Жорж возвратится еще до конца празднеств, то при расставании с ним он не особенно грустил и легко покорился своей участи — несколько дней пожить одному. Г-жа де Тюржи отнимала у Бернара так много времени, что несколько минут одиночества его не пугали. По ночам он отсутствовал, а днем спал.

В пятницу, 22 августа 1572 года, адмирала ранил выстрелом из аркебузы один негодяй, по имени Морвель. Народная молва приписала это гнусное злодейство герцогу Гизу, поэтому герцог на другой же день, по всей вероятности, чтобы не слышать жалоб и угроз из лагеря реформатов, оставил Париж. Король сперва как будто вознамерился применить к нему строжайшие меры, но затем не воспрепятствовал его возвращению в Париж, возвращение же его ознаменовалось чудовищной резней — она была произведена ночью 24 августа.

Молодые дворяне-протестанты посетили адмирала, а затем, вскочив на добрых коней, рассыпались по улицам — они искали встречи с герцогом Гизом или с его друзьями, чтобы затеять с ними ссору.

Однако поначалу все обошлось благополучно. То ли народ не решился выступить, увидев, что дворян много, то ли он приберегал силы для будущего, во всяком случае, он с наружным спокойствием слушал их крики: «Смерть убийцам адмирала! Долой гизаров!» — и хранил молчание.

Навстречу отряду протестантов неожиданно выехало из-за угла человек шесть молодых дворян-католиков, среди них были приближенные Гиза. Тут-то бы и завязаться жаркой схватке, однако схватки не произошло. Католики, может быть, из благоразумия, может быть, потому, что они действовали согласно полученным указаниям, ничего не ответили на оскорбительные выкрики протестантов; более того, ехавший впереди отряда католиков молодой человек приятной наружности приблизился к Мержи и, вежливо поздоровавшись, заговорил с ним неприкрытым тоном старого приятеля:

— Здравствуйте, господин де Мержи! Вы, конечно, видели господина де Шатильона? Ну как он себя чувствует? Убийца схвачен?

Оба отряда остановились. Мержи, узнав барона де Водрейля, в свою очередь, поклонился ему и ответил

на его вопросы. Кое-кто из католиков вступил в разговор с другими протестантами, но говорили они недолго и до пререканий дело не дошло. Католики уступили дорогу протестантам, и оба отряда разъехались в разные стороны.

Мержи отстал от своих товарищей: его задержал барон де Водрейль. Оглядев его седло, Водрейль сказал на прощание:

— Смотрите! Если не ошибаюсь, у вашего куцега подпруга ослабела. Будьте осторожны!

Мержи спешился и подтянул подпругу. Только успел он сесть в седло, как сзади послышался топот летящего крупной рысью коня. Мержи обернулся — прямо на него ехал незнакомый молодой человек, которого он сегодня первый раз видел, когда проезжал мимо отряда католиков.

— Видит бог, как бы я был рад поговорить один на один с кем-нибудь из тех, кто орал сейчас: «Долой гизаров!», — приблизившись, воскликнул молодой человек.

— Вам долго искать его не придется, — сказал Мержи. — Чем могу служить?

— А, так вы из числа этих мерзавцев?

Мержи без дальних размышлений вытащил из ножен шпагу и плашмя ударил ею приспешника Гизов по лицу. Тот мигом выхватил седельный пистолет и в упор выстрелил в Мержи. К счастью, загорелся только запал. Возлюбленный Дианы со страшной силой хватил своего недруга шпагой по голове, и тот, обливаясь кровью, полетел с коня. Народ, до последней минуты являвшийся безучастным свидетелем, мгновенно принял сторону раненого. На молодого гугенота посыпались камни и палочные удары, — тогда он, видя, что ему одному с толпой не справиться, рассудил за благо дать коню шпоры и умчаться галопом. Но когда он слишком круто повернул за угол, конь его упал, увлек за собою всадника и хотя не зашиб его, однако помешал ему тут же вскочить, так что разъяренная толпа успела окружить гугенота. Мержи прислонился к стене и некоторое время успешно отбивался от тех, кого могла достать его шпага. Но вот кто-то со всего размаху ударил по шпаге палкой и сломал лезвие, Бернара сбили с ног и, наверно, разорвали бы на части, когда бы некий францисканец, пробившись к нему, не прикрыл его своим телом.

— Что вы делаете, дети мои? — крикнул он. — Оставьте его, он ни в чем не виноват.

— Он гугенот! — завопила остервенелая толпа.

— Что ж из этого? Дайте ему срок — он покается.

Руки, державшие Мержи, тотчас отпустили его. Мержи встал, поднял сломанную свою шпагу и приготовился в случае нового натиска дорого продать свою жизнь.

— Пощадите этого человека, — продолжал монах. — Потерпите: еще немного, и гугеноты пойдут слушать мессу.

— «Потерпите, потерпите!» — с досадой повторило несколько голосов. — Это мы слышали! А пока что гугеноты каждое воскресенье собираются и смущают истинных христиан своим пением.

— А вы слышали пословицу: *повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить?* — весело спросил монах. — Пусть еще немного поверещат — скоро по милости Августовской божьей матери вы услышите, как они запоят мессу по-латыни. А юного этого нечестивца отдайте в мое распоряжение: я из него сделаю настоящего христианина. Ступайте! Захотелось мяса, смотрите не пережарьте его!

Толпа расходилась, ропща, но никто больше Бернара не трогал. Ему даже вернули коня.

— Впервые, отец мой, сутана не вызывает во мне неприязни, — сказал Мержи. — Я вам крайне признателен. Не откажите принять от меня этот кошелек.

— Если вы жертвуете его на бедных, молодой человек, то я его возьму. Да будет вам известно, что я к вам чувствую расположение. Я знаком с вашим братом и вам желаю добра. Переходите в нашу веру сегодня же. Следуйте за мной — я все мигом устрою.

— Ну, уж от этого вы меня увольте, отец мой. У меня нет ни малейшего желания менять веру. А откуда вы меня знаете? Как вас зовут?

— Меня зовут брат Любен, и я... Плутиска! Я часто вижу, как вы похаживаете возле одного дома... Молчу, молчу!.. Скажите, господин де Мержи: теперь вы допускаете, что монах способен делать людям добро?

— Я всем буду рассказывать о вашем великодушии, отец Любен.

— Сменять протестантское сборище на мессу не хотите?

— Еще раз говорю: нет. И в церковь буду ходить только ради ваших проповедей.

— Как видно, вы человек со вкусом.

— И к тому же ваш большой поклонник.

— Мне, мочи нет, досадно, что вы такой закоренелый еретик. Ну, я свое дело сделал — я вас предостерег. А там уж смотрите сами. Я умываю руки. Прощайте, мой мальчик.

— Прощайте, отец мой.

Мержи сел на коня и, слегка потрепанный, но весьма довольный тем, что дешево отделался, поехал домой.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ЛЕГКОКОННЫЙ ОТРЯД

Jaffier

He amongst us
That spares his father, brother, or his friend
Is damned.

O t w a y. Venice preserved¹

Вечером 24 августа легкоконный отряд вступал в Париж через Сент-Антуанские ворота. Конники, судя по их запыленным сапогам и платью, совершили большой переход. Последние отблески заходящего солнца освещали загорелые лица солдат. На этих лицах читалась та безотчетная тревога, какую обыкновенно испытывают люди перед событием еще неизвестным, но, как говорит им сердце, мрачным.

Отряд шагом направился к обширному пустырю, тянувшемуся около бывшего Турнельского дворца. Здесь капитан приказал остановиться, затем отрядил в разведку десять человек под командой корнета, самолично составил при въезде в ближайшие улицы караулы и, словно в виду неприятеля, приказал им зажечь фитили. Приняв эти чрезвычайные меры предосторожности, он вернулся и остановил свою лошадь перед фронтом отряда.

— Сержант! — крикнул он; тон у него сейчас был более строгий и властный, чем всегда.

¹ Д ж а ф а р

Тот из нас,
Кто пощадит отца, брата или друга,
Да будет проклят! *От у э й. «Спасенная Венеция» (англ.)*.

Старый конник с расшитой перевязью и в шляпе с золотым галуном почтительно приблизился к своему командиру.

— У всех ли наших конников есть фитили?

— У всех, господин капитан.

— Пороховницы полны? Пуль достаточно?

— Достаточно, господин капитан.

— Отлично.

Капитан шагом поехал перед фронтом малочисленного своего отряда. Сержант следовал за ним на расстоянии, которое могла бы занять лошадь. Он заметил, что капитан не в духе, и долго не решался подъехать к нему. Наконец осмелел.

— Господин капитан! Разрешите конникам задать лошадям корму! Ведь лошади с утра ничего не ели.

— Нельзя.

— Ну хоть горсточку овса? Мы бы это мигом?

— Не смей разнуздывать ни одну лошадь!

— А ведь если... как я слышал... лошадям ночью предстоит потрудиться... то, может быть, все-таки...

Офицер сделал нетерпеливый жест.

— Займите свое место в строю,— сухо сказал он, и поехал дальше.

Сержант вернулся в строй.

— Ну что, сержант, стало быть, правда? Что же будет? Что такое? Что сказал капитан?

Ветераны забросали сержанта вопросами — на эту вольность по отношению к своему начальнику им давали право боевые заслуги и то, что они с давних пор вместе тянули солдатскую лямку.

— Жарко будет нынче,— сказал сержант тоном человека, который знает больше, да только не хочет рассказывать.

— А что? А что?

— Разнуздывать не велено ни на один миг... потому... кто его знает? Каждую минуту можем понадобиться.

— Стало быть, драка? — спросил трубач.— А с кем, хотел бы я знать?

— С кем? — чтобы дать себе время обдумать ответ, переспросил сержант.— Дурацкий вопрос! С кем же еще, черт бы тебя подрал, как не с врагами короля?

— С врагами-то с врагами, да кто они, эти враги? — упорно продолжал допытываться трубач.

— Он не знает, кто такие враги короля!
Сержант соболезнующе пожал плечами.

— Враг короля — испанец, но он бы так, тишком, не подобрался, его бы заметили, — высказал предположение один из конников.

— Нет, это что-то не то, — вмешался другой. — Мало ли у короля врагов, кроме испанцев?

— Бертран прав, — заключил сержант, — я знаю, кого он имеет в виду

— Кого же?

— Гугенотов, — отвечал Бертран. — Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что гугеноты заимствовали свою веру у немцев, а немцы — наши враги, что-то, а это уж я знаю наверное: мне в них не раз приходилось стрелять, особливо под Сен-Кантенom — они там дрались как черти.

— Так-то оно так, — снова заговорил трубач, — но ведь мир-то заключили, и, если память мне не изменяет, шум из-за того был изрядный.

— Нет, они нам не враги, — подтвердил молодой конник, одетый лучше других. — Мы ведь собираемся воевать с Фландрией, и легкоконными войсками будет командовать граф Ларошфуко, а кто не знает, что Ларошфуко — протестант? Провалиться мне на этом месте, если он не протестант с головы до ног! У него и шпоры-то *кондейские* и шляпа *гугенотская*.

— Чума его возьми! — воскликнул сержант. — Ты, Мерлен, этого не знаешь, ты тогда еще в нашем полку не служил. Во время той засады, когда мы все чуть было не сложили головы в Пуату, под Ла-Робре, нами командовал Ларошфуко. У него всегда за пазухой нож.

— И он же говорил, что отряд рейтаров лучше, чем легкоконный эскадрон, — вставил Бертран. — Я это знаю так же верно, как то, что эта лошадь пегая. Мне рассказывал паж королевы.

Слушатели выразили негодование, однако это чувство скоро уступило место желанию узнать, с чем связаны воинские приготовления, против кого направлены те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на виду.

— Сержант, а сержант! — заговорил трубач. — Правда, вчера было покушение на короля?

— Бьюсь об заклад, это все орудуют... еретики.

— Когда мы завтракали в *Андреевском кресте*, хозяин передавал за верное, что они собираются упразднить мессу.

— Тогда все дни будут у нас скромные,— философически заметил Мерлен.— Вместо котелка бобов кусочек солонинки — это еще беда невелика!

— Да, но если гугеноты возьмут верх, то первым делом они перебьют, как все равно посуду, легкоконные отряды и заменят их этими псами — немецкими рейтарами.

— Ну, коли так, я бы им ребра пощупал. Тут поневоле станешь правоверным католиком, убей меня бог! Бертран! Ты служил у протестантов,— скажи: правда, что адмирал платил конникам всего лишь по восьми су?

— Да, и ни одного денье больше. У, старый сквалыга! Потому-то я после первого похода от него и удрал.

— А капитан-то нынче не в духе,— заметил трубач.— Малый он хороший, с солдатами поговорить любит, а тут за всю дорогу звука не проронил.

— Вести недобрые,— ввернул сержант.

— Какие вести?

— Уж верно, что-нибудь насчет гугенотов.

— Опять гражданская война начнется,— сказал Бертран.

— Тем лучше для нас,— подхватил Мерлен: он во всем видел хорошую сторону.— Знай себе круши, села жги, гугеноток шекочи!

— Они, поди, затевают то же, что когда-то в Амбуге,— сказал сержант.— Потому-то нас и вызвали. Ну, мы порядок быстро наведем.

В это время из разведки вернулся корнет, приблизился к капитану и стал тихо ему докладывать, а его солдаты присоединились к товарищам.

— Клянусь бородой, ничего не понимаю, что творится в Париже! — заговорил один из тех, кто ходил в разведку.— На улицах мы ни одной кошки не встретили, зато в Бастилии полно солдат. На дворе швейцарские пики торчат — чисто колосья в поле!

— Их там не больше пятисот,— возразил другой.

— Гугеноты покушались на короля, вот это я знаю наверное,— продолжал первый,— и во время свалки великий герцог Гиз собственноручно ранил адмирала.

— Так ему, разбойнику, и надо! — вскричал сержант.

— Дело до того дошло,— продолжал конник,— что швейцарцы на своем чертовом тарабарском языке говорили: мол, слишком долго во Франции терпят еретиков.

— И то правда, за последнее время они что-то уж очень стали нос задирать,— сказал Мерлен.

— Уж так важничают, уж так спешивятся — можно подумать, что это они нас побили под Жарнаком и Мон-контуром.

— Они бы рады съесть мясо, а нам оставить кость,— молвил трубач.

— Добрым католикам давно пора их проучить.

— Доведись до меня,— сказал сержант,— прикажет мне король: «Перебей эту сволочь»,— да пусть меня разжалуют, если я заставлю повторить этот приказ!

— Бель-Роз! А ну-ка, расскажи, что делал в городе корнет,— обратился к нему Мерлен.

— Он говорил с одним швейцарцем, похоже, с ихним офицером, но только я не расслышал, о чем. Тот ему сообщал что-то, знать, любопытное, потому корнет все только: «Ах, боже мой, боже мой!»

— Гляньте: к нам конники летят во весь мах. Уж верно, с приказом!

— Кажется, двое.

Капитан и корнет поехали к ним навстречу. Двое всадников быстро двигались по направлению к легкоконному отряду. Один из них, нарядно одетый, в шляпе, украшенной перьями, с зеленой перевязью, ехал на боевом коне. Спутник его, толстый, приземистый, коренастый, в черном одеянии, держал в руках большое деревянное распятие.

— Будет драка, это уж как пить дать,— сказал сержант.— Вон и священник — его послали исповедовать раненых.

— Не больно-то весело драться на голодное брюхо,— проговорил Мерлен.

Двое всадников попрिдержали коней и, вплотную подъехав к капитану, остановились.

— Целую руки господину де Мержи,— заговорил человек с зеленой перевязью.— Узнаете своего покорного слугу Тома де Морвеля?

До капитана еще не успела дойти весть о новом злодеянии Морвеля; он знал его только как убийцу славного де Муи. Вот почему он очень сухо ответил Морвелю:

— Я никакого господина де Морвеля не знаю. Полагаю, что вы явились объявить нам наконец, зачем мы здесь.

— Милостивый государи! Дело идет о спасении доброго нашего государя и нашей святой веры: им грозит опасность.

— Какая такая опасность? — презрительно спросил Жорж.

— Гугеноты злоумышляли на жизнь его величества. Однако преступный их заговор был, слава богу, вовремя раскрыт; ночью все истинные христиане должны объединиться и перерезать их сонных.

— Так муж силы Гедеон истребил мadianитян, — вставил человек в черном одеянии.

— Что такое? — содрогнувшись от ужаса, воскликнул Мержи.

— Горожане вооружены, — продолжал Морвель, — в город стянуты французская гвардия и три тысячи швейцарцев. Наши силы исчисляются примерно в шестьдесят тысяч человек. В одиннадцать часов будет подан сигнал — и пойдет потеха.

— Подлый душегуб! Это все мерзкая ложь! Король не дает распоряжений об убийствах, в крайнем случае он за них платит.

Однако Жорж тут же вспомнил о разговоре, который несколько дней тому назад вел с ним король.

— Поттише, господин капитан! Если бы служба королю не поглощала все мои помыслы, я сумел бы ответить на ваши оскорбления. Слушайте меня внимательно: я прибыл к вам от его величества с требованием, чтобы вы и ваш отряд следовали за мной. Нам вверены Сент-Антуанская улица и прилегающий к ней квартал. Я привез вам точный список лиц, которых нам надлежит отправить на тот свет. Его преподобие отец Мальбуш обратится к вашим солдатам с наставлением и раздаст им белые кресты — такие кресты будут у всех католиков, а то в темноте можно принять своего за еретика.

— Я ни за что не приму участия в избиении спящих людей.

— Вы католик? Вы признаете Карла Девятого своим королем? Вам известна подпись маршала Ретца, повиноваться которому — ваш долг?

С этими словами Морвель достал из-за пояса бумагу

и передал капитану. Мержи подозвал одного из своих конников, тот зажег о фитиль аркебузы пучок соломы и посветил капитану, и капитан прочел составленный по всей форме указ, именем короля обязывавший капитана де Мержи оказать поддержку городскому ополчению и поступить в распоряжение г-на де Морвеля для несения службы, коей суть вышеназванный г-н де Морвель ему изъяснит. К указу был приложен перечень имен под заглавием: *Список еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале*. Легкоконники не знали, что это за указ, они только видели при свете факела, который держал один из них, как глубоко он взволновал их начальника.

— Мои конники никогда не станут заниматься ремеслом убийц, — сказал Жорж и швырнул указ прямо в лицо Морвелю.

— При чем же тут убийство? — хладнокровно заметил священник. — Речь идет о справедливом возмездии еретикам.

— Орлы! — возвысив голос, крикнул Морвель легкоконникам. — Гугеноты хотят умертвить короля и перебить католиков. Их надо опередить. Ночью, пока они спят, мы их всех порешим. Их домá король отдает вам на разграбление!

Хищная радость звучала в крике, прокатившемся в ответ по рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Смирно! — громовым голосом крикнул капитан. — Здесь я командую, и больше никто... Друзья! Этот негодяй лжет. Но если даже и есть такой указ короля, все равно мои легкоконники не станут убивать беззащитных людей.

Солдаты молчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — крикнули Морвель и его спутник.

Конники повторили за ними:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Ну так как же, капитан? Повинуетесь? — спросил Морвель.

— Я больше не капитан! — воскликнул Жорж и сорвал с себя знаки отличия: перевязь и полумесяц.

— Задержите изменника! — обнажив шпагу, крикнул

Морвель.— Убейте мятежника — он отказывается повиноваться королю!

Но ни один солдат не поднял руку на своего начальника... Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но убивать его не стал, он лишь ударил его эфесом по лицу, и при этом с такой силой, что тот полетел с коня.

— Прощайте, трусы! — сказал конникам Жорж.— Я думал, вы солдаты, а вы, как я посмотрю, убийцы, а не солдаты.

Затем он обратился к корнету:

— Альфонс! Если вы хотите, чтоб вас произвели в капитаны, то вот вам удобный случай: станьте предводителем этой шайки.

С этими словами он дал шпоры коню и галопом понесся в город. Корнет двинулся было за ним, однако немного погодя придержал коня, пустил его шагом, а потом и вовсе остановился, поворотил коня и присоединился к отряду, очевидно, решив, что хотя капитан дал ему совет в запальчивости, однако последовать ему стоит.

Все еще оглушенный ударом, Морвель, чертыхаясь, влез на коня. Монах, подняв распятие, призвал солдат не оставить в живых ни одного гугенота и утопить ересь в крови.

Упреки капитана внесли некоторое смятение в умы солдат, но как скоро он избавил их от своего присутствия и перед ними открылась перспектива вволю пограбить, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что Морвель им бы ни приказал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

Soothsayer
Beware the Ides of March!
*Shakespeare. Julius Caesar*¹

В тот же вечер Бернар в обычное время вышел на улицу и, закутавшись в плащ под цвет стены его дома и нахлобучив шляпу, отправился, соблюдая надлежащую

¹ Прорицатель

Остерегись Ид Марта! Шекспир. «Юлий Цезарь» (англ.).

осторожность, к графине. Сделав несколько шагов, он повстречался с хирургом Амбруазом Паре, который лечил его, когда он был ранен. Нетрудно было догадаться, что Паре идет из дворца Шатильонов, и Мержи, назвав себя, спросил, что с адмиралом.

— Ему лучше,— ответил хирург.— Рана не смертельная, адмирал — здоровяк. С божьей помощью поправится. Я ему прописал питье,— надеюсь, оно ему пойдет на пользу, ночь он проспит спокойно.

Какой-то простолудин, проходя мимо, услышал, что они говорят об адмирале. Отойдя с таким расчетом, чтобы его наглая выходка прошла безнаказанно, он крикнул:

— Ваш чертов адмирал скоро станцует сарабанду на виселице!

И пустился бежать со всех ног.

— Гадина! — сказал Мержи.— Меня зло берет, что нашему великому адмиралу приходится жить в городе, где у него столько врагов.

— К счастью, его дом хорошо охраняется,— заметил хирург.— Когда я уходил, на лестнице было полно солдат, и они зажигали фитили. Эх, господин де Мержи! Не любят нас местные жители... Однако уж поздно, мне надо в Лувр.

Они попрощались, Мержи продолжал свой путь, и розовые мечтания очень скоро заставили его позабыть адмирала и ненависть католиков. Со всем тем он не мог не заметить чрезвычайного оживления на улицах Парижа, обыкновенно пустевших с наступлением ночи. То ему попадались крючники с ношей на плечах, и у каждого из них ноша эта была такой странной формы, что Мержи в темноте склонен был принять ее за связку пик; то отряд солдат, шагавший молча, с ружьями «на плечо», с зажженными фитилями. То тут, то там распахивались окна, на мгновение появлялись люди со свечами и тотчас прятались.

— Эй, милый человек! — крикнул Мержи одному из крючников.— Куда это вы несете так поздно оружие?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

— Приятель! — обратился Мержи к сержанту — начальнику дозора.— Куда это вы шагаете под ружьем?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

— Эй, паж! Разве вы не при короле? Куда же идете

вы и ваши товарищи и куда вы ведете коней в походной сбруе?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

«На ночное увеселение! — заговорил сам с собой Мержи. — Все, как видно, посвящены в тайну—все, кроме меня. А впрочем, мое дело сторона. Государь волен развлекаться и без моего участия, меня не очень-то тянет смотреть на его увеселения».

Пройдя немного дальше, он обратил внимание на плохо одетого человека — тот останавливался перед некоторыми домами и мелом чертил на дверях кресты.

— Зачем вы, милый человек, помечаете дома? Вы что, квартирьер, что ли?

Незнакомец как сквозь землю провалился.

На углу той улицы, где жила графиня, Мержи едва не столкнулся нос к носу с шедшим в противоположном направлении человеком, завернувшимся, как и он, в широкий плащ. Хотя было темно и хотя оба явно старались проскочить незамеченными, они сейчас узнали друг друга.

— А, господин де Бевиль, добрый вечер! — сказал Мержи и протянул ему руку.

Бевиль, чтобы подать правую руку, сделал странное движение под плащом: переложил из правой руки в левую какой-то довольно тяжелый предмет. Плащ его слегка распахнулся.

— Привет доблестному бойцу, баловню красавиц! — воскликнул Бевиль. — Бьюсь об заклад, что мой благородный друг идет на свидание.

— А вы?.. Ох, и злы же на вас, так видно, мужья: если не ошибаюсь, вы в кольчуге, а то, что вы держите под плащом, дьявольски похоже на пистолеты.

— Нужно быть осторожным, господин Бернар, очень осторожным! — сказал Бевиль.

С этими словами он запахиул плащ так, чтобы не видно было оружия.

— Я весьма сожалею, что не имею возможности предложить вам сейчас свои услуги и шпагу, чтобы охранять улицу и стоять на часах у дверей дома вашей возлюбленной. Сегодня никак не могу, но в другой раз, пожалуйста, располагайте мною.

— Сегодня я не могу взять вас с собой, господин де Мержи

Произнеся эту самую обыкновенную фразу, Бевиль, однако, странно усмехнулся.

— Ну, желаю вам удачи. Прощайте!

— Я вам тоже желаю *удачи!*

Последнее сказанное на прощанье слово Бевиль заметно подчеркнул.

Они расстались, но, сделав несколько шагов, Мержи, услышал, что Бевиль его зовет. Он обернулся и увидел, что тот идет к нему.

— Ваш брат в Париже?

— Нет. Но я жду его со дня на день... Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в ночном увеселении?

— В увеселении?

— Да. Всюду говорят, что ночью во дворце будет увеселение.

Бевиль пробормотал что-то невнятное.

— Ну, еще раз прощайте,— сказал Мержи.— Я спешу... Понимаете?

— Погодите, погодите! Еще одно слово! Как истинный друг, я не могу не дать вам совета.

— Какого совета?

— Сейчас *к ней* не ходите. Завтра вы будете меня благодарить, поверьте.

— Это и есть ваш совет? Я что-то не возьму в толк. К кому это *к ней*?

— Ну, ну, не притворяйтесь! Если вы человек благо-разумный, сей же час переправьтесь на тот берег Сены.

— Это что, шутка?

— Какая там шутка! Я говорю совершенно серьезно. Повторяю: переправьтесь через Сену. Если вас будет уж очень искушать дьявол, пойдите по направлению к якобинскому монастырю на улице святого Иакова. Через два дома от святых отцов стоит довольно ветхий домишко, над дверью висит большое деревянное распятие. Вывеска странная, ну да это неважно. Постучите — вам отворит приветливая старушка и из уважения ко мне примет с честью. Перенесите ваш любовный пыл на тот берег. У мамыши Брюлар премилые, услужливые племянницы... Вы меня поняли?

— Вы очень любезны. Душевно вам признателен.

— Нет, право, послушайте меня! Честное слово дворянина, там вам будет хорошо!

— Покорно благодарю, в другой раз я воспользуюсь

вашим советом. А сегодня меня ждут,— сказал Мержи и сделал шаг вперед.

— Переправьтесь через Сену, милый друг, это мое последнее слово. Если с вами случится несчастье из-за того, что вы меня не послушались,— пеняйте на себя.

Бернара поразило необычно серьезный тон Бевиля. И на этот раз уже не Бевиль остановил его, а он Бевиля:

— Черт возьми, да что же это такое? Растолкуйте, мне, господин де Бевиль, перестаньте говорить загадками.

— Дорогой мой! В сущности, я не имею права выражаться яснее, и всё же я вам скажу: *переправьтесь за реку до глубокой ночи*. А теперь прощайте.

— Но...

Бевиль был уже далеко. Мержи побежал было за ним, но, устыдясь, что попусту теряет драгоценное время, пошел своей дорогой и наконец приблизился к заветной калитке. В ожидании, пока совсем не скроются из виду прохожие, он стал прогуливаться возле ограды. Он боялся привлечь внимание прохожих тем, что кто-то в такое позднее время входит в сад. Ночь выдалась чудная, от дуновения ветерка было не так душно, луна то выплывала, то пряталась за легкие белые облачка. Это была ночь для любви.

И вдруг улица как вымерла. Мержи мигом отворил калитку и бесшумно затворил. Сердце у него стучало, но сейчас он думал только о блаженстве, которое ожидало его у Дианы,— мрачные мысли, возникшие у него под влиянием странных речей Бевиля, мгновенно рассеялись.

Он подошел к дому на цыпочках. Одно окно было полурастворено, сквозь красную занавеску пробивался свет от лампы. То был условный знак. В мгновение ока Мержи очутился у своей любовницы в молельне.

Диана полулежала на низком диване, обитом синим шелком. Ее длинные черные волосы рассыпались по подушке. Глаза у нее были закрыты,— казалось, она борется с собой, чтобы не открыть их. Единственная в комнате серебряная лампа, подвешенная к потолку, ярко освещала бледное лицо и алые губы Дианы де Тюржи. Она не спала, но всякий при взгляде на нее невольно подумал бы, что она видит тяжелый сон. Но вот заскрипели сапоги Бернара, ступавшего по ковру,— Диана тотчас ото-

рвала от подушки голову, открыла глаза, губы у нее зашевелились, она вся вздрогнула и с трудом удержала вопль ужаса.

— Я тебя испугал, мой ангел? — спросил Мержи, опустившись перед ней на колени и наклонившись над подушкой, на которую прекрасная графиня вновь откинулась головой.

— Наконец-то! Слава тебе, господи!

— Разве я опоздал? Полночь еще не скоро.

— Ах, да разве я о том?.. Бернар! Никто не видел, как ты вошел?

— Ни одна душа... Но что с тобой, моя радость? Почему ты не даешь мне своих прелестных губок?

— Ах, Бернар, если б ты знал!.. Умоляю: не мучь меня... Я страдаю невыносимо: у меня жестокая мигрень... голова как в огне...

— Бедняжка!

— Сядь поближе, но только, пожалуйста, не преси у меня сегодня ласк... Я совсем больна.

Она уткнулась лицом в подушку, и в тот же миг у нее вырвался жалобный стон. Потом она вдруг приподнялась на локте, откинула густые волосы, падавшие ей на лицо, схватила руку Мержи и приложила к своему виску. Бернар почувствовал, как сильно бьется у нее жилка.

— Приятно, что у тебя холодная рука, — молвила она.

— Милая Диана! Как бы я был рад, если б голова болела не у тебя, а у меня! — сказал Мержи и поцеловал ее в пылающий лоб.

— Ну да... А я была бы рада... Прикрой мне пальцами веки, так будет легче... Ах, если бы выплакаться, — может, боль и утихла бы, да вот беда: плакать я не могу.

Графиня умолкла; в тишине долго слышалось лишь ее прерывистое, стесненное дыхание. Мержи, стоя на коленях подле дивана, ласково гладил и время от времени целовал опущенные веки прелестной женщины. Лево́й руко́й он опирался на подушку; пальцы его возлюбленной порою судорожно сжимали его пальцы. Дыхание Дианы, нежное и вместе с тем жаркое, возбуждающе щекотало ему губы.

— Родная моя! — сказал он наконец. — По-моему, ты страдаешь еще от чего-то больше, чем от головной боли.

Какая у тебя кручина?.. И почему бы тебе не поведать ее мне? Любить — это значит делить пополам не только радости, но и горести.

Графиня, не открывая глаз, покачала головой. Она разомкнула губы, но членораздельного звука так и не издала; это усилие ее, видимо, утомило, и она снова уронила голову к Бернару на плечо. Вслед за тем часы пробили половину двенадцатого. Диана вздрогнула и, трепеща, приподнялась на постели.

— Нет, право, ты меня пугаешь, моя ненаглядная!

— Ничего... пока еще ничего... — глухим голосом проговорила она. — Как ужасен бой часов! Каждый удар словно раскаленное железо забивает мне в голову.

Диана подставила Бернару лоб, и он не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать его. Неожиданно она вытянула руки, положила их на плечи своему возлюбленному и, по-прежнему полулежа, впиалась в него горящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить.

— Бернар! — молвила она. — Когда же ты перейдешь в нашу веру?

— Ангелочек! Не будем сегодня об этом говорить. У тебя голова сильнее разболится.

— У меня болит голова от твоего упрямства... но тебя это не трогает. А между тем время не ждет, и если бы даже я сейчас умирала, все равно до последнего моего вздоха я продолжала бы увещевать тебя....

Мержи попытался заградить ей уста поцелуем. Это довольно веский довод, он служит ответом на все вопросы, с какими возлюбленная может обратиться к своему любовнику. Диана обыкновенно шла Бернару навстречу, но тут она решительно, почти с негодованием оттолкнула его.

— Послушайте, господин де Мержи! Я каждый день при мысли о вас и о вашем заблуждении плачу кровавыми слезами. Вы знаете, как я вас люблю! Вообразите же наконец, что я должна испытывать от одного сознания, что человек, который мне дороже жизни, может в любую минуту погубить и тело свое, и душу.

— Диана! Мы же условились больше об этом не говорить!

— Нет, несчастный, об этом нужно говорить! Кто знает, может, у тебя и часа не остается на покаяние!

Необычный ее тон и странные намеки невольно привели на память Бернару загадочные предостережения Бевиля. Им овладело непонятное ему самому беспокойство, но он тут же сумел себя перебороть, а то, что так усилился проповеднический пыл Дианы, он объяснил ее богобоязненностью.

— Что ты хочешь сказать, моя прелесть? Ты опасаешься, что нарочно для того, чтобы убить гугенота, сейчас на меня упадет потолок, как прошлую ночь на нас свалился полог? Мы с тобой счастливо отделались — пыль на нас посыпалась, только и всего.

— Твое упрямство хоть кого приведет в отчаяние!.. Послушай: я видела во сне, что твои враги убивают тебя... Я не успела привести своего духовника, и ты, окровавленный, растерзанный, отошел в мир иной.

— Мои враги? По-моему, у меня их нет.

— Безумец! Кто ненавидит вашу ересь, тот вам и враг! Против вас вся Франция! Да, до тех пор, пока ты сам — враг господень и враг церкви, все французы обязаны быть твоими врагами.

— Оставим этот разговор, моя повелительница. А что касается снов, то пусть тебе их разгадает старуха Камилла — я в этом ничего не смыслю. Поговорим о чем-нибудь другом... Ты, кажется, была сегодня во дворце. Вот откуда, я уверен, взялась эта головная боль, которая тебя так мучает, а меня бесит!

— Да, я недавно оттуда, Бернар. Я видела королеву и ушла от нее... с твердым намерением сделать последнее усилие для того, чтобы ты переменял веру... Это необходимо, это совершенно необходимо!..

— Вот что, моя прелесть, — перебил ее Мержи, — коль скоро, несмотря на недомогание, у тебя хватает сил проповедовать с таким жаром, то мы могли бы, с твоего позволения, гораздо лучше провести время.

Она ответила на эту шутку полупрезрительным, полугневным взглядом.

— Заблудший! — как бы говоря сама с собой, тихо сказала она. — Почему я должна с ним церемониться? А затем, уже громким голосом, продолжала:

— Я вижу ясно: ты меня не любишь. Для тебя что твоя лошадь, что я — разницы никакой. Лишь бы я доставляла тебе удовольствие, а до моих терзаний тебе дела нет!.. А я ради тебя, только ради тебя согласилась

терпеть угрызения совести, такие, что рядом с ними все пытки, которые способна изобрести человеческая злоба,— ничто. Одно слово из твоих уст вернуло бы моей душе мир. Но ты этого слова никогда не произнесешь. Ты не пожертвуешь ради меня ни одним из своих пред-
рассудков.

— Дорогая Диана! Что ты на меня напала? Будь же справедлива, не давай себя ослеплять религиозному фанатизму. Ответь мне: где ты найдешь раба более покорного, чем я, у которого бы разум и воля всецело подчинялись тебе? Повторяю: умереть за тебя я готов, но уверовать в то, во что я не верю, я не в состоянии.

Слушая Бернара, она пожимала плечами и смотрела на него почти ненавидящим взглядом.

— Я не могу ради тебя сменить свои темно-русые волосы на белокурые,— продолжал он.— Я не могу в угоду тебе изменить свое телосложение. Моя вера — это, дорогая Диана, одна из частей моего тела, и оторвать ее от тела можно только вместе с жизнью. Пусть меня хоть двадцать лет поучают, я никогда не поверю, что кусок пресного хлеба...

— Замолчи! Не богохульствуй! — властным тоном прервала его Диана.— Все мои старания оказались тщетными. У всех у вас, кто только ни заражен ядом ереси, медные лбы, вы слепы и глухи к истине, вы боитесь видеть и слышать. Но пришло время, когда вы больше ничего уже не увидите и не услышите... Есть только одно средство уничтожить язву, разъедающую церковь, и его к вам применять!

Она в волнении прошла по комнате, а потом заговорила снова:

— Не пройдет и часа, как у дракона ереси будут отсечены все семь голов. Мечи наточены, верные наготове. Нечестивые исчезнут с лица земли.

Она показала пальцем на часы в углу комнаты.

— Смотри: тебе осталось четверть часа на покаяние. Как скоро стрелка дойдет вон до той точки, участь твоя будет решена.

Не успела она договорить, как послышался глухой шум, напоминавший гул толпы, суетящейся на большом пожаре, и этот гул, сначала неясный, стремительно на-

растал. Несколько минут спустя можно было уже различить колокольный звон и ружейные залпы.

— Какие ужасы ты мне сулишь! — воскликнул Мержи.

Графиня кинулась к окну и распахнула его.

Теперь ни стекла, ни занавески уже не сдерживали шума, и он стал более явственным. Можно было уловить и крики боли, и ликующий рев. Насколько хватал глаз, над городом медленно поднимался к небу багровый дым. Все это и впрямь было похоже на огромный пожар, но комнату мгновенно наполнил запах смолы, который мог исходить только от множества зажженных факелов. Вслед за тем вспышка от залпа на мгновение осветила стекла соседнего дома.

— Избиение началось! — в ужасе схватившись за голову, воскликнула графиня.

— Какое избиение? О чем ты говоришь?

— Ночью перережут всех гугенотов. Так повелел король. Все католики взялись за оружие, ни один еретик не избегнет своей участи. Церковь и Франция спасены, а вот ты погибнешь, если не отречешься от своей ложной веры!

На всем теле у Мержи выступил холодный пот. Он растерянно посмотрел на Диану — лицо ее выражало ужас и вместе с тем ликование. Яростный вой, который лез ему в уши и которым полнился весь город, достаточно ясно доказывал, что страшная весть, которую ему сообщила Диана, — это не выдумка. Некоторое время графиня стояла неподвижно и, не произнося ни слова, пристально смотрела на него. Пальцем она показывала на окно, — видимо, она хотела подействовать на его воображение, чтобы он по этому зареву и по людоедским выкрикам представил себе, что там, на улицах, льется кровь. Постепенно выражение ее лица смягчилось. Злобная радость исчезла, ужас остался. Наконец она упала на колени и умоляюще заговорила:

— Бернар! Заклинаю тебя: не губи себя, обратись в нашу веру! Не губи и своей жизни, и моей: ведь я завишу от тебя.

Мержи, дико глянув на нее, стал от нее пятиться, а она, простирая к нему руки, поползла за ним на коленях. Ни слова ей не ответив, он кинулся к креслу, стояв-

шему в глубине молельни, и схватил свою шпагу, которую он там оставил.

— Несчастный! Что ты хочешь делать? — подбежав к нему, воскликнула графиня.

— Защищаться! Я им не баран, чтобы меня резать.

— Сумасшедший! Да тебя тысячи шпаг не спасут! Королевская гвардия, швейцарцы, мещане, простой народ — все принимают участие в избиении, нет ни одного гугенота, к груди которого не было бы сейчас приставлено десять кинжалов. У тебя есть только одно средство спастись от гибели — стань католиком.

Мержи был отважен, однако, представив себе, какими грозными опасностями чревата для него эта ночь, он на мгновение почувствовал, что в сердце к нему заползает животный страх. И тут с быстротою молнии мозг его пронзила мысль о спасении ценою отречения от веры отцов.

— Ручаюсь, что если ты станешь католиком, тебе будет дарована жизнь, — сложив руки, молила Диана.

«Если отрекись, то потом всю жизнь буду себя презирать», — подумал Мержи.

При одной этой мысли к нему вернулась твердость духа, которую еще усилило чувство стыда за минутную слабость. Он нахлобучил шляпу, застегнул портулею и, обмотав вокруг левой руки плащ, так чтобы он заменял ему шит, с решительным видом направился к выходу.

— Куда ты, несчастный?

— На улицу. Я не хочу, чтобы меня зарезали в вашем доме, у вас на глазах, — это будет вам неприятно.

Глубокое презрение, которое слышалось в его голосе, подействовало на графиню удручающе. Она стала у него на дороге. Он оттолкнул ее, и оттолкнул грубо. Тогда она ухватила за полу его камзола и на коленях потащила за ним.

— Пустите меня! — крикнул он. — Вы что же, хотите выдать меня убийцам? Возлюбленная гугенота принесет его кровь в жертву богу и тем искупит свои грехи.

— Не ходи, Бернар, умоляю тебя! У меня только одно желание — чтобы ты спасся. Живи на радость мне, мой золотой! Не губи себя — ради нашей любви!.. Произнеси только одно слово, — клянусь тебе, ты будешь спасен.

— Чтобы я принял веру убийц и грабителей? Святые мученики, страдающие за Евангелие! Я иду к вам!

Мержи рванулся, и графиня ничком повалилась на пол. Он уже отворял дверь, как вдруг Диана с быстрою молодой тигрицы вскочила, кинулась к нему и крепче сильного мужчины обхватила его руками.

— Бернар! — вне себя, со слезами на глазах, крикнула она. — Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты стал католиком!

Она увлекла его к дивану и, упав вместе с ним, покрыла его лицо поцелуями и омочила слезами.

— Побудь тут, единственная любовь моя, побудь со мной, храбрый мой Бернар, — твердила она, сжимая его в объятиях и обвиняясь вокруг него, как змея вокруг жертвы. — Они не станут искать тебя здесь, в моих объятиях. Чтобы добраться до твоей груди, им придется сначала убить меня. Прости меня, мой любимый! Я не могла предупредить тебя, что твоя жизнь в опасности. Я была связана страшной клятвой. Но я тебя спасу или погибну вместе с тобой.

Тут раздался сильный стук во входную дверь. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи вырвался из ее объятий, вокруг его левой руки по-прежнему был обмотан плащ, и в эту минуту он ощутил в себе такую силу и такую решимость, что, если бы перед ним выросла сотня убийц, он не колеблясь ринулся бы на них очертя голову.

Почти во всех парижских домах во входных дверях были проделаны маленькие квадратные, забранные мелкой железной решеткой отверстия, для того чтобы обитатели могли сперва убедиться, стоит отворить или нет. Многие предусмотрительные люди, которые если бы и сдались, так только после правильной осады, не чувствовали себя в безопасности даже за тяжелой дубовой дверью с железными планками, прибитыми толстыми гвоздями. Вот почему по обеим сторонам двери устраивались узкие бойницы, откуда было очень удобно, оставаясь невидимым, палить по осаждающим.

Старый конюший графини, поверенный ее тайн, рассмотрев в глазок, кто стучит, и учинив строгий допрос, доложил своей госпоже, что капитан Жорж де Мержи настоятельно просит впустить его. У всех отлегло от сердца. Дверь была отворена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АВГУСТА

Пускайте кровь! Пускайте кровь!
Приказ маршала Тавана.

Бросив свой отряд, Жорж поспешил домой в надежде застать там брата, но тот, сказав слугам, что уходит на всю ночь, уже исчез. Жорж, живо смекнув, что брат у графини, побежал туда. Но избиение уже началось. Давка, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы,— все это на каждом шагу преграждало ему путь. Жоржу пришлось идти мимо Лувра — здесь особенно свирепствовал фанатизм. В этом квартале жило много протестантов, вот почему он был наводнен католиками и гвардейцами, и они истребляли протестантов огнем и мечом. По энергическому выражению одного из тогдашних писателей, «кровь со всех сторон стекалась к реке». Нельзя было перейти улицу без риска, что на вас в любую минуту не свалится труп, выброшенный из окна.

Дьявольская дальновидность убийц сказалась в том, что они почти все лодки, которых всегда здесь было много, переправили на тот берег; таким образом, многим из тех, что метались по набережной Сены в надежде сесть в лодку и спастись от врагов, оставалось либо утопиться, либо подставить головы под алебарды гонявшихся за ними солдат. Рассказывают, что в одном из дворцовых окон был виден Карл IX: вооруженный длинной аркебузой, он «стрелял по дичи», то есть по несчастным беглецам.

Капитан, забрызганный кровью, переступая через трупы, на каждом шагу рискуя тем, что кто-нибудь из душегубов по ошибке прикончит и его, шел дальше. Он обратил внимание, что у солдат и вооруженных горожан белые повязки на рукавах и белые кресты на шляпах. Он мог бы нацепить на себя эти отличительные знаки, но ему внушали отвращение и сами убийцы, и те приметы, по которым они узнавали друг друга.

На берегу реки, недалеко от Шатле, кто-то его окликнул. Он обернулся и увидел человека, вооруженного до зубов, но, по-видимому, не применявшего оружия, хотя на шляпе у него был белый крест, и с самым независимым видом вертевшего в руках клочок бумаги. Это был

Бевиль. Он безучастно смотрел на то, как с Мельничного моста бросают в Сену и мертвых и живых.

— За коим чертом тебя сюда принесло, Жорж? Чудо, что ли, какое совершилось, по наитию свыше ты выказываешь такую ревность о вере? Ведь ты, как я вижу, охотишься на гугенотов?

— А ты почему очутился среди этих мерзавцев?

— Кто, я? Дьявольщина, я наблюдаю! Прелюбопытное зрелище! Да, ты еще не знаешь, каков я мастак. Помнишь старика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, который еще так лихо меня обчистил?

— Негодяй! Ты его убил?

— Я убил? Фу! Я в дела вероисповедания не вмешиваюсь. Какое там убил — я спрятал его у себя в подвале, а он мне за это дал расписку, что получил с меня долг сполна. Таким образом, я сделал доброе дело и тотчас получил награду. Правда, чтобы скорей добиться от него расписки, я дважды приставлял к его виску пистолет, но уж, нелегкая меня возьми, выстрелить ни за что бы не выстрелил.... Смотри, смотри! У женщины юбка зацепилась за бревно. Сейчас упадет... Нет, не упала. Ах ты черт! Занятно! Надо подойти поближе.

Жорж за ним не пошел.

«А ведь это один из наиболее достойных уважения дворян во всем городе!» — стукнув себя кулаком по голове, подумал он.

Он двинулся по улице Сен-Жос, безлюдной и темной — должно быть, никто из реформатов на ней не жил. Вокруг, однако, было шумно, и шум этот был здесь хорошо слышен. Внезапно багровые огни факелов осветили белые стены. Раздались пронзительные крики, и вслед за тем Жорж увидел нагую, растрепанную женщину, державшую на руках ребенка. Она бежала с невероятной быстротой. За ней гнались двое мужчин и, точно охотники, преследующие хищного зверя, один другого подстегивали дикими криками. Женщина только хотела было свернуть в переулок, но тут один из преследователей выстрелил в нее из аркебузы. Заряд попал ей в спину, и она упала навзничь. Однако она сейчас же встала, сделала шаг по направлению к Жоржу и, напрягая последние усилия, протянула ему младенца, — она словно поручала свое дитя его великодушию. Затем, не произнеся ни слова, скончалась.

— Еще одна сука-еретичка околела! — крикнул стрелявший из аркебузы. — Я не успокоюсь до тех пор, пока не ухлопаю десяток.

— Подлец! — вскричал капитан и в упор выстрелил в него из пистолета.

Злодей стукнулся головой об стену. Глаза у него страшно выкатились из орбит, пятки заскользили по земле, и он, точно лишенная упора доска, покатился и упал бездыханный.

— Что? Убивать католиков? — крикнул его товарищ, у которого в одной руке был факел, а в другой окровавленная шпага. — Вы кто такой? Свят, свят, свят, да вы из королевских легкоконников! Вот тебе на! Вы дали маху, господин офицер.

Капитан выхватил из-за пояса второй пистолет и взвел курок. Головорез отлично понял, что означает движение, которое сделал Жорж, а также слабый звук щелкнувшего курка. Он бросил факел и пустился бежать без оглядки. Жорж пожалел для него пули. Он нагнулся, дотронулся рукой до женщины, распростертой на земле, и удостоверился, что она мертва. Ее ранило навывлет. Ребенок, обвинив ее шею ручонками, кричал и плакал. Он был залит кровью, но каким-то чудом не ранен. Он уцепился за мать — капитан не без труда оттащил его и завернул в свой плащ. Убедившись после этой стычки, что лишняя предосторожность не помешает, капитан поднял шляпу убитого, сорвал с нее белый крест и прикрепил к своей. Благодаря этому он уже без всяких приключений добрался до дома графини.

Братья кинулись друг другу на шею и потом долго еще сидели, крепко обнявшись, не в силах вымолвить ни слова. Наконец капитан вкратце рассказал, что творится в городе. Бернар проклинал короля, Гизов, попов, порывался выйти и помочь единоверцам, если они попытаются оказать сопротивление врагам. Графиня со слезами удерживала его, а ребенок кричал и звал мать.

Однако нельзя же было кричать, вздыхать и плакать до бесконечности — наконец заговорили о том, как быть дальше. Конюший графини сказал, что он найдет женщину, которая позаботится о ребенке. Бернару нечего было и думать выходить на улицу. Да и где он мог бы укрыться? Кто бы ему поручился, что резня не идет сейчас по всей Франции? Мосты, по которым реформаты могли

бы перебраться в Сен-Жерменское предместье, откуда им легче было бы бежать в южные провинции, с давних пор сочувствовавшие протестантству, охраняли многочисленные отряды гвардейцев. Вывать к милосердию государя, когда он, разгоряченный бойней, требовал новых жертв, представлялось бесполезным, более того: неблагоприятным. Графиня славилась своей набожностью, поэтому трудно было предположить, чтобы злодеи стали производить у нее тщательный обыск, а слугам своим Диана доверяла вполне. Таким образом, ее дом казался наиболее надежным убежищем для Бернара. Было решено, что пока она спрячет его у себя, а там будет видно.

С наступлением дня избиение не прекратилось — напротив, оно стало еще более ожесточенным и упорядоченным. Не было такого католика, который из страха быть заподозренным в ереси не нацепил бы на шляпу белого креста, не вооружился бы или не бежал доносить на гугенотов, которых еще не успели прикончить. Король заперся во дворце, и к нему не допускали никого, кроме предводителей головорезов, чернь, мечтавшая пограбить, примкнула к городскому ополчению и к солдатам, а в церквях священники призывали верующих никому не давать пощады.

— Отрубим у гидры все головы, раз навсегда положим конец гражданским войнам, — говорили они.

А чтобы доказать людям, жаждавшим крови и знамений, что само небо благословляет их ненависть и, дабы воодушевить их, явило дивное чудо, они вопили:

— Идите на Кладбище убиенных младенцев и посмотрите на боярышник: он опять зацвел, его полили кровью еретиков, и это сразу его оживило и омолодило.

К кладбищу потянулись торжественные многолюдные процессии, — это вооруженные головорезы ходили поклониться священному кустарнику, а возвращались они с кладбища, готовые с вящим усердием разыскивать и умерщвлять тех, кого столь явно осуждало само небо. У всех на устах было изречение Екатерины. Его повторяли, вырезая детей и женщин: *Che pietá lor ser crudele, che crudeltá lor ser pietoso* — теперь человек тот, кто жесток, жесток тот, кто человекен.

Удивительное дело: почти все протестанты побывали на войне, участвовали в упорных боях, и им нередко удавалось уравновесить превосходство сил противника своей

храбростью, а во время этой бойни *только два* протестанта хоть и слабо, но все же сопротивлялись убийцам, причем из них двоих воевал прежде только один. Быть может, привычка воевать в строю, придерживаясь боевого порядка, мешала развернуться каждому из них в отдельности, мешала превратить свой дом в крепость. И вот матерые вояки, словно жертвы, предназначенные на закляние, подставляли горло негодяям, которые еще вчера трепетали перед ними. Они понимали мужество как смирение и предпочитали ореол страдальца ореолу героя.

Когда жажда крови была до некоторой степени утолена, наиболее милосердные из головорезов предложили своим жертвам купить себе жизнь ценой отречения от веры. Лишь очень немногие кальвинисты воспользовались этим предложением и согласились откупиться от смерти и от мучений ложью,— быть может, простительной. Над головами женщин и детей были занесены мечи, а они читали свой символ веры и безропотно гибли.

Через два дня король попытался унять резню, но если дать волю низким страстям толпы, то ее уже не уймешь. Кинжалы продолжали наносить удары, а потом уже и сам король, которого обвинили в потворстве нечестивцам, вынужден был взять свой призыв к милосердию обратно и даже превзошел себя в своей злобе, каковая, впрочем, являлась одной из главных черт его характера.

Первые дни после Варфоломеевской ночи Бернар часто навещал в укрытии его брат и всякий раз приводил новые подробности тех страшных сцен, коих свидетелем ему суждено было стать.

— Когда же наконец я покину этот край убийц и лиходеев? — воскликнул Жорж. — Я предпочел бы жить среди зверей, чем среди французов.

— Поедем со мной в Ла-Рошель, — говорил Бернар. — Авось там еще не взяли верх головорезы. Давай вместе умрем! Если ты станешь на защиту этого последнего оплота нашей веры, то твое отступничество будет забыто.

— А как же я? — спрашивала Диана.

— Поедем лучше в Германию, а не то так в Англию, — возражал Жорж. — Там, по крайней мере, и нас не зарежут, и мы никого не будем резать.

Их замыслы не осуществились. Жоржа посадили в тюрьму за то, что он отказался повиноваться королю,

а графиня, дрожавшая от страха, что ее возлюбленного накроют, думала только о том, как бы помочь ему бежать из Парижа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ДВА МОНАХА

Капюшон ему надели,
И готов монах.

Народная песня

В кабачке, расположенном на берегу Луары, немного ниже Орлеана, ближе к Божанси, молодой монах сидел за столиком и, полуопустив широкий капюшон своей коричневой сутаны, с примерным усердием читал молитвенник, хотя уголок для чтения он выбрал довольно темный. Бусинки его четок, висевших у пояса, были крупнее голубинового яйца; множество образков, державшихся на том же веревочном поясе, брэнчало при малейшем его движении. Когда он поднимал голову и смотрел на дверь, был виден его красивый рот и закрученные в виде турецкого лука молодецкие усы, которые могли бы сделать честь любому армейскому капитану. Руки у него были белые-белые, ногти длинные, аккуратно подстриженные,— все это наводило на мысль, что молодой чернец устава своего ордена строго не придерживается и никогда и в руки-то не брал ни заступа, ни грабель.

К нему подошла дородная крестьянка с налитыми щеками,— она исполняла здесь не только обязанности служанки, но и стряпухи; помимо всего прочего, она была хозяйкой этого заведения,— и, довольно неуклюже присев перед ним в реверансе, спросила:

— Что же это вы, отец мой, на обед себе ничего не закажете? Ведь уж полдень-то миновал.

— Долго еще не будет барки из Божанси?

— Кто ее знает! Вода убыла — особенно не разгонишься. Да барке еще и не время. Я бы на вашем месте пообедала у нас.

— Хорошо, я пообедаю. Только нет ли у вас отдельной комнаты? Здесь не очень приятно пахнет.

— Уж больно вы привередливы, отец мой. А я так ничего не чую.

— Не свиней ли палят возле вашего трактира?

— Свиней? Ой, насмешили! Свиней! Да, почти что. Свиньи они, свиньи — про них верно кто-то сказал, что жили они по-свински. Вот только есть этих свиней нельзя. Это,— прошу меня извинить, отец мой,— гугеноты, их сжигают на берегу, шагах в ста отсюда, вот почему здесь и пахнет паленым.

— Гугеноты?

— Ну да, гугеноты. Вам-то что? Еще аппетит из-за них портить? А комнатку, где бы вам пообедать, я найду, только уж не побрезгайте. Нет, теперь гугеноты не так скверно пахнут. Вот если б их не сжигать, вонь от них была бы — затыкай нос. Нынче утром их во какая куча на песке лежала, высотой... как бы сказать? Высотой с этот камин.

— И вы ходили смотреть на трупы?

— А, это вы потому спрашиваете, что они голые! Но ведь они мертвые, ваше преподобие,— тут ничего такого нет. Все равно, что я бы на дохлых лягушек глядела. Видать, вчера в Орлеане потрудились на славу,— Луара нанесла к нам невесть сколько этой самой еретической рыбы. Река-то мелеет, так их, что ни день, на песке находят. Вчера пошел работник с мельницы посмотреть сети,— линьки не попались ли, ан там мертвая женщина: ее в живот алебардой ткнули. Глядите: вошла сюда, а вышла аж вон там, между лопаток. Он-то, конечно, предпочел бы вместо нее здорового карпа... Ваше преподобие! Что это с вами! Никак, вам дурно? Хотите, я вам до обеда стаканчик божансийского вина принесу? Сразу дурнота пройдет.

— Благодарю вас.

— Так что же вы желаете на обед?

— Что у вас есть, то и давайте... Мне безразлично.

— А все-таки? Скажу не хвалясь: у меня в кладовой стены ломаются.

— Ну, зажарьте цыпленка. И не мешайте мне читать молитвенник.

— Цыпленка! Цыпленка! Ай-ай-ай, ваше преподобие, нечего сказать, отличились! Кому угодно постом рот заткнет паутина, только не вам. Стало быть, вам папа разрешил по пятницам есть цыплят?

— Ах, какой же я рассеянный!.. Верно, черно, ведь

сегодня пятница! *По пятницам мясной пищи не принимай.* Приготовьте мне яичницу. Спасибо, что вовремя предупредили, а то долго ли до греха?

— Все они хороши, голубчики! — ворчала себе под нос кабатчица. — Не напони, так они вам в постный день цыпленка уберут. А найдут у бедной женщины кусочек сала в супе, такой крик подымут — помилуй бог!

Отведя душу, кабатчица принялась готовить яичницу, а монах снова углубился в чтение.

— Ave Maria¹, сестра моя! — сказал еще один монах. Он вошел в кабачок, как раз когда тетушка Маргарита, придерживая сковородку, собиралась перевернуть внушительных размеров яичницу.

Это был красивый седобородый старик, высокий, крепкий, плотный, краснолицый. Однако первое, что привлекало к нему внимание, — это огромный пластырь, закрывавший один глаз и половину щеки. По-французски он изъяснялся хотя и свободно, но с легким акцентом.

Стоило ему показаться в дверях, как молодой монах еще ниже опустил свой капюшон, чтобы совсем не было видно лица. Однако тетушку Маргариту особенно поразило другое: день был жаркий, и того ради старый монах капюшон свой откинул, но едва он увидел собрата по ордену, так сейчас же его опустил.

— Как раз к обеду, отец мой! — молвила кабатчица. — Ждать вам не придется, и есть с кем разделить компанию.

Тут она обратилась к молодому монаху:

— Ваше преподобие! Вы, верно уж, ничего не имеете против отобедать с его преподобием? Его сюда привлек запах яичницы. Маслица-то я не пожалела!

— Боюсь, как бы не стеснить почтенного посетителя, — пролепетал молодой инок.

— Я бедный эльзасский монах... — низко опустив голову, пробормотал старик. — Плохо говорю по-французски... Боюсь, что мое общество не доставит удовольствия собрату.

— Будет вам церемонии-то разводить! — вмешалась тетушка Маргарита. — У монахов, да еще одного ордена, все должно быть общее: и постель и стол.

С этими словами она взяла скамейку и поставила ее

¹ Радуйся, Мария (лат.).

у стола, как раз напротив молодого монаха. Старик сел боком — он чувствовал себя явно неловко. Можно было догадаться, что голод борется в нем с нежеланием остаться один на один со своим собратом.

Тетушка Маргарита принесла яичницу.

— Ну, отцы мои, скорей читайте молитву перед обедом, а потом скажете, хороша ли моя яичница.

Напоминание насчет молитвы повергло обоих монахов в еще пущее замешательство.

Младший сказал старшему:

— Читайте вы. Вы старше меня, вам эта честь и полагается.

— Нет, что вы! Вы пришли раньше меня — вы и читайте.

— Нет, уж лучше вы.

— Увольте.

— Не могу.

— Что мне с ними делать? Ведь так яичница простынет! — всполошилась тетушка Маргарита. — Свет еще не видел таких церемонных францисканцев. Ну, пусть старший прочтет предобеденную, а младший — благодарственную...

— Я умею читать молитву перед обедом только на своем родном языке, — объявил старший монах.

Молодой, казалось, удивился и искоса поглядел на своего сотрапезника. Между тем старик, молитвенно сложив руки, забормотал себе в капюшон какие-то непонятные слова. Потом сел на свое место и, даром времени не теряя, мигом уплел три четверти яичницы и осушил бутылку вина. Его товарищ, уткнув нос в тарелку, открывал рот только перед тем, как что-нибудь в него положить. Покончив с яичницей, он встал, сложил руки и, запинаясь, пробубнил скороговоркой несколько латинских слов, последними из которых были: *Et beata viscera virginis Mariae!* Тетушка Маргарита только эти слова и разобрала.

— Прости, господи, мое прегрешение, уж больно несуразную благодарственную молитву вы прочитали, отец мой! Наш священник, поминется, не так ее читает.

— Так читают в нашей обители, — возразил молодой францисканец.

¹ И благословенно чрево деви Марии (лат.).

— Когда барка придет? — спросил другой.

— Потерпите еще немного — должна скоро прийти, — отвечала тетушка Маргарита.

Молодому инок этому разговор, видимо, не понравился, — сделать же какое-либо замечание по этому поводу он не решился и, взяв молитвенник, весь ушел в чтение.

Эльзасец между тем, повернувшись спиной к товарищу, перебирал четки и беззвучно шевелил губами.

«Сроду не видала я таких чудных, таких неслогоохотливых монахов», — подумала тетушка Маргарита и села за прялку.

С четверть часа тишину нарушало лишь жужжание прялки, как вдруг в кабачок вошли четверо вооруженных людей пренеприятной наружности. При виде монахов они только чуть дотронулись до своих шляп. Один из них, поздоровавшись с Маргаритой и назвав ее попросту «Марго», потребовал прежде всего вина и обед чтобы живо был на столе, а то, мол, у него глотка мохом поросла — давненько челюстями не двигал.

— Вина, вина! — заворчала тетушка Маргарита. — Спросить вина всякий сумеет, господин Буа-Дофен. А платить вы за него будете? Жером Кредит, было бы вам известно, на том свете. А вы должны мне за вино, за обеды да за ужины шесть экю с лишком, — это так же верно, как то, что я честная женщина.

— И то и другое справедливо, — со смехом подтвердил Буа-Дофен. — Стало быть, я должен вам, дорогая Марго, всего-навсего два экю, и больше ни денье. (Он выразился сильнее).

— Иисусе, Мария! Разве так можно?..

— Ну, ну, хрычовочка, не вопи! Шесть экю, так шесть экю. Я тебе их уплачу, Марготон, вместе с тем, что мы здесь истратим сегодня. Карман у меня нынче не пустой, хотя, сказать по правде, ремесло наше убыточное. Не понимаю, куда эти прохвосты деньги девают.

— Наверно, проглатывают, как все равно немцы, — заметил один из его товарищей.

— Чума их возьми! — вскричал Буа-Дофен. — Надо бы это разнюхать. Добрые пистолы в костяке у еретика — это вкусная начинка, не собакам же ее выбрасывать.

— Как она нынче утром визжала, пасторская-то дочка! — напомнил третий.

— А толстяк пастор! — подхватил четвертый. — Что смеху-то с ним было! Из-за своей толщины никак не мог в воду погрузиться.

— Стало быть, вы нынче утром хорошо поработали? — спросила Маргарита; она только что вернулась с бутылками из погреба.

— Еще как! — отвечал Буа-Дофен. — Побросали в огонь и в воду больше десяти человек — мужчин, женщин, малых ребят. Да вот горе, Марго: у них гроша за душой не оказалось. Только у одной женщины кое-какая рухлядишка нашлась, а так вся эта дичь четырех собачьих подков не стоила. Да, отец мой, — обращаясь к молодому монаху, продолжал он, — мы нынче утром убивали ваших врагов — еретическую нечисть и заслужили отпущение грехов.

Монах бросил на него беглый взгляд и снова принял-ся за чтение. Однако было заметно, что молитвенник дрожит в его левой руке, а правую он с видом человека, сдерживающего волнение, сжимал в кулак.

— Кстати об отпущениях, — обратившись к своим товарищам, сказал Буа-Дофен. — Знаете что: я бы не прочь был получить отпущение для того, чтобы поесть нынче скоромного. Я видел в курятнике у тетушки Марго таких цыплят — пальчики оближешь!

— Ну так давайте их съедим, черт побери! — вскричал один из злодеев. — Не погубим же мы из-за этого душу. Сходим завтра на исповедь, только и всего.

— Ребята! — заговорил другой. — Знаете, что мне на ум пришло? Попросим у этих жирных клобучников разрешения поесть скоромного.

— У них кишка тонка давать такие разрешения!

— А, мать честная! — вскричал Буа-Дофен. — Я знаю средство получше, — сейчас вам скажу на ухо.

Четверо негодаев придвинулись друг к другу вплотную, и Буа-Дофен шепотом принялся излагать им свой план, каковой был встречен взрывами хохота. Только у одного разбойника шевельнулась совесть.

— Недоброе ты затеял, Буа-Дофен, — накличешь ты на нас беду. Я не согласен.

— Молчи, Гильемен! Подумаешь, большой грех — дать кому-нибудь понюхать лезвие кинжала!

— Только не духовной особой..

Говорили они вполголоса, и монахи делали заметные

усилия, чтобы по отдельным долетавшим до них словам разгадать их замысел.

— Какая же разница? — громко возразил Буа-Дофен. — Да и потом, ведь это же он совершит грех, а не я.

— Верно, верно! Буа-Дофен прав! — вскричали двое.

Буа-Дофен встал и, нимало не медля, вышел из комнаты. Минуту спустя закудахтали куры, и вскоре разбойник появился снова, держа в каждой руке по зарезанной курице.

— Ах, проклятый! — закричала тетушка Маргарита. — Курочек моих зарезал, да еще в пятницу! Что ты с ними будешь делать, разбойник?

— Потихе, тетушка Маргарита, вы меня совсем оглушили. Вам известно, что со мной шутки плохи. Готовьте вертела, все остальное я беру на себя.

Тут он подошел к эльзасскому монаху.

— Эй, отец! — сказал он. — Видите этих двух птиц? Ну так вот, сделайте милость, — окрестите их.

Монах от изумления подался назад, другой монах закрыл молитвенник, а тетушка Маргарита разразилась бранью.

— Окрестить? — переспросил монах.

— Да, отец. Я буду крестным отцом, а вот эта самая Марго — крестной матерью. Имена своим крестницам я хочу дать такие: вот эта будет Форель, а эта — Макрель. Имена красивые.

— Окрестить кур? — вскричал монах и залился хохотом.

— А, чтоб вас, отец! Ну да, окрестить! Скорей за дело!

— Ах ты, срамник! — возопила Маргарита. — Ты думаешь, я тебе позволю такие штуки вытворять у меня в доме? Крестить птиц! Да ты что, на жидовский шабаш явился?

— Уберите от меня эту горластую, — сказал своим товарищам Буа-Дофен. — А вы, отец, сумеете прочитать имя оружейника, который сделал мой клинок?

Он поднес кинжал к самому носу старого монаха.

Тут молодой монах вскочил, но, должно быть, благо разумно решив набраться терпения, сейчас же сел на место.

— Как я буду, сын мой, крестить живность?

— Да это проще простого, черт побери! Так же точно,

как вы крестите нас, рождающихся от женщин. Покропите им слегка головки и скажите: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Только скажите это на своем тарабарском языке. Итак, милейший, принесите стакан воды, а вы — шляпы долой, чтобы все было честь честью. Ну, господи благослови!

Ко всеобщему изумлению, старый францисканец сходил за водой, покропил курам головы и невнятной скороговоркой прочитал что-то вроде молитвы. Кончалась она словами: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Потом сел на свое место и, как ни в чем не бывало, преспокойно начал перебирать четки.

Тетушка Маргарита онемела от удивления. Буа-Дофен ликовал.

— Слышь, Марго,— сказал он и бросил ей кур,— приготовь нам *форель* и *макрель* — это будет превкусное постное блюдо.

Маргарита, несмотря на крестины, продолжала стоять на том, что это пища не христианская. Только после того как разбойники пригрозили ей короткой расправой, осмелилась она посадить на вертел новонареченных рыб.

А Буа-Дофен и его товарищи бражничали, пили за здоровье друг друга, драли глотку.

— Эй, вы! — заорал Буа-Дофен и, требуя тишины, грохнул кулаком по столу.— Предлагаю выпить за здоровье его святейшества папы и за гибель всех гугенотов. Клобучники и тетка Марго должны выпить с нами.

Три его товарища шумно выразили одобрение.

Буа-Дофен, слегка пошатываясь, встал,— он был уже сильно на взводе,— и налил стакан вина молодому монаху.

— Ну-с, ваше преподобие,— сказал он,— за нашего здоровейшего святца... Ох, я оговорился!.. За здоровье нашего святейшего отца и за гибель...

— Я после трапезы не пью,— холодно заметил молодой монах.

— Нет, вы, прах вас побери, выпьете, а не то будь я неладен, если вы не дадите отчета, почему вы не желаете пить!

Сказавши это, он поставил бутылку на стол и поднес стакан ко рту молодого монаха, а тот, сохраняя совершенное наружное спокойствие, снова склонился над молитвенником. На книгу пролилось вино. Тогда монах

вскочил, схватил стакан, но, вместо того чтобы выпить, выплеснул его содержимое в лицо Буа-Дофену. Все покатились со смеху. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, не сводил глаз с негодяя.

— Знаете что, милый мой монашек: шутка ваша мне не нравится. Если б вы не были клобучником, я бы вас, вот как бог свят, научил соблюдать приличия.

С этими словами Буа-Дофен протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев дотронулся до его усов.

Монах побагровел. Одной рукой он взял обнаглевшего разбойника за шиворот, а другой схватил бутылку и с такой яростью трахнул ею Буа-Дофена по голове, что тот, обливаясь смешавшейся с вином кровью, замертво повалился на пол.

— Молодчина, приятель! — одобрил старый монах. — Для долгополого это здорово!

— Буа-Дофен убит! — вскричали все три разбойника, видя, что их товарищ не шевелится. — Ах ты, мерзавец! Ну, мы тебе сейчас покажем!

Они вынули из ножен шпаги, однако молодой монах, выказав необычайное проворство, засучил длинные рукава сутаны, схватил шпагу Буа-Дофена и с самым решительным видом изготавился к битве. Тем временем его собрат вытащил из-под своей сутаны кинжал, клинок которого был не менее восемнадцати дюймов длиною, и, приняв столь же воинственный вид, стал рядом с ним.

— Ах вы, сволочь этакая! — гаркнул он. — Вот мы вас сейчас научим, как надо себя вести, как нужно драться!

Раз, раз — и все три негодяя, кто — раненый, кто — обезоруженный, попрыгали в окно.

— Иисусе, Мария! — воскликнула тетушка Маргарита. — Какие же вы храбрые воины, отцы мои! Вы поддерживаете честь своего ордена. Но только вот что: в моем заведении мертвое тело, теперь обо мне дурная слава пойдет.

— Да, умер он, как бы не так! — возразил старый монах. — Глядите: копошится. Ну, я его сейчас пособорую.

С этими словами он подошел к раненому, схватил его за волосы и, приставив ему к горлу свой острый кинжал, совсем было собрался отхватить ему голову, но тетушка Маргарита и молодой монах его удержали.

— Боже милостивый! Что вы делаете? — вскричала Маргарита. — Разве можно убивать человека? Да еще такого, которого все считают за доброго католика, хотя на поверку-то он оказался совсем не таким.

— Я полагаю, что *срочные* дела призывают в Божанси не только меня, но и вас, — сказал молодой монах своему собрату. — Вот как раз и барка. Скорей!

— Ваша правда. Иду, иду.

Старик вытер кинжал и опять упрятал его под сутану. Расплатившись с хозяйкой, два храбрых монаха зашагали к Луаре, поручив Буа-Дофена заботам тетушки Маргариты, и та первым делом обшарила его карманы, уплатила себе его долг, затем вынула у него из головы уйму осколков и сделала ему перевязку по всем правилам, которым следуют в подобных случаях лекарки.

— Если не ошибаюсь, я вас где-то видел, — заговорил молодой человек со старым францисканцем.

— Пусть меня черт возьмет, коли ваше лицо мне незнакомо! Но только...

— Когда мы с вами встретились впервые, вы были, сколько я помню, одеты по-другому.

— Да ведь и вы?

— Вы — капитан...

— Дитрих Горнштейн, ваш покорный слуга. А вы тот самый молодой дворянин, с которым я обедал близ Этампа.

— Он самый.

— Ваша фамилия Мержи?

— Да, но теперь я зовусь иначе. Я брат Амвросий.

— А я брат Антоний из Эльзаса.

— Так, так. И куда же вы?

— В Ла-Рошель, если удастся.

— Я тоже.

— Очень рад вас видеть.. Вот только, черт возьми, вы меня здорово подвели с молитвой перед обедом. Я же ни единого слова не знаю. А вас я сперва принял за самого что ни на есть заправского монаха.

— А я вас.

— Вы откуда бежали?

— Из Парижа. А вы?

— Из Орлеана. Целую неделю скрывался. Бедняги рейтары... юнкер... все в Луаре.

— А Мила?

— Перешла в католичество.

— А как мой конь, капитан?

— Ах, ваш конь! Его у вас свел негодяй-трубач, и я наказал его розгами... Но я же не знал, где вы находитесь, так что отдать вам коня я никак не мог... Но я его берег до приятного свидания с вами. Ну, а теперь он, понятно, достался какому-нибудь мерзавцу-паписту.

— Тсс! О таких вещах вслух не говорят. Ну, капитан, давайте вместе горе горевать, будем помогать друг другу, как помогли только что.

— С удовольствием. Пока у Дитриха Горнштейна останется хоть капля крови в жилах, он будет играть в ножички бок о бок с вами.

Они от чистого сердца пожали друг другу руку.

— А скажите, что за чепуху они пороли насчет кур, Форелий, Макрелий? Глупый народ эти паписты, нужно отдать им справедливость.

— Тише, говорят вам! А вот и барка.

Разговаривая таким образом, они вышли на берег и сели в барку. До Божанси они добрались без особых беспокойств, если не считать того, что навстречу им плыли по Луаре трупы их единоверцев.

Лодочник обратил внимание, что почти все плывут лицом кверху.

— Они взывают к небу о мщении,— тихо сказал рейтарскому капитану Мержи.

Дитрих молча пожал ему руку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОСАДА ЛА-РОШЕЛИ

Still hope and suffer all who can?
Moore. Fudge family¹

Подавляющее большинство жителей Ла-Рошели перешло в реформатскую веру, и Ла-Рошель играла тогда роль столицы южных провинций и служила протестантству наиболее стойким оплотом. Широкая торговля с Англией и Испанией вызвала приток в Ла-Рошель зна-

¹ Кто способен все претерпеть и не терять надежды? Мур. «Семейство Фойдж» (англ.).

чительных ценностей и внесла тот независимый дух, который таким притоком обыкновенно порождается и поддерживается. Мещане, рыбаки, моряки, многие из которых представляли собой корсаров, рано привыкших к опасностям исполненной приключений жизни, — все они отличались энергией, заменявшей им дисциплину и военный опыт. Вот почему весть о резне, имевшей место 24 августа, ларошельцы приняли не с тупою покорностью, которая овладела большею частью протестантов и отняла у них веру в победу, — напротив, они прониклись той действенной и грозной решимостью, которую в иных случаях придает людям отчаяние. Они единодушно объявили, что согласны терпеть все, но что они даже в крайних обстоятельствах не откроют ворот врагу, который недавно обнаружил себя во всем своем вероломстве и жестокости. Пасторы пламенными речами укрепляли дух ларошельцев, и ларошельцы все, как один, включая женщин, стариков и детей, дружно восстанавливали старые укрепления и возводили новые. Делались запасы продовольствия и оружия, снаряжались барки и суда. Коротко говоря, население, не теряя ни минуты, создавало и приводило в готовность многообразные средства обороны. К ларошельцам присоединились уцелевшие дворяне и своим описанием варфоломеевских зверств вселяли мужество в сердца наиболее робкие. Для людей, спасшихся от гибели, которая казалась неизбежной, война и ее превратности — это все равно что легкий ветерок для моряков, которых только что трепала буря. Мержи и его спутник увеличили собой число беглецов, вступавших в ряды защитников Ла-Рошели.

Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предотвратил их. В Ла-Рошель с предложением начать мирные переговоры выехал маршал Бирон. У короля были некоторые основания надеяться, что этот выбор будет приятен ларошельцам. Мало того, что маршал не принимал участия в Варфоломеевском побоище, — он спас жизнь многим видным протестантам и даже направил пушки вверенного ему арсенала против убийц, служивших в королевской армии. Он просил только о том, чтобы его впустили в город в качестве королевского наместника, и со своей стороны обещал охранять особые права и вольности, кон-

ми пользовались жители, а также предоставить им свободу вероисповедания. Но как можно было поверить обещаниям Карла IX после истребления шестидесяти тысяч протестантов? Да и уже во время переговоров шло избиение протестантов в Бордо, солдаты Бирона грабили окрестности Ла-Рошели, а королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт.

Ларошельцы отказались впустить Бирона и объявили, что не станут заключать с королем никаких договоров до тех пор, пока им вертят Гизы, — то ли они в самом деле были уверены, что Гизы единственные виновники всех зол, то ли этот вымысел понадобился им, дабы успокоить совесть тех протестантов, которые считали, что верность королю должна стоять выше интересов религии. Договориться оказалось невозможным. Тогда король направил другого посредника — на сей раз его выбор пал на Лану. Лану, по прозвищу Железная рука, — он потерял в бою руку, и ему сделали искусственную, — был ярым кальвинистом; в последнюю гражданскую войну он выказал необыкновенную храбрость и недюжинные способности.

Это был самый искусный и самый верный помощник своего друга — адмирала. В Варфоломеевскую ночь он находился в Нидерландах, — там он руководил распыленными отрядами фламандцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он вынужден был сдаться герцогу Альбе — тот обошелся с ним довольно милостиво. После того как потоки пролитой крови вызвали у Карла IX нечто похожее на угрызения совести, король вытребовал Лану и, сверх ожидания, принял его необычайно любезно. Этот ни в чем не знавший меры правитель вдруг ни с того ни с сего обласкал протестанта, а незадолго перед этим вырезал сто тысяч его единоверцев. Казалось, сама судьба хранила Лану: еще во время третьей гражданской войны он дважды попадал в плен — сначала под Жарнаком, потом под Монконтуром, и оба раза его отпустил без всякого выкупа брат короля, хотя некоторые военачальники доказывали, что этого человека выпускать опасно, а подкупить невозможно, и требовали его казни. Теперь Карл подумал, что Лану вспомнит о его великодушии, и поручил ему привести ларошельцев к повиновению. Лану согласился, но с условием, что король не станет

добиваться от него ничего такого, что не могло бы послужить ему к чести. Вместе с Лану выехал итальянский священник, которому было велено за ним присматривать.

Недоверие, которое гугеноты выказали к Лану, на первых порах, оскорбило его. В Ла-Рошель его не пустили — встреча была назначена в небольшом подгороднем селе. Представители Ла-Рошели явились к нему в Тадон. Все это были его братья по оружию, но никто из них не пожелал обменяться с ним дружеским рукопожатием, — все сделали вид, что не узнают его, — ему пришлось назвать себя, и только после этого он заговорил о предложениях короля. Вот какова была суть его речи:

— Обещаниям короля следует верить. Гражданская война — худшее из всех зол.

Мэр Ла-Рошели, горько усмехнувшись, сказал:

— Мы видим перед собой человека, только похожего на Лану, — настоящий Лану никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам. Лану любил покойного адмирала, и, вместо того чтобы вести переговоры со злодеями, он поспешил бы отомстить за него. Нет, вы не Лану!

Эти упреки ранили несчастного посла в самое сердце; напомнив о заслугах, которые он оказал кальвинизму, Лану потряс своей искалеченной рукой и заявил, что он все такой же убежденный реформат. Недоверие ларошельцев постепенно рассеялось. Перед Лану раскрылись городские ворота. Ларошельцы показали ему свои запасы и даже стали его уговаривать возглавить их оборону. Для старого солдата это было предложение в высшей степени заманчивое. Ведь он принес присягу Карлу с таким условием, которое давало ему право поступать по совести. Лану надеялся, что если он станет во главе ларошельцев, то ему легче будет склонить их к миру; он рассчитывал, что ему удастся остаться верным и присяге, и той религии, которую он исповедовал. Но он ошибался.

Королевское войско осадило Ла-Рошель. Лану руководил всеми вылазками, укладывал немало католиков, а вернувшись в город, убеждал жителей заключить мир. Чего же он этим достиг? Католики кричали, что он

нарушил слово, данное королю, а протестанты обвиняли его в измене.

Лану все опостылело; он двадцать раз в день смотрел опасности прямо в глаза — он искал смерти.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЛАНУ

Фенест

Этот человек пяткой не сморкается, ей-ей!
Д'Обинье. Барон Фенест

Осажденные только что сделали удачную вылазку против апрошей католического войска. Засыпали несколько траншей, опрокинули туры, перебили около сотни солдат. Отряд, на долю которого выпал этот успех, возвращался в город через Тадонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с аркебузирами, — по тому, какие разгоряченные были у них у всех лица, как тяжело они дышали, как настойчиво просили пить, видно было, что они себя не берегли. За аркебузирами шла плотная толпа горожан, среди них — женщины, должно быть, принимавшие участие в стычке. Вслед за горожанами двигались пленные, числом около сорока, почти все раненые, — две шеренги солдат еле сдерживали гнев народа, собравшегося посмотреть, как они будут идти. Арьергард составляло человек двадцать всадников. Сзади всех ехал Лану, у которого Мержи был адъютантом. В кирасе у Лану виднелась вмятина от пули, его конь был в двух местах ранен. В левой руке он еще держал разряженный пистолет, а конем правил с помощью прицепленного к поводьям крюка, торчавшего из его правого наручня.

— Пропустите пленных, друзья! — ежеминутно кричал он. — Добрые ларошельцы! Будьте человечны! Они ранены, они беззащитны, они больше нам не враги.

Чернь, однако, отвечала ему яростным воем:

— Вздернуть папистов! На виселицу их! Да здравствует Лану!

Мержи и всадники, чтобы лучше действовали призывы их предводителя к милосердию, весьма кстати угощали то того, то другого древками пик. Наконец

пленных отвели в городскую тюрьму и приставили к ним усиленную охрану, — здесь им уже можно было не бояться народной расправы. Отряд рассеялся. Лану, которого сопровождало теперь всего лишь несколько дворян, спешил к ратуши как раз в ту минуту, когда оттуда выходили мэр, пастор в преклонных летах по имени Лаплас и кое-кто из горожан.

— Итак, доблестный Лану, — протягивая ему руку, заговорил мэр, — вы сейчас доказали убийцам, что после смерти господина адмирала еще остались на свете храбрецы.

— Все кончилось довольно благополучно, — скромно ответил Лану. — У нас всего только пять убитых да несколько человек раненых.

— Так как вылазкой руководили вы, господин Лану, мы с самого начала не сомневались в успехе, — сказал мэр.

— Э! Что мог бы сделать Лану без божьей помощи? — колко заметил старый пастор. — За нас сегодня сражался всемогущий господь. Он услышал наши молитвы.

— Господь дарует победы, он же их и отнимает, — за успехи на войне должно благодарить только его, — хладнокровно проговорил Лану и сейчас же обратился к мэру: — Ну так как же, господин мэр? Совет обсудил новые предложения его величества?

— Обсудил, — отвечал мэр. — Мы только что отправили герольда обратно к принцу и просили передать, чтобы он больше не беспокоился и новых условий нам не предъявлял. Впредь мы будем отвечать на них ружейными залпами, и ничем больше.

— Вам бы следовало повесить герольда, — снова заговорил пастор. — В Писании ясно сказано: «И из среды твоей вышли некие злые, восхотевшие возмутить обитателей их города... Но ты не преминешь предать их смерти; твоя рука первой ляжет на них, а за нею рука всего народа».

Лану вздохнул и молча поднял глаза к небу.

— Он предлагает нам сдаться, а? — продолжал мэр. — Сдаться, когда стены наши держатся крепко, когда враг не решается приблизиться к ним, а мы каждый день наносим ему удары в его же окопах! Уверяю вас, господин Лану: если бы в Ла-Рошели не стало

больше воинов, одни только женщины отразили бы натиск парижских живоделов.

— Милостивый государы! Если даже более сильному надлежит говорить о своем противнике с осторожностью, то уж более слабому...

— А кто вам сказал, что мы слабее? — прервал его Лаплас. — С нами бог. Гедеон с тремястами израильтян оказался сильнее всего мadianитянского войска.

— Вам, господин мэр, лучше, чем кому бы то ни было, известно, как нам не хватает боевых припасов. Пороху мало, я вынужден был воспретить аркебузирам стрелять издали.

— Нам пришлет его из Англии Монтгомери, — возразил мэр.

— Огонь с небеси падет на папистов, — сказал пастор.

— Хлеб с каждым днем дорожает, господин мэр.

— Мы ожидаем английский флот с минуты на минуту, и тогда в городе опять всего будет много.

— Если понадобится, господь пошлет манну с небес! — запальчиво выкрикнул Лаплас.

— Вы надеетесь на помощь извне, — продолжал Лану, — но ведь если южный ветер продержится несколько дней, флот не сумеет войти в нашу гавань. А кроме того, флот могут и захватить.

— Ветер будет северный! Я тебе это предсказываю, маловвер! — провозгласил пастор. — Вместе с правой рукой ты утратил стойкость.

Лану, должно быть, твердо решил не отвечать пастору. По-прежнему обращаясь к мэру, и только к мэру, он продолжал:

— Противнику потерять десять человек не так страшно, как нам одного. Я боюсь вот чего: если католики усилят натиск, то как бы нам не пришлось принять условия потяжелее тех, которые вы теперь с таким презрением отвергаете. Я надеюсь, что король удовольствуется тем, что город признает его власть, и не потребует от нас невозможного, а потому, мне кажется, наш долг — отворить ему ворота: как-никак, ведь он наш властитель, а не кто-нибудь еще.

— У нас один властитель — Христос! Только безбожники способны назвать своим властителем свирепого Ахава — Карла, пьющего кровь пророков...

Несокрушимое спокойствие Лану выводило пастора из себя.

— Я хорошо помню,— сказал мэр,— слова господина адмирала, которые я от него услышал, когда он последний раз был в нашем городе проездом: «Король обещал мне обходиться одинаково со всеми своими подданными, что с католиками, что с протестантами». А через полгода король велел убить адмирала. Если мы отворим ворота, у нас повторится Варфоломеевская ночь.

— Короля ввели в заблуждение Гизы. Он раскаивается, ему хотелось бы как-нибудь искупить кровопролитие. Если же вы с прежним упорством будете отвергать мирные переговоры, то в конце концов вы этим озлобите католиков, королевство обрушит на вас всю свою мощь, и единственный оплот реформатской веры будет снесен с лица земли. Нет, милостивый государь, поверьте мне: мир, и только мир!

— Трус! — крикнул пастор. — Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою шкуру.

— Господин Лаплас!.. — остановил его мэр.

— Коротко говоря, — невозмутимо продолжал Лану, — мое последнее слово таково: если король согласится не ставить в Ла-Рошели гарнизона и не запрещать наши протестантские собрания, то нам надлежит отдать ему ключи города и присягнуть на верность.

— Изменник! — вскричал Лаплас. — Ты подкуплен тиранами!

— Бог знает, что вы говорите, господин Лаплас! — снова возмутился мэр.

Лану чуть заметно улыбнулся презрительной улыбкой.

— Видите, господин мэр, в какое странное время мы живем: военные говорят о мире, а духовные лица проповедуют войну... Уважаемый господин пастор! — неожиданно обратился он к Лапласу. — Пора обедать. Ваша супруга, по всей вероятности, ждет вас.

Эти последние слова взбесили пастора. Он не нашелся, что сказать, а так как пощечина избавляет от необходимости ответить что-нибудь разумное, то он ударил старого полководца по щеке.

— Господи, твоя воля! Что вы делаете? — крикнул мэр. — Ударить господина Лану, лучшего нашего

гражданина и самого отважного воина во всей Ла-Рошели!

Присутствовавший при этом Мержи вознамерился так огреть Лапласа, чтобы тот долго это помнил, однако Лану удержал его.

Когда ладонь старого безумца дотронулась до его заросшей седой бородой щеки, то на одно, быстрое, как мысль, мгновение глаза Лану сверкнули гневно и негодуяще. Но затем его лицо вновь приняло бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор ударил мраморный бюст римского сенатора или что полководца случайно задел какой-нибудь неодушевленный предмет. .

— Отведите старика к жене, — сказал он одному из горожан, оттащивших от него престарелого пастора. — Велите ей поухаживать за ним: сегодня он явно не в себе... Господин мэ́р, прошу вас: наберите мне из жителей города пятьсот добровольцев, — я хочу произвести вылазку завтра на рассвете, когда солдаты совсем закоченеют после ночи в окопах, словно медведи, если их поднять во время оттепели. Я замечал, что люди, которые спали под кровом, утром стоят дороже тех, что провели ночь под открытым небом... Господин де Мержи! Если вы не очень проголодались, давайте сходим на Евангельский бастион. Мне хочется посмотреть, подвинулись ли за это время работы противника.

Тут он поклонился мэру и, опершись на плечо молодого человека, отправился на бастион.

Перед самым их приходом выстрелила неприятельская пушка, и двух ларошельцев смертельно ранило. Камни были забрызганы кровью. Один из этих несчастных умолял товарищей прикончить его. Лану, облокотившись на парапет, некоторое время молча наблюдал за осаждающими, потом обратился к Мержи.

— Всякая война ужасна, а уж гражданская!.. — воскликнул он. — Этим ядром была заряжена французская пушка. Навел пушку, поджег запал опять-таки француз, и двух французов этим ядром убило. Но лишить жизни человека, находясь от него на расстоянии полумили, — это еще ничего, господин де Мержи, а вот когда приходится вонзать шпагу в тело человека, который на вашем родном языке молит вас пощадить его!..

А ведь мы с вами не далее, как нынче утром, именно этим и занимались.

— Если б вы видели резню двадцать четвертого августа, если бы вы переправлялись через Сену, когда она была багровой и несла больше трупов, нежели льдин во время ледохода, вы бы не очень жалели тех людей, с которыми мы сражаемся. Для меня всякий папист — крокопийца...

— Не клевете на свою родину. В осаждающем нас войске чудовищ не так уж много. Солдаты — это французские крестьяне, которые бросили плуг ради жалованья, а дворяне и военачальники дерутся потому, что присягали королю на верность. Может быть, они поступают, как должно, а вот мы... мы бунтовщики.

— Почему же бунтовщики? Наше дело правое, мы сражаемся за веру, за свою жизнь.

— Сколько я могу судить, сомнения вам почти неизвестны. Счастливый вы человек, господин де Мержи, — сказал старый воин и тяжело вздохнул.

— А, чтоб ему пусто было! — проворчал солдат, только что выстреливший из аркебузы. — Этот черт не иначе как заколдован. Третий день выцеливаю, а попасть не могу.

— Это ты про кого? — спросил Мержи.

— А вон про того молодца в белом камзоле, с красной перевязью и красным пером на шляпе. Каждый день прохаживается перед самым нашим носом, как будто дразнит. Это один из тех придворных золотошпажников, что наехали сюда с принцем.

— Жаль, далеко, — заметил Мержи, — ну, все равно, дайте сюда аркебузу.

Один из солдат дал ему свою аркебузу. Мержи, положив для упора конец дула на парапет, стал прицеливаться.

— Ну, а если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Лану. — Охота была брать на себя обязанности аркебузира!

Мержи хотел уже спустить курок, но эти слова его остановили.

— Среди католиков у меня только один друг. Но я твердо уверен, что он в осаде участия не принимает.

— Ну, а если это ваш брат, прибывший в свите принца...

Выстрел раздался, но рука у Мержи дрогнула,— пыль поднялась довольно далеко от гуляки. У Мержи и в мыслях не было, чтобы его брат находился в рядах католического войска, однако он был доволен, что промахнулся. Человек, в которого он стрелял, все так же медленно расхаживал взад и вперед и наконец скрылся за одной из куч свежевыкопанной земли, возвышавшихся вокруг всего города.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ВЫЛАЗКА

Hamlet
Dead, for a ducat dead!
Shakespeare¹

Мелкий, холодный дождь зарядил на всю ночь и перестал, только когда побелевший восток предвостежил зарю. По земле стлался такой плотный туман, что солнечным лучам трудно было его прорезать, и как ни пытался разогнать его ветер, то тут, то там оставляя в нем как бы широкие прогалы, а все же серые его клочья срастались вновь,— так волны, разрезанные кораблем, снова низвергаются и затопляют проведенную борозду. Из густой мглы выглядывали, точно из воды во время разлива, верхушки деревьев.

В городе неверный утренний свет, сливавшийся с огнями факелов, озарял довольно многочисленный отряд солдат и добровольцев, собравшихся на той улице, что вела к Евангельскому бастиону. Продрогнув от холода и сырости, всегда пробирающих до костей на зимней утренней заре, они переминались с ноги на ногу и топтались на месте. Они ругательски ругали того, кто спозаранку заставил их взяться за оружие, но как они ни бранились, все же в каждом их слове звучали бодрость и уверенность, какую бывают проникнуты солдаты, кото-

¹ Гамлет

Ставлю золотой — мертв! Шекспир (англ.).

рыми командует заслуживший их уважение полководец. Они говорили между собой полушутя, полусерьезно:

— Ох, уж эта окаянная *Железная рука*, *Полуночник* проклятый! Позавтракать не сядет, пока этих детоубийц не разбудит. Лихорадка ему в бок!

— Чертов сын! Разве он когда даст поспать?

— Клянусь бородой покойного адмирала: если сию секунду не затрещат выстрелы, я засну, как все равно в постели!

— Ура! Водку несут! Сейчас у нас тепло разольется по жилам, а иначе в этом чертовом тумане мы бы наверняка схватили насморк.

Солдатам стали разливать водку, а в это время под навесом лавки Лану принялся излагать военачальникам, слушавшим его затанув дыхание, план предстоящей вылазки. Забил барабан; все разошлись по местам; пастор, благословив солдат, воззвал к их доблести и пообещал вечную жизнь тем, кому не суждено, возвратившись в город, получить награду и заслужить благодарность своих сограждан.

Пастор был краток; Лану, однако, нашел, что наставление затянулось. Теперь это был уже не тот человек, который накануне дорожил каждой каплей французской крови. Сейчас это был воин, которому не терпится взглянуть на схватку. Как скоро пастор кончил поучать и солдаты ответили ему: Амен¹, Лану заговорил твердо и сурово:

— Друзья! Пастор хорошо сказал: поручим себя господу богу и божьей матери Сокрушительнице. Первого, кто выстрелит наугад, я убью, если только сам уцелею.

— Сейчас вы заговорили по-иному,— шепнул ему Мержи.

— Вы знаете латынь? — резко спросил Лану.

— Знаю.

— Ну так вспомните мудрое изречение: *Age quod agis*².

Он махнул рукой, выстрелила пушка, и весь отряд, шагая по-военному, направился за город. Одновременно из разных ворот вышли небольшими группами солдаты и

¹ Аминь (лат.).

² Делай свое дело (лат.).

начали тревожить противника в разных пунктах его расположения, с тою целью, чтобы католики, вообразив, что на них нападают со всех сторон, не решились, из боязни оголить любой из своих участков, послать подкрепление туда, где им предполагалось нанести главный удар.

Евангельский бастион, против которого были направлены усилия подкопщиков католического войска, особенно страдал от батареи из пяти пушек, занимавшей горку, на которой стояла мельница, пострадавшая во время осады. От города батарея была защищена рвом и бруствером, а за рвом было еще выставлено сторожевое охранение. Но, как и предвидел протестантский военачальник, отсыревшие аркебузы часовых отказали. Нападавшие, хорошо снаряженные, подготовившиеся к атаке, были в гораздо более выгодном положении, чем люди, захваченные врасплох, не успевшие отдохнуть после бессонной ночи, промокшие и замерзшие.

Передовые вырезаны. Случайные выстрелы будят батарею, уже когда протестанты, овладев бруствером, взбираются на гору. Кое-кто из католиков пытается оказать сопротивление, но закованные руки плохо держат оружие, почти все аркебузы дают осечку, а у протестантов ни один выстрел зря не пропадает. Всем уже ясно, кто победит; протестанты, захватив батарею, испускают кровавый крик:

— Пощады никому! Помните двадцать четвертое августа!

На вышке мельницы находилось человек пятьдесят солдат вместе с их начальником. Начальник, в ночном колпаке и в подштанниках, держа в одной руке подушку, а в другой — шпагу, отворил дверь, чтобы узнать, что это за шум. Далекий от мысли о вражеской вылазке, он вообразил, что это ссорятся его солдаты. Он был жестоко наказан за свое заблуждение: удар алебарды свалил его на землю, он плавал в луже собственной крови. Солдаты успели завалить дверь, ведущую на вышку, и некоторое время они удачно защищались, стреляя из окон. Но подле мельницы высились кучи соломы и сена и груды хвороста для туров. Протестанты все это подожгли, огонь мгновенно охватил мельницу и стал подбираться к вышке. Скоро оттуда донеслись умоляющие голоса. Крыша была объята пламенем и грозила обвалиться на голо-

вы несчастных. Дверь загорелась, заграждения, которые они тут устроили, мешали им выйти. Те, что прыгали в окна, падали в огонь или прямо на острия пик. Тут произошел ужасный случай. Какой-то знаменщик в полном вооружении тоже решил выскочить в узкое оконце. Его кираса, как того требовал довольно распространенный в описываемое время обычай, оканчивалась чем-то вроде железной юбки, прикрывавшей бедра и живот и расширявшейся в виде воронки, чтобы юбка не мешала ходьбе. Для этой части вооружения окно оказалось слишком узким, а знаменщик с перепугу сунулся туда очертя голову, и почти все его тело оказалось снаружи, застряло — и ни туда, ни сюда, как в тисках. А пламя все ближе, ближе, вооружение накаляется, и он сам жарится на медленном огне, будто в печке или же в знаменитом медном быке, который был изобретен Фаларисом. Несчастный дико кричал и махал руками, тщетно зовя на помощь. Атаковавшие на мгновение притихли, потом дружно, точно по уговору, чтобы заглушить вопли горевшего человека, проорали боевой клич. Человек исчез в вихре огня и дыма, только его раскалившаяся докрасна, дымившаяся каска мелькнула среди рухнувших обломков вышки.

Во время боя тяжелые или же грустные впечатления стираются быстро: в солдатах силен инстинкт самосохранения, и они скоро забывают о чужих несчастьях. Одни ларошельцы преследовали беглецов, другие заклепывали пушки, разбивали колеса и сбрасывали в ров туры и трубы артиллеристов.

Мержи одним из первых спустился в ров и поднялся на вал; остановившись передохнуть, он нацарапал на орудии имя Дианы, затем вместе с другими принялся разрушать земляные работы противника.

Солдат взял за голову католического военачальника, не подававшего признаков жизни, другой схватил его за ноги, и оба принялись мерно раскачивать его с тем, чтобы швырнуть в ров. Неожиданно мнимый мертвец открыл глаза и, узнав Мержи, воскликнул:

— Господин де Мержи! Пощадите! Я сдаюсь, спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?

Лицо у несчастного было залито кровью, и Бернару трудно было узнать в умирающем молодого придворно-

го, которого он помнил жизнерадостным и веселым. Он велел бережно опустить Бевилля на траву, своими руками перевязал ему рану, а затем, положив поперек коня, приказал, соблюдая осторожность, отвезти его в город.

Пока он прощался с Бевилем и помогал свести коня с горки, на которой была расположена батарея, между городом и мельницей показалась ехавшая на рысях группа всадников. Судя по всему, это был отряд католического войска, намеревавшегося отрезать протестантам отступление. Мержи побежал предупредить Лану.

— Доверьте мне ну хотя бы сорок аркебузирова,— сказал он,— я схоронюсь с ними вон за той изгородью, всадники поедут мимо, и если они на всем скаку не повернут коней, прикажите меня повесить.

— Добро, мой мальчик! Когда-нибудь из тебя выйдет изрядный полководец. Эй, вы! Идите за этим дворянином и исполняйте все его приказания.

Бернар живо расставил аркебузирова за изгородью, приказал опуститься на одно колено, взять аркебузы на изготовку и строго воспретил стрелять без команды.

Всадники быстро приближались. Уже явственно слышно было, как чвякают по грязи конские копыта.

— Их начальник — тот самый пострел с красным пером на шляпе, в которого мы вчера не попали. Зато попадем сегодня.

Аркебузир, стоявший справа от Мержи, кивнул головой как бы в знак того, что берет это на себя. Всадники были уже не более чем в двадцати шагах, их начальник повернулся к отряду, очевидно, для того, чтобы отдать приказ, но в эту самую минуту Мержи неожиданно вскочил и крикнул:

— Пли!

Начальник с красным пером на шляпе обернулся, и Бернар узнал Жоржа. Он потянулся к аркебузе стоявшего рядом солдата, чтобы отвести дуло, но, прежде чем он до нее дотронулся, заряд успел вылететь. Напуганные внезапным выстрелом, всадники бросились враспынную. Капитан Жорж, сраженный двумя пулями, упал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЛАЗАРЕТ

Father

Why are you so obstinate?

Pierre

Why you so troublesome, that a poor wretch

Can't die in peace,

But you, like ravens, will be croaking round him?

O t u a y. Venice preserved¹

Старинный монастырь, упраздненный городским советом Ла-Рошели, во время осады был превращен в лазарет для раненых. Из церкви были вынесены скамьи, престол и все украшения, пол застелили соломой и сеном,— сюда клали простых солдат. Для офицеров и дворян была отведена трапезная. Она представляла собой обширное, обитое старым дубом помещение с широкими стрельчатыми окнами, благодаря которым в трапезной было много света, а свет был нужен для непрерывных хирургических операций.

Сюда внесли и капитана Жоржа и положили на матрац, красивый от его крови и от крови таких же несчастных, как он, лежавших до него в этом месте скорби. Подушку ему заменяла охапка соломы. С него только что сняли кирасу, на нем разорвали камзол и рубашку. Он был гол до пояса, но на правой руке еще оставались наручники и стальная перчатка. Солдат пытался остановить кровь, струившуюся у него из ран: его ранило в живот, чуть ниже кирасы, и легко ранило в левую руку. Бернар не способен был оказать брату мало-мальски существенную помощь — так он горевал. Он, то, рыдая, падал перед ним на колени, то с воплями отчаяния катался по полу и все упрекал себя в том, что убил нежно любимого брата и самого близкого своего друга. Капи-

¹ М о н а х

Почему вы такой упрямый?

П ь е р

А почему вы такие назойливые, почему вы не даете несчастному умереть спокойно

И каркаете вокруг него, как воронье? *О т у з а й. «Спасенная Венеция» (англ.).*

тан, однако, не терял присутствия духа и старался успокоить Бернара.

Совсем близко от его матраца лежал бедняга Бевиль, — состояние у него было тоже тяжелое. Но черты его не выражали безучастной покорности, которая была написана на лице капитана. По временам он глухо стонал и оглядывался на Жоржа, — он словно просил, чтобы тот поделился с ним своею стойкостью и мужеством.

В помещение лазарета, держа зеленую сумку, в которой что-то, наводя страх на бедных раненых, брякало, вошел человек лет сорока, сухопарый, костлявый, лысый, с морщинистым лицом, и направился к капитану Жоржу. Это был довольно искусный для своего времени хирург Бризар, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре. Он, видимо, только что сделал кому-то операцию, — рукава у него были засучены до локтей, широкий фартук замаран кровью.

— Что вам нужно? Кто вы такой? — спросил Жорж.

— Я, милостивый государь, хирург. Если имя мэтра Бризара вам ничего не говорит, стало быть, вы человек малоосведомленный. Ну-с, позаимствуйте, как говорится, у овцы храбрости. В огнестрельных-то ранах я, слава тебе господи, знаю толк. Я хотел бы, чтобы у меня было столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек у людей, которые сейчас здоровехоньки и мне того же желают.

— Вот что, доктор, скажите мне правду: рана, сколько я понимаю, смертельна?

Хирург прежде всего осмотрел левую руку.

— Ерунда! — сказал он и стал зондировать другую рану.

Немного спустя капитан уже корчился от боли и в конце концов правой рукой оттолкнул руку доктора.

— Ну вас к черту, проклятый лекарь! Не лезьте дальше! Я вижу по вашему лицу, что моя песенка спета.

— Видите, ли, милостивый государь, я очень боюсь, что пуля задела сперва надчревную область, потом пошла выше и застряла в спинном хребте, именуемом нами по-гречески рахис. У вас отянулись и похолодели ноги — вот что меня в этом убеждает. Патогномические признаки почти никогда не обманывают, а в таких случаях...

— Стреляли в упор, пуля в спинном хребте! Какого же черта еще нужно, доктор, чтобы отправить беднягу

ad patres?¹ Ну так и перестаньте меня мучить, дайте умереть спокойно.

— Нет, он будет жить, он будет жить! — уставив на хирурга мутный взгляд, крикнул Бернар и стиснул ему руку.

— Да, будет — еще час, может быть, два, — хладнокровно заметил Бризар, — он крепыш.

Бернар снова упал на колени и, схватив руку Жоржа, оросил слезами стальную перчатку.

— Два часа? — спросил Жорж. — Ну вот и отлично. Я боялся дольше промучиться.

— Нет, я этому не верю! — рыдая, воскликнул Бернар. — Жорж! Ты не умрешь! Не может брат погибнуть от руки брата.

— Будет тебе! Успокойся! И не тряси меня! Во мне отзывается каждое твое движение. Пока я еще не очень страдаю, лишь бы так было и дальше, как сказал Дзани, падая с колокольни.

Бернар сел возле матраца, уронил голову на колени и закрыл руками лицо. Глядя на его неподвижную фигуру, можно было подумать, что он дремлет. Временами по всему его телу пробегала дрожь, словно его лихорадило, а из груди вырывались какие-то нечеловеческие стоны.

Хирург кое-как перевязал рану, только чтобы унять кровь, и теперь с самым невозмутимым видом вытирал зонд.

— Советую подготовиться, — сказал он. — Если хотите пастора, то пасторов здесь предостаточно. Если же вы предпочитаете католического священника, то один-то уж, во всяком случае, найдется. Я только что видел пленного монаха. Там отходит папистский военачальник, а он его исповедует.

— Дайте мне пить! — попросил капитан.

— Ни за что! Тогда вы умрете часом раньше.

— Час жизни не стоит стакана вина. Ну, прощайте, доктор! Вы нужны другим.

— Кого же вам прислать: пастора или монаха?

— Ни того, ни другого.

— То есть как?

— Оставьте меня в покое.

Хирург пожал плечами и подошел к Бевилю.

¹ К праотцам (лат.).

— Отличная рана, клянусь бородой! — воскликнул он. — Эти черти добровольцы бьют метко.

— Ведь правда, я выздоровею? — сдавленным голосом спросил раненый.

— Вздохните, — проговорил Бризар.

Послышалось что-то вроде слабого свиста: это воздух выходил из груди Бевиля и через рану и через рот. В то же мгновение из раны забила кровавая пена.

Хирург, словно подражая странному этому звуку, свистнул, как попало наложил повязку, молча собрал инструменты и направился к выходу. Бевиль горящими, как факелы, глазами следил за каждым его движением.

— Ну как, доктор? — дрожащим голосом спросил он.

— Собирайтесь в дорогу, — холодно ответил хирург и удалился.

— Я не хочу умирать! Ведь я еще так молод! — воскликнул несчастный Бевиль и откинулся головой на охапку соломы, которая заменяла ему подушку.

Жорж просил пить, но из боязни ускорить его кончину никто не хотел дать ему стакан воды. Хорошо человеку, если оно способно только длить страдания! В это время пришли навестить раненых Лану, капитан Дитрих и другие военачальники. Лану и Дитрих остановились у матраца Жоржа. Лану, опираясь на рукоять шпаги, смотрел то на одного брата, то на другого, и в глазах его отражалось сильное волнение, вызванное печальным этим зрелищем.

Внимание Жоржа привлекла фляга, висевшая на боку у немецкого капитана.

— Капитан! — молвил он. — Вы старый солдат?..

— Да, я старый солдат. От порохового дыма борода седеет быстрее, чем от возраста. Я капитан Дитрих Горнштейн.

— Взгляните на мою рану; как бы вы поступили на моем месте?

Капитан Дитрих оглядел его с видом человека, привыкшего смотреть на раны и судить об их тяжести.

— Я бы очистил свою совесть и, если бы нашлась бутылка рейнвейна, попросил, чтобы мне налили полный стакан, — отвечал он.

— Ну, вот видите, я прошу у этих олухов глоток скверного ларошельского вина, а они не дают.

Дитрих отстегнул свою весьма внушительных размеров флягу и протянул раненому.

— Что вы делаете, капитан? — вскричал один из аркебузирова. — Лекарь сказал, что если он чего-нибудь выпьет, то сию же минуту умрет.

— Ну и что ж из этого? По крайности, получит перед смертью маленькое удовольствие... Держите, мой милый! Жалею, что не могу предложить вам вина получше.

— Вы хороший человек, капитан Дитрих, — выпив, сказал Жорж и протянул флягу своему соседу. — А ты, бедный Бевиль, хочешь последовать моему примеру?

Но Бевиль молча покачал головой.

— Ай-ай! Этого еще не хватало! — забеспокоился Жорж. — И умереть спокойно не дадут.

Он увидел, что к нему направляется пастор с Библией под мышкой.

— Сын мой! — начал пастор. — Вы теперь...

— Довольно, довольно! Я знаю наперед все, что вы намереваетесь мне сказать. Напрасный труд. Я католик.

— Католик? — воскликнул Бевиль. — Значит, ты уже не атеист?

— Но ведь вы были воспитаны в лоне реформатской религии, — возразил пастор, — и в эту торжественную и страшную минуту, когда вы собираетесь предстать перед верховным судьей человеческих дел и помышлений...

— Я католик. Оставьте меня в покое, черт бы вас подрал!

— Но...

— Капитан Дитрих! Сжальтесь надо мной! Вы мне уже оказали важную услугу, теперь я прошу вас еще об одной. Прикажите ему прекратить увещания и иеремиады. Я хочу умереть спокойно.

— Отойдите, — сказал пастору капитан. — Вы же видите, что он не расположен вас слушать.

Лану подал знак монаху, — тот сейчас же подошел.

— Вот ваш священник, — сказал Лану капитану Жоржу, — мы свободу совести не стесняем.

— И монаха и пастора — обоих к чертям! — объявил раненый.

Монах и пастор стояли по обе стороны матраца, — они словно приготовились вступить друг с другом в борьбу за умирающего.

— Этот дворянин — католик, — сказал монах.

— Но родился он протестантом,— возразил пастор,— значит, он мой.

— Но он перешел в католичество.

— Но умереть он желает в лоне той веры, которую исповедовали его родители.

— Кайтесь, сын мой.

— Прочтите символ веры, сын мой.

— Ведь вы же хотите умереть правоверным католиком, не так ли?

— Прогоните этого слугу антихриста! — чувствуя поддержку большинства присутствующих, возопил пастор.

При этих словах какой-то солдат из ревностных гугенотов схватил монаха за пояс и оттащил его.

— Вон отсюда, выстриженная макушка! — заорал он. — По тебе плачет виселица! В Ла-Рошели давно уже не служат месс.

— Стойте! — сказал Лану. — Если этот дворянин желает исповедаться, пусть исповедуется, — даю слово, никто ему не помешает.

— Благодарю вас, господин Лану... — слабым голосом произнес умирающий.

— Будьте свидетелями: он желает исповедаться, — снова заговорил монах.

— Не желаю, идите к черту!

— Он возвращается в лоно веры своих предков! — вскричал пастор.

— Нет, разрази вас гром, не возвращаюсь! Уйдите от меня оба! Значит, я уже умер, если вброды дерутся из-за моего трупа. Я не хочу ни месс, ни псалмов.

— Он богохульствует! — закричали в один голос служители враждующих культов.

— Во что-нибудь верить надо, — невозмутимо спокойным тоном проговорил капитан Дитрих.

— По-моему... по-моему, вы добрый человек, избавьте же меня от этих гарпий... Прочь от меня, прочь, пусть я издохну, как собака!

— Ну так издыхай, как собака! — сказал пастор и, разгневанный, направился к двери.

В ту же минуту к постели Бевиля, перекрестившись, подошел монах.

Лану и Бернар остановили пастора.

— Сделайте последнюю попытку,— сказал Бернар.— Пожалейте его, пожалейте меня!

— Милостивый государь! — обратился к умирающему Лану.— Поверьте старому солдату: наставления человека, посвятившего всю свою жизнь богу, обладают способностью облегчать воину его последние минуты. Не слушайте голоса греховной суетности, не губите свою душу из пустой рисовки.

— Милостивый государь! — заговорил Жорж.— Я давно начал думать о смерти. Чтобы быть к ней готовым, я ни в чьих наставлениях не нуждаюсь. Я никогда не любил рисоваться, а сейчас и подавно. Но слушать их вздор? Нет, пошли они к чертовой матери!

Пастор пожал плечами, Лану вздохнул. Оба опустили головы и медленным шагом двинулись к выходу.

— Приятель! — обратился к Жоржу Дитрих.— Раз вы говорите такие слова, стало быть, вам, наверно, чертовски больно?

— Да, капитан, мне чертовски больно.

— В таком случае надеюсь, что ваши речи не прогневают бога, а то ведь это здорово смахивает на богохульство. Впрочем, когда в теле человека сидит заряд, то уж тут, прах меня побери, не грех и ругнуться — от этого становится легче.

Жорж улыбнулся и еще раз отпил из фляги.

— За ваше здоровье, капитан! Лучшей сиделки, чем вы, для раненого солдата не найдешь.

Сказавши это, он протянул ему руку. Капитан Дитрих не без волнения пожал ее.

— Teufel!¹ — еле слышно пробормотал он.— Если б мой брат Генниг был католиком и я вlepил бы ему в брюхо заряд... Так вот что означало предсказание Милы!

— Жорж, товарищ мой! — жалобным голосом заговорил Бевиль.— Скажи мне что-нибудь! Мы сейчас умрем, это так страшно! Ты мне когда-то говорил, что бога нет, сейчас ты тоже так думаешь?

— Конечно! Мужайся! Еще несколько минут — и наши страдания кончатся.

— А монах толкует мне о вечном огне... о бесах... еще о чем-то... Но меня это не очень утешает.

— Браки!

¹ Черт побери! (нем.).

— А что, если это правда?

— Капитан! Оставляю вам в наследство кирасу и шпагу. Жаль, что не могу лучше отблагодарить вас за то славное вино, которым вы по своей доброте меня угостили.

— Жорж, друг мой! — снова заговорил Бевиль. — Если б все, о чем он толкует, оказалось правдой, это было бы ужасно!.. Вечность!..

— Трус!

— Да, трус... Легко сказать! Будешь тут трусом, когда тебе сулят вечную муку.

— Ну так исповедуйся.

— Скажи, пожалуйста, ты уверен, что ада не существует?

— Отстань!

— Нет, ты ответь: ты совершенно в этом уверен? Дай мне слово, что ада нет.

— Я ни в чем не уверен. Если черт есть, то мы сейчас убедимся, так ли уж он черен.

— А ты и в этом не уверен?

— Говорят тебе, исповедуйся.

— Ты же будешь смеяться надо мной.

Жорж невольно улыбнулся, потом заговорил уже серьезно:

— Я бы на твоём месте исповедался — так спокойнее. Тебя исповедали, соборовали, и теперь тебе уже нечего бояться.

— Ну что ж, я как ты. Исповедуйся ты сперва.

— Не буду.

— Э, нет!.. Ты как хочешь, а я умру правоверным католиком... Хорошо, отец мой; я сейчас прочту Confiteor¹, только вы мне подсказывайте, а то я подзабыл.

Пока он исповедовался, капитан Жорж еще раз хлебнул из фляжки, затем положил голову на жесткую свою подушку и закрыл глаза. С четверть часа он лежал спокойно. Потом вдруг стиснул зубы, но все же не мог удержать долгий болезненный стон и вздрогнул всем телом. Бернар, решив, что Жорж отходит, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан тотчас открыл глаза.

— Опять? — спросил он и легонько оттолкнул Бернара. — Полно, Бернар, успокойся!

¹ Каюсь (лат.).

— Жорж! Жорж! Ты гибнешь от моей руки!

— Ничего не поделаешь! Я не первый француз, которого убил брат... Полагаю, что и не последний. Но виноват во всем я... Принц вызволил меня из тюрьмы и взял с собой, и я тут же дал себе слово не обнажать шпаги... Но когда я узнал, что бедняга Бевиль в опасности... когда до меня донеслись залпы, я решил подъехать поближе.

Капитан опять закрыл глаза, но тут же открыл их и сказал Бернару:

— Госпожа де Тюржи просила передать, что она любит тебя по-прежнему.

Он ласково улыбнулся.

Это были последние его слова. Через четверть часа он умер — видимо, не очень страдая. Несколько минут спустя на руках монаха скончался Бевиль, и монах потом уверял, что он явственно слышал в небе ликующие голоса ангелов, принимавших в свои объятия душу раскаявшегося грешника, меж тем как в преисподней торжествующе завывали бесы, унося душу капитана Жоржа.

Во всех историях Франции рассказывается о том, как Лану, которому опостылела гражданская война и которого замучила совесть, потому что он воевал со своим королем, в конце концов покинул Ла-Рошель, как королевское войско вынуждено было снять осаду и как в четвертый раз был заключен мир, вскоре после чего Карл IX умер.

Утешился ли Бернар? Появился ли новый возлюбленный у Дианы? Это я предоставляю решить читателям, — таким образом, каждый из них получит возможность закончить роман, как ему больше нравится.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЛЛЫ

Арсена Гийо. Перевод <i>О. Моисеенко</i>	5
Кармен. Перевод <i>М. Лозинского</i>	49
Аббат Обен. Перевод <i>М. Лозинского</i>	104
Il vicolo di madama Lucrezia. Перевод <i>М. Кузмина</i>	117
Локис. Перевод <i>М. Кузмина</i>	140
Голубая комната. Перевод <i>М. Кузмина</i>	179
Джуман. Перевод <i>М. Кузмина</i>	192
ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX. Перевод <i>Н. Любимова</i>	205

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

**Избранное
в двух томах**

Том 2

Ответственный редактор Кванская И. И.

Художник Зайцев Е. Ф.

Художественный редактор Минко В. П.

Технический редактор Коротаева М. Н.

Корректор Туркевич В. В.

ИБ № 3156

Сдано в набор 10.09.92. Подписано в печать 24.03.93. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 21,34. Тираж 75 000 экз. Заказ № 444. С № 17. Новосибирское книжное издательство, 630076, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19. Издательско-полиграфическое предприятие «Советская Сибирь», 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 104.

